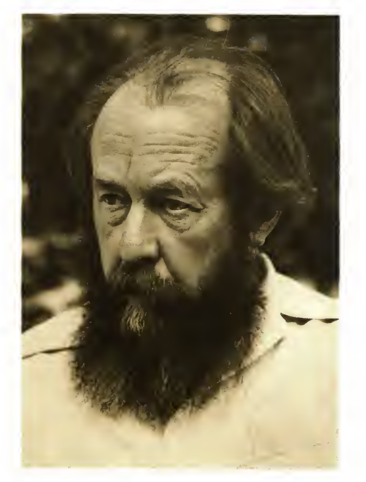
А. Солженицын

В КРУГЕ ПЕРВОМ



А. Солженицын

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р6
С60

Оформление художника
Ю. КОПЫЛОВА

С $\frac{4702010000-299}{028(01)-90}$ без объявл.

ISBN 5-280-01807-4

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским „Мастером“ — перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней — разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь — а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан — 1955-1958
искажён — 1964
восстановлен — 1968

ПОСВЯЩАЮ
ДРУЗЬЯМ ПО ШАРАШКЕ

Торпеда
Промах
Шарашка
Протестантское Рождество
Хьюги-Буги
Мирный быт
Женское сердце
Остановись, мгновенье!
Пятого года упряжки
Розенкрейцеры
Зачарованный замок
Семёрка
И надо было солгать...
Синий свет
Девушку! Девушку!
Тройка лгунов
Насчёт кипятка
Сивка-Бурка
Юбиляр
Этюд о великой жизни
Верните нам смертную казнь!

Император Земли
Язык — орудие производства
Бездна зовёт иазад
Церковь Никиты Мученика
Пилка дров
Немного методики
Работа младшины
Работа подполковника
Недоуменный робот
Как штопать иоски
На путях к миллиону
Штрафные палочки
Звуковиды
Поцелуи запрещаются
Фоиоскопия
Немой набат
Изменяй мне!
Красиво сказать — в тайгу
Свидание
Ещё одно
И у молодых
Женщина мыла лестницу
На просторе
Псы империализма
Замок святого Грааля
Разговор три иуля
Двойиик
Жизиь — не роман
Старая дева
Огонь и сено
За воскресение мёртвых!
Ковчег
Досужные затеи
Князь Игорь

Кончая двадцатый
Арестантские мелочи
Лицейский стол
Улыбка Будды
Но и совесть даётся один только раз
Тверской дядюшка
Два зятя
Зубр
Первыми вступали в города
Поединок не по правилам
Хождение в народ
Спиридон
Критерий Спиридона
Под закрытым забралом
Дотти
Будем считать, что этого не было
Гражданские храмы
Кольцо обид
Рассвет понедельника
Четыре гвоздя
Любимая профессия
Решение принимается
Освобождённый секретарь
Решение объясняется
Сто сорок семь рублей
Техно-элита
Воспитание оптимизма
Премьер-стукач
Насчёт расстрелять
Князь Курбский
Не ловец человеков
У истоков науки
Передовое мировоззрение
Перепёлочка

На задней лестнице
Да оставит надежду входящий
Хранить вечно
Второе дыхание
Всегда врасплох
Прощай, шарашка!
Мясо

1

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной.

Стёкла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось внизу на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя всё это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал пёстрые глянцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, чтó в нём.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но — его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой — пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному единст-

---

В романе сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. *(Примеч. ред.)*

венному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сиденье.

А у *тех* пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри — страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато.

Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет *там*?.. в четверг-в пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.

Но будет поздно.

О, чёрт — ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгрёб всё со стола и понёс в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы,

обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый смеркающийся день.

От быстрых движений полегчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночёк Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком — это он сам шёл на линкор — торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнал его вниз, там велел налево, под первозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался — откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку — заметнее. Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно — другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь — остаёмся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий — а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет — Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошёл по площади, стараясь умерять шаг.

Высохло в горле, во рту — тем высыханьем, когда никакое питьё не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед „Художественным“ густо стояли в очереди на „Любовь балерины“. Красное „М“ над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни пёрышка, ни хвостика не оставить ищейкам.

Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка.

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! — а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шёл дальше, в метро.

Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

— Это секретариат? — он старался изменять голос.

— Да.

— Прошу срочно соединить меня с послом.

— Посла вызвать нельзя, — очень чисто по-русски ответили ему. — А вы по какому вопросу?

— Тогда — поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут — пусть так и будет, второй раз не пробовать.

— Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым, в трубку сказали:

— Слушают вас. Что ви хотел?

— Господин военный атташе?— резко спросил Иннокентий.

— Йес, авиэйшн,— проронили с того конца.

Что оставалось? Экраня рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно, Иннокентий внушал:

— Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

— Ждите момент,— неторопливо отвечали ему.— Я позову переводчик.

— Я не могу ждать!— кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) — И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

— Я вас плёхо понимал,— спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался отдалённо в комнате.— Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают рюсски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

— Слушайте! Слушайте!— в отчаянии восклицал он.— На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

— Как? Какой авеню?— удивился атташе и задумался.— А откуда я знаю, что ви говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую?— хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затянулся сигаретой.

— Атомная бомба?— недоверчиво повторил он.— А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щёлкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

2

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: „Служебный". Или, поновей, важную зеркальную табличку: „Вход посторонним категорически воспрещён". А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как всё запретное, невесть что.

А там — такой же простой коридор, может почище. Средней струёй простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру часто расставлены плевательницы.

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же — все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе 6-го управления МГБ как „Пост А-1",— дежурило два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить долженствовало двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека, инструкция в этот раз

была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да ещё и канун западного рождества.

Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучёбе непременно должны были спрашивать, „кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами“, почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно. Нипочём бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриным мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не полезет, а парторг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из „Краткого курса“ к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они ещё не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Ещё с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных причин, их мазали зелёнкой, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпами. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребёнка — и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешёл удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кальсон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпов. При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... а... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?.. и ещё как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включённые автоматически. Не снимая обнажённой ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

— А откуда я знаю, что ви говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую?

— Атомная бомба? А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны — и тут только сообразил, что вопреки инструкции, не засёк номера абонента.

Первое движение было — обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью ещё в одном месте — и откинул вздорную мысль. Конечно, дублируется, и за укрытие такого разговора — расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро „Сокольники".

— Генка! Генка!— хрипло позвал он, спуская брючину.— Аврал! Звони в оперативку! Может, ещё захватят!..

3

— Новички!

— Новичков привезли!

— Откуда, товарищи?

— Приятели, откуда?

— А что это у вас на груди, на шапке — пятна какие-то?

— Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.

— То есть, как — *номера*?!

— Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях — номера? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что — *прогрессивно*?

— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.

— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!

— Друзья! Дают „Беломор" по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс! *На цырлах*!

— Беломор-„Ява" или Беломор-„Дукат"?

— Пополам.

— Вот стервы, „Дукатом" душат. Буду министру жаловаться, клянусь.

— А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?

— Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.

— Смотри, новички!

— Новичков привезли.

— Э! орлы! Что вы, живых зэков не видели? Весь коридор загородили!

— Ба! Кого я вижу! Доф-Донской!? Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!

— А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?

— Из разных. Из Речлага...

— ...из Дубровлага...

— Что-то я, девятый год сижу — таких не слышал.

— А это новые, *Особ*лаги. Их учредили только с сорок восьмого.

— У самого входа в венский Пратер меня загребли и — *в воронок*.

— Подожди, Митёк, давай новичков послушаем...

— Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.

— Вторая смена! На ужин!

— Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...

— Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.

— Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?

— Ну, тихо, Валентуля!

— Простите, как вас зовут?

— Лев Григорьич.

— Вы сами тоже инженер?

— Нет, я филолог.

— Филолог? Здесь держат даже филологов?

— Вы спросите, кого здесь *не* держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.

— И что ж он делает?

— Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! — самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.

— Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую, — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!

— Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?

— Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! По́шло.

— Как вы сказали? Пшённая каша — пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!

— Наверно, не пшённая, наверно, магара?

— Да вы с ума сошли — магара! Попробовали б они нам магару! Мы б им...

— А как сейчас на пересылках кормят?

— На челябинской пересылке...

— На челябинской-новой или челябинской-старой?

— По вашему вопросу видно знатока. На новой...

— Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?

— По-прежнему.

— Вы сказали — *шарашка*. Что значит — шарашка?

— А по сколько хлеба здесь дают?

— Кто ещё не ужинал? Вторая смена!

— Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный — на столах.

— Простите, как — *на столах*?

— Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хочешь — не бери.

— Простите, здесь что — Европа, что ли?

— Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.

— Да, но за это маслице и за зтот „Беломор“ мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.

— Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.

— Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа?— говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не *курочат*.

— Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.

— Так вы работали на Днепрострое?

— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.

— То есть, как?

— А я, видите ли, продал его немцам.

— Днепрогэс? Его же взорвали!

— Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.

— Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!

— И назад, Валентуля, и — назад!

— Да! И скорей назад, конечно!

— Вы знаете, Лев Григорьич, от зтого наплыва впечатлений, от зтой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии,— никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне зто снится? Мне чудится, я — в раю!!

— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое *шарашка*? Шарашку придумал,

если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

„Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

Семь раз обвитый стройными стенами...
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...

...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...

Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом...
Их облик был ни весел, ни суров...
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там...
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтенные среди толпы окрестной?.."

— Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы „Правды“: „Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода.“

4

Ёлка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такимн же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше ие было иикого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечериюю работу.

Макс окоичил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущеиие родииы — устроениой, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздиик. А шестой среди них — крупиый мужчииа с широкой чёриой бородой, был еврей и коммунист.

Льва Рубнна судьба сплела с Германией н ветвями мира и прутьямн войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hoch-Deutsch, обращался при иадобиости к наречиям средне-, древне- и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имеиа в печати, он без иапряжения вспомииал как личных зиакомых. О маленьких городках на Рейие рассказывал так, как если б хаживал ие раз их умытыми теннстыми улочками.

А побывал ои — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором „отдела по разложению войск противника". Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые ие хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с трииитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими киижками. Онн могли подрывать мосты, моглн прокатиться домой и погулять, пока ие поймают. С другими ои говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машии-„звукóвок" уговориые тексты, чтоб воюющне братья обериули оружие против Гитлера. Из его помощннков самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммуиизму, передавались потом в разные немецкие „свободиые комитеты" и там готовили себя для будущей социалистической Германнн; а кто попроще, посолдатистей — с теми Рубнн к концу войиы раза два и сам переходил разорванную лииию фронта и силой убеждения брал укреплённые пункты, сберегая советскне батальоиы.

Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была поверже-

на — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга „кровь за кровь и смерть за смерть“.

Было и это, Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложней, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (зэкам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросёнка, розовыми ушами юнец Густав из Hitlerjugend (взятый в *плен* через неделю после конца войны).

И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Гёббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Гёббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Обер-штурм-банн-фюрер-SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Гёббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну се-

явший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина соци-

ализма пробивается порою кружным искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников,— было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызволит их отсюда.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими лю-

бителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась „спецтюрьмой № 1 МГБ“.

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.

Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к *оперу* писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов „царские врата“).

Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: „АКУСТИЧЕСКАЯ“.

5

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными кон-

торками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радио-фирмы „Лоренц“.

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежёлтый рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнёзд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скоросбранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шёлковая сорочка, хотя и линялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включённым паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился

о колено и напряжённо разглядывал радио-схему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

„Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!“

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

— Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубливая фразы:

— Лев Григорьич! *Отрывайтесь! Рвите когти!* Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать? — И поднял на Рубина очень удивлённые светлые мальчишеские глаза.— Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! — раздельно выговаривал он.— Ведь вы же не инженер!! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

— Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

— Эт-то не мой стиль! Я — первоклассный инженер, учтите, парниша! — резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нём была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни и движения мальчишечьи — никак нельзя было поверить, что он кончил институт ещё до войны, прошёл немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

— Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

— Ка-кие ещё характеристики?! — Валентин правдоподобно играл в возмущение.— Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю женщин!!

Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки.

Ещё один заключённый от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятия.

— Кажется, только теоретически,— скучающим жевательным движением ответил Рубин.

— И безумно люблю тратить деньги!

— Но их у вас...

— Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин — и всё время разных! — надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег — надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер — надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлинённое лицо Валентули было задорно поднято к Рубину.

— Ага!— воскликнул тот зэк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки.— Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! *Колокольчатый* у него! Так я и запишу, а? Такой голос — по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

— Ах, что за чушь!— отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоём они рассматривали молча.

— А порядочно мы продвинулись, Глебка,— сказал Рубин.— В сочетании с *видимой речью* у нас хорошее оружие. Очень скоро мы-таки с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

— Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты — слушай.

Они оба нагнулись к приёмнику, но очень мешал джаз.

— Валентайн!— сказал Глеб.— Уступите. Проявите великодушие!

— Я уже проявил,— огрызнулся тот,— сляпал вам приёмник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдёте никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

— Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно — слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень нравилось...)

— Серафима Витальевна! Это чудовищно! — Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны. — Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьём! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обозрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! — ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. — Кого-нибудь, *ça dépend*! Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

— Да у него опять *сдвиг фаз*! — тревожно сказал Рубин. — Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз.

Валентуля ужаленно повернулся:

— Лев Григорьич! Кто вам дал право..?

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобождённая бегущая мелодия семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было — уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

— Инженер Прянчиков! Вы всё ещё вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Прянчикова посерьёзнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

— Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушёл, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в своё кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, — и это был скромный непарадный конец семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

— Дай по буквам, не слышу,— отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

— Всегда мне не везёт, говорю,— хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь.— Вот — сонату пропустил...

— Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить!— проворчал приятель.— А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шёпота. Оборвалась — и всё. Как в жизни... А где ты был?

— С немцами. Рождество встречал,— усмехнулся Рубин.

Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи.

— Молодчик.— Глеб подумал.— Мне нравится твоё отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

— Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мягкий Макс — разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он — не помешал?

— Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину...

— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?

— Хорошо ты сказал. Граждане мира!— это звучит бескровно, чисто.

— То есть, космополиты. Нас правильно посадили.

— Конечно, правильно. Хотя ты всё время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты „Дневник социалистического соревнования".

Глеб за эти полминуты рассчитанно-медленно донёс руку до приёмника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживлённое лицо его было усталое, сероватое.

А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко беззаботно напевал:

„Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!"

6

Глеб Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ, и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях — та мудрая скупость, какою природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем всё это была *чернуха*, Нержин *темнил* по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдёрнул светлую шёлковую занавеску и смотрел в стёкла чёрного окна. За глубиной ночного пространства начинались розные крупные огни Москвы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо тёмно-бурым.

Особый стул Нержина — с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна — человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, всё открыло бы в Нержине одного из её основателей.

Шарашка названа была Марфинской по деревне Марфино, когда-то здесь бывшей, но давно уже включённой в городскую черту. Основание шарашки произошло около трёх лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь

на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать Би-Би-Си в тюремном общежитии (его и глушить ещё не умели); вечерами самочинно гулять по *зоне*, лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы зэки не подползали к проволоке); и следить хоть за вечными звёздами, хоть за бренным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания брёвна и катает их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда ещё не знала, что́ ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультра-коротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму „Лоренц", хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала всё новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина докатилась вот до распознания голосов по телефону, до выяснения — что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом ещё полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался всё так же через плечо:

— Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

— Поразительно,— буркнул Нержин.— Кажется, ты воевал только четыре года, не *сидишь* ещё и пяти полных? И уже устал? Добивайся путёвки в Крым.

Помолчали.

— Ты — *своим* занят? — тихо спросил Рубин.

— У-гм.

— А кто же будет заниматься голосами?

— Я, признаться, рассчитывал на тебя.

— Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя.

— У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. „Работу актёра над собой". И наконец, уже совсем потеряв стыд,— исследование о принцессе Турандот? Какой ещё зэк в ГУЛаге может похвастаться таким подбором книг?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

— Странно. Все эти книги, и даже о принцессе Турандот — с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли?

— Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

— О каких полах?

— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живёт в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность созидателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят — значит халтурная настилка? И я бессилен исправить!

— Слушай, это драматический сюжет.

— Для соцреализма. А во-вторых: не пóшло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам?

Рубин вздохнул:

— И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

— Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы — это ещё вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый вполоборота: ко всей

прочей комнате спинами, а лицами — к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдалённых оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина всё время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они — фронтовики; что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели „малый джентльменский набор" орденов; что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же „общедоступному" *десятому пункту*; и оба получили одинаково по *десятке* (впрочем, и все получали столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу — Нержин был капитаном.

Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и значит не был заражён антисоветским зарубежным духом: Нержин был наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин якобы исказил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек *наш*, и потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные запутанные временные мысли.

Посмотрели ещё туда, в темноту.

Рубин чмокнул:

— Всё-таки ты — умственно убог. Это меня беспокоит.

— А я не гонюсь: умного на свете много, мало — хорошего.

— Так вот нá тебе хорошую книжку, прочти.

— Это опять про замороченных бедных быков?

— Нет.

— Так про загнанных львов?

— Да нет же!

— Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?

— Ты должен прочесть её!

— Я никому ничего не должен, запомни! Со всеми долгами расплатёмшись, как говорит Спиридон.

— Жалкая личность! Это — из лучших книг двадцатого века!

— И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять? на чём люди заблудились?

— Умный, добрый, беспредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально-наивный...

— Да ну тебя к шутам,— засмеялся Нержин.— Ты все уши забьёшь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, ещё поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне — ограничиться! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть карту Китая, прислонённую к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил её стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог её пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а остриём иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа:

„Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.

Это и никому не удавалось с одного раза".

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электро-слесаря. Слышались команды: „Включи!", „Выключи!" Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу „шесть-Ка-семь".

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключённым.

7

Такая маленькая, что трудно было не назвать её Симочкой,— Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в тёплый платок.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии с конституцией имели самые разнообразные права и в том числе — право на труд. Однако право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишённые всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд — двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, с шести вечера и до одиннадцати ночи — вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работою зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтоб заключённые работали, а не бездельничали, чтоб они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтоб они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло ещё и полугода, как Симочка, окончив институт инженерной связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключённые в своём дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали

офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату (за звание, на обмундирование) — а требовали только преданности и бдения, лишь потом — грамоты и навыков.

Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие её подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчёнки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная (ещё в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учись — аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься — они продирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучёба; ещё в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да нужно и дома помочь, и в магазины сходить, и помыться, и приодеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студенческое время не погулять, не поплясать — так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться! И вот к экзаменам Симочка и её подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток,— но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчётности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да ещё их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату кажется из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и её подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и да-

же тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала — как она будет на производстве?

И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединённого подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе — десятерых выпускниц института Связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну — они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, не достойными той русской речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания; если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается!) — они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно-пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность — но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении — спешить к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин — черноватый низенький важный мужчина с седеющим ёжиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль: что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение — например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит — опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключёнными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить того беспросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слёзы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться.

С тех пор прошло полгода — и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена её убеждённость в чёрных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключённые, работающие во всех остальных комнатах,— кровавые злодеи. Но каждый день встречаясь с дюжиной зэков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы,— разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение — своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя её комсомольский долг трубил, хотя её любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов,— необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к её ближайшему соседу и сотруднику — Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола.

Всё прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всём совершенст-

ве приборов ещё не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слухачей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался — или, по замыслу начальства, должен был заниматься — наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трёхтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин чётко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивает батарее: „Огонь!" (Этот момент чаще всего показывали в кино.)

Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надольше отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: „Я действенен потому, что ненавижу действие".—„А что ж вы любите?" — спросила она с робостью.— „Размышление",— ответил он. И действительно, спадал шквал работы — он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чём он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для неё средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо её портил слишком удлинённый нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у неё были скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена

к шуткам, к пустой игре — и это тоже не привлекало молодых людей. Так, к двадцати трём годам у неё сложилось, что ещё никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отвёрткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса — что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться,— она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась страшнейшая минута в жизни — щёки их горели, соединённые,— он не двигался! Потом вдруг охватил её голову и поцеловал в губы. Всё тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

— Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривавших людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера,— девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой,— но у неё не было сил оторваться от рук, запрокинувших её голову.

Первый раз в жизни её целовал мужчина!..

Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.

8

— Чья там лысина сзади трётся?

— Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Давай потрепемся.

— Вообще-то я занят.

— Ну, ладно тебе — занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой ёлочки, заговорил что-то о своём блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот — фронт! — нахлынул фронт! — и так живо, так сладко... Слушай, в войне всё-таки есть много хорошего, а?

— До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда: очищение души, Soldatentreue...

— Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...

— Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: „Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно“.

— Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы?

— Ещё не решено.

— Сперва вспомнил я своих лучших фрицев — как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам: мать, обнявшая детей, потом белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.

— Я помню, я подбирал её.

— И тут сразу наплыло... Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка ИнЯза, кончила в сорок первом, и послали её переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие.

— Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца?

— Ага-га! Удивительно тщеславная была девчёнка, очень любила, чтоб её хвалили за работу (а ругать упаси боже) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья — лес?

— Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?

— По этот.

— Ну, знаю.

— Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна, март: ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, и этот, знаешь, запах! воздух! Мы бродили как первовлюблённые, как молодожёны. Почему, если женщина — новая для тебя, переживаешь с нею всё с самого начала, как юноша набухнешь и... А?.. Бесконечный лес! Редко где — дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера — сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить „рама“. И Милка задумала: не хочу, чтоб её сбивали, зла нет. Вот если не собьют — ладно, останемся ночевать в лесу.

— Ну, это уже была сдача! Где ж видано, чтоб наши зенитчики попали в „раму“!

— Да... Какие были зенитки за Ловатью и до Ловати — все по ней час добрый палили и не попали. И вот... Нашли мы пустой блиндажик...

— Надземный.

— Ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья.

— Там же земля мокрая, не вкопаться.

— Ну да. Внутри — хвои набросано, запах от брёвен смолистый, и дымоватый от прежних костров — печек нет, так как прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого... Пока костёр горел — тени на брёвнах... Глебка! Жизнь, а?!

— Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава — зелёной. Зэк должен верить, что теоретически на свете ещё остались милые живые женщины и они — отдаются счастливцам... Ишь ты, какой вечер вспомнил! — с любовницей да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашёл хорошую войну!.. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны слипшейся *подушечкой*, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней...

— Ну, кори, кори... Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, это значит — совсем их не знать. Это обедняет наш дух.

— Даже — дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину...

— Чепуха.

— А если двух?

— И двух — тоже ничего не даёт. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех — это замысел природы.

— Так насчёт войны! В Бутырках, в 73-й камере...

— ...на втором этаже, в узком коридоре...

— ...точно! — молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, исто-

рическими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков — наших и власовцев, все ребята отчаюги, оторви, где только ни воевали,— так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели: нет в войне ни хрёнышка хорошего! Я слушал — и молчал. У Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда,— но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то *кое*, что отличало меня, артиллериста при крупных пушках, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте, кроме взятия этой крепости,— полный *придурок*, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя — ценою головы!— отступить. А я — придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

— Да я не говорю...

— ...а приятное всплывает. Но от такого денька, когда „Юнкерсы" пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом — никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, Лёвка, хороша война за горами!

— Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

— Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

— Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

— Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком — каптёром или банщиком, да жил *в законе с шалашовкой*, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие *счастья* — это условность, выдумка.

— Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово „счастье" происходит от се-часье, то есть, э́тот час, э́то мгновение!

— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. „Счастье" происходит от со-частье, то есть, кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья.

— Подожди, так моё объяснение — тоже из Даля.

— Удивляюсь. Моё тоже.

— Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!
— Маньяк!
— От дурандая слышу! Давай сравнительным языкознанием заниматься.
— Всё происходит от *руки*? Марр?
— Ну, пёс с тобой, слушай — ты вторую часть „Фауста“ читал?
— Спроси — читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.
— Нет, первая часть доступна, чего там!

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,—
Я вижу лишь одни мученья человека...

— Вот это до меня доходит!
— Или:

Что нужно нам — того не знаем мы,
Что знаем мы — того для нас не надо.

— Здорово!
— А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея! Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем: только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: „Остановись, мгновенье, ты прекрасно!“ Но всё, что ни раскладывает Мефистофель перед Фаустом — возвращение молодости, любовь Маргариты, лёгкую победу над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия — ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, для циничного Мефистофеля затемнённом и безумном, засверкала великая идея — осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада — лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. Что зто?— спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует

Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутя, что принёс пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Но разобраться — не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший?— и лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это — гимн счастью или насмешка над ним?

— Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю — когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.

— Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из „Фауста" на одной из своих довоенных лекций,— а они тогда были чертовски смелые!— я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

„А вот я люблю — и счастлива! Что вы мне на это скажете?"

— И что ты сказал?..

— А что на это скажешь?..

9

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своём поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил, как поведывают давно выношенные мысли:

— Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье,— я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живём — и в этом смысл. Счастье? Когда

очень-очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья,— разреши мы сперва разберём природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звёздочки жира! — ячневую или овсяную кашицу! Разве её *ешь*? разве её *кушаешь*? — ею причащаешься! к ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь её медленно, ешь её с кончика деревянной ложки, ешь её, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде — и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела питаясь *ничем*, ты живёшь шесть месяцев и живёшь двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он размётывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

— Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаём природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: „Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен."

Рубин усмехнулся:

— Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и всё вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

— Не путай, Лёвка, совсем не так! Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно *свои* выводы сформулировать — зачем мне открывать ещё раз Америку? На планете философии все земли давно открыты! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на

шарашке, если выдастся такое чудо — тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтёшь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен — и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях блаженства! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!

Рубин добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия и немного снисхождения к заблудшему младшему другу.

— А что говорят по этому поводу великие книги Вед? — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой.

— Книги Вед — не знаю,— убеждённо парировал Нержин,— а книги Санкья говорят: „Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать.“

— Здорово ты насобачился,— буркнул в бороду Рубин.

— Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков?

— Это тебя Митяй сбивает?

— Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая! Слушай! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения — есть *страдание*! Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее,— и я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму — он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника (а именно так и приходилось ему в тюрьме).

— Внемли, дитя! В тебе сказывается неокреплость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши — и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба — как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?

— А ты гордишься своим постоянством?

— Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.

— Каменный лоб! Вот это и есть метафизика! Вместо того чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впитывать новую жизнь...

— Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?

— ...ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу — и в этом видишь свой ум? В отказе от развития — ум? В торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

— Да не вера — научное знание, обалдон! И — беспристрастность.

— Ты?! Ты — беспристрастен?

— Аб-солютно!— с достоинством произнёс Рубин.

— Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!

— Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Всё идёт туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

— Лев, пойми! Я не с радостью — я с болью сердечной расставался с этим учением! Ведь оно было — звон и пафос моей юности, я для него всё остальное забыл и проклял! Я сейчас — стебелёк, расту в воро́нке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били...

— Потому что у тебя ума не хватало, дура!

— ...я по честности должен был отбросить ваши хилые построения. И искать другие. А это нелегко. Скептицизм у меня, может быть — сарай при дороге, пересидеть непогоду.

— Утки в дудки, тараканы в барабаны! Ске-епсис! Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений — а ты обо всём

лезешь с приговором! Скептику положена атараксия, душевная невозмутимость — а ты по каждому поводу кипятишься!

— Да! Ты прав!— Глеб взялся за голову.— Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят — и я кружусь, огрызаюсь, негодую...

— Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джезказгане не хватает питьевой воды!

— Тебя бы туда загнать, падло! Изо всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы...

— Да! Без твёрдой пенитенциарной системы государство существовать не может...

— ...Так вот тебя и загнать в Джезказган! Что́ ты там запоёшь?

— Да дурак ты набитый! Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин!

— А ну? Что — Ленин?— Нержин притих.

— Ленин сказал: у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к холуйскому грязному либерализму.

— Как-как-как? Ты не переврал?

— Точно. Это из „Памяти Герцена" и касается...

Нержин убрал голову в руки, как сражённый.

— А?— помягчел Рубин.— Схватил?

— Да,— покачался Нержин всем туловищем.— Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился!..

— А что?

— Что?? Это — язык великого философа? Когда аргументов нет — вот так ругаются. Рыцари языкоблудия!— произнести противно. Либерализм — это любовь к свободе, так он — холуйский и грязный. А аплодировать по команде — это прыжок в царство свободы, да?

В захлёбе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер её дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в её сторону.

— Нет, у тебя-таки совсем вывернуты мозги,— отчаялся Рубин.— Ну, определи лучше.

— Да хоть какой-то смысл будет сказать так: скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов.

— И кто ж тут догматик? Я, да? Неужели я — догматик?— большие тёплые глаза Рубина смотрели с упрёком.— Я такой же арестант *призыва* сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что всё до сердцевины гниль — я бы первый сказал: надо выпускать „Колокол"! Надо бить в набат! Надо рушить! Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений! не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом!.. Но я знаю, что гнило — только по видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит надо спасать, а не рубить!

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

— Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века: *два мира — две системы*! И третьего не дано! И никакого „Колокола", звон по ветру распускать — нельзя! недопустимо! Потому что выбор неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?

— Да пошёл ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих „двух мирах" он под себя всех и подмял.

— Глеб Викентьич!

— Слушай, слушай!— теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон.— Это — величайший человек!

— Тупица! Боров тупой!

— Ты когда-нибудь поймёшь! Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он — действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды...

— И ещё смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам подсовывает...

— Глеб Викентьич!

— А?— очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

— Вы не слышали? По телефону звонили!— очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе коричневый платок козьего пуха.— Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

— Да-а?..— на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои

места.— Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Лёвка,— Антон. С чего б это?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд её, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

— Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство,— сказал он.

— С чего бы?— пожимал плечами Нержин.— Уж такая у нас второстепенная работёнка, какие-то голоса...

— Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов,— засмеялся Рубин.— А может насчёт артикуляции Семёрки?

— Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

— Да глупости!

— Чего глупости? Наша жизнь такая... Сожжёшь там, знаешь где.— Глеб защёлкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошёл неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждёт только худшего.

10

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол *вольного* дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине яркоазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, ещё в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

— Садитесь, Глеб Викентьич! — несколько хохлясь в своём полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключённых с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими,— и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

— Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал — каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману?

Яконов произнёс эту фамилию с откровенной небрежностью и даже — перед подчинённым Ройтмана! — не присовокупив к фамилии звание майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнёсся к Семёрке не как к дорогому покойнику, а как к трупу безвестного пьяницы, найденного под марфинским забором. Семёрка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

— ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается!)

— ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера...

(Нагло издевается!)

— ...Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я — человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и ещё не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных суждений.

— Ну, так-таки вас спросить откровенно — ну что вы там сейчас делаете, в Акустической?

Нельзя было придумать вопроса беспощаднее! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

— Какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной —„стыр", „смыр"? Вы — математик? Универсант? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое, а трое! Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в чёрном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренёва, довоенного доцента в своём Университете. Однако по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним — заключённый и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренёв улыбался, но тоже казался смущённым. Голос Яконова успокоительно рокотал:

— Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением.

И Яконов поднял из полуторного кресла своё представительное нелёгкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понёс его к выходу.

Когда Веренёв и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину — привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые „боксы" и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки „вагон-заков". Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками. Черезо всё это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буковки функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Оба закурили, Нержин волнуясь, и сели, разделённые маленьким столиком.

Веренёв не в первый раз встречал своих прежних студентов — по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твёрдой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: уединённость подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал — застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии учёного: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К..., защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва... Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвёртом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока...

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,
Я вижу лишь одни мученья человека...

А как он попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей — контузило, убило. Такие вечно лезут вперёд, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя — или аспирантуру кончает, или ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша — Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской!?

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных „профессорских" анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кэптауна, Йокагамы. А в 30-м году, когда университет перестряпали в „индустриально-педагогический институт"— был *вычищен* пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым — говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привёз указание: этого не трогать!

И не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога. То на публичной лекции о своём кумире Ньютоне прогудит из-под жёлтых усов:

— Тут мне прислали записку: „Маркс написал, что Ньютон — материалист, а вы говорите — идеалист." Отвечаю: Маркс передёргивает. Ньютон верил в Бога как всякий крупный учёный.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал — и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём, деля ра-

боту, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба.

Так что же с ним?.. При бомбёжке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренёв точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший Стивка, говорят, сейчас грузчиком в нью-йоркском порту.

Нержин внимательно смотрел на Веренёва. Учёные головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари — это была недоработка, временный загиб; дети припомнили унижения отца — это грязное предательство. И кто это знает — грузчиком, не грузчиком? Оперуполномоченные формируют общественное мнение...

Но за что... Нержин *сел*?

Нержин усмехнулся.

Ну, а за что, всё-таки?

— За образ мыслей, Пётр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

— У нас-то он как раз и есть и называется *Пятьдесят восемь — десять*.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свёл его с Веренёвым. Шестое Управление прислало Веренёва для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Пётр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придётся сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были — его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что́ влечёт его разгадать

в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевельнуть — и отлетит у Нержина голова? Как говорится — *что тебе надо больше всех?* Больше всех — что тебе надо?

Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?.. Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок... Мёртвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни?

Зато — шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво бесчувственным бревном, в грязных чунях,— с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего, кроме тебя?..

Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник!

Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!

— Пётр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

— Как вы сказали?

— Я говорю: сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

— Я, простите, не понимаю...

— Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок,— ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею — как проживу? Там — медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции ещё три мезозойских эры никому не вознадобятся.

— Что вы говорите, Нержин?! В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

— Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: „одна дьяка, что за рыбу, что за рака". Дьяка — это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду!

Дверь растворилась. Вошёл осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу.

— Ну, как, розенкрейцеры? Договорились?

Не поднимаясь, твёрдо встретив взгляд Якоиова, Нержин ответил:

— Воля ваша, Антон Николаич, ио я считаю свою задачу в Акустической лаборатории не закоичеииой.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

— Математика!— и артикуляция... Вы променяли пищу богов на чечевичную похлёбку. Идите.

И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

„Нержина — списать".

11

Уже много лет — военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела Специальной Техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаёмкой и тремя крупными звёздами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высоко-чиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красиоречием своим Якоиов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долблёные корыта их чёрных гробов или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обмаичивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собствеиными руками подхватывать каждое задание миииcтерства или даже самого Хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлётов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, ои безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-

то подсказал идею создать особую секретную телефонию — такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с жёлтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

— За́-чэм мне эти передатчики? Ква́р-тырных варо́в ловить?

И сроку дал — до первого января сорок девятого года. Потом подумал и добавил:

— Ладна, да́ первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали — и определили Яконову вытаскивать Марфино самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами — Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упразднённого алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверцу в персональной „Победе", убаюканно домчаться в Марфино; миновать в оплетенных колючкою воротах вахтера, отдающего приветствие; и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами марфинской рощи. Начальство ещё ничего не требовало от Яконова — только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рог изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом: английская и американская покупная аппаратура; немецкая трофейная; отечественные зэки, вызванные из лагерей; техническая библиотека на двадцать тысяч новинок; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые — для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских,— и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под

сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрёпанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвёртом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрусталя, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре — германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории! Всё это было изложено в рапорте заключённого Рубина на имя инженер-полковника и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину (в арестантском просторечии — Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей оплошности? А момент всё равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объекта, а для соблюдения неущерблённой секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк; зэки же с покрикиванием „раз-два-взяли!“ опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами — в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделённом от столицы и её несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в чёрных бушлатах создавали сказочные

перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоучреждённое заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате ещё один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками-скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с китайской провинцией Янь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

— Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником связи? Убери.

И Мамурина убрали — то есть, посадили на Лубянку. Его убрали, однако не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний — судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули *четвертную* и закатали бы в Норильск. Но помня истину „сегодня ты, а завтра я", вершители МВД попридержали Мамурина; когда же убедились, что Сталин о нём забыл — без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на марфинскую шарашку привезли нового зэка. Всё было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой *вертухай*, а Начальник Отдела Тюрем МГБ; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но они всегда всё слышат) — слышали, как приезжий сказал, что „колбасы он не хочет" (?!), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его „покушать". Подслушал это через перегородку зэк, который пошёл к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий всё-таки арестант, и, удовлетворённое, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь — историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

— Ну, браток,— толкнул он его в грудки,— откуда? На чём погорел? Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледнолимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

— Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами — разговоришься!

Но „гада из стеклянной банки" в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотографов, втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходившее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница — на север, так что свет и днём еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, определило всё же решётку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего „Железной Маской". Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было недозволено. Железная Маска был так жёлт и тощ, как бывает доходно́й зэк после хорошего двухлетнего следствия,— однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал являться на работу в Семёрку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарш и кричал:

— Ты *мимо чьего* кабинета топаешь, хам?? Как твоё фамилие?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттол-

кнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своём одиночестве он всё читал книги — „Борьба за мир“, „Кавалер Золотой Звезды“, „России славные сыны“, потом стихи Прокофьева, Грибачёва — и! — с ним случилось чудесное превращение: он и сам стал писать стихи! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острей, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна (ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьёй (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночёвкой), вообще — не примитивные животные потребности, — горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелей переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него, — всё же своё время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурина стегало безутишное, как зубная боль, стремление — оправдаться перед партией и правительством. Увы, всё знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому *работать* он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководство делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надёжным.

К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадёживающих дела: Вокодер и Семёрка.

По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и, лишь впряженные более тяжёлой рукой в одну колесницу, не могли из неё вырваться,

а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы „вокодер", что значило по-английски voice coder (кодированный голос), а по-русски было окрещено „аппарат искусственной речи", но это не привилось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы: самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в „Семёрку", лабораторию № 7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семёрку и потому, что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчинённому Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте — разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щёк, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переведя Семёрку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семёрке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семёрку, и пошёл Яконов, когда оставил Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

12

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара,— так и среди трёхсот зэков марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семёрка.

Все в институте знали её истинное наименование — „лаборатория клиппированной речи", но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово *клиппированная* было с английского и означало „стриженая" речь. Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не

глуховатый глуповатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, однако принято было, что — только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клиппировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах.

Клиппирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолётом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да ещё воссоздать её так, чтоб не только было всё понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней зэки получали всё — свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве; остальные же не получали ничего — ни дня скидки со сроку, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале,— самые цепкие арестанты старались попасть в Семёрку, чтоб из неё *выскочить* на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семёрку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осуждённый на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. (В шутку Амантая считали старейшим ра-

ботником *фирмы*, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как татарин был извлечён немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы „Лоренц", когда её руководители ещё подписывались в письмах „mit Heil Hitler!»). Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфино он попал по ошибке неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛага. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфино быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радио-измерений.

Ещё тут был инженер Хоробро́в, большой знаток радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семёркой, никак не включался в её бешеный темп — и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец долгоруким молниевидным *спецнарядом* сюда, в марфинскую Семёрку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин — и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семёрка была такая же комната, как Акустическая, только этажом над ней. Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в её углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семёрке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперёд и захлопотали ещё радостней и быстрей, да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер — в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтён, и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых зэков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его измождённого лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах нежильца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

— Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю.

„Почитать" и „послушать" — это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день — добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчёта не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.

Привычно подчинённые единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошёл в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включённые на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось нечто ужасное: звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродства своего детёныша, так Яконов не только не сдёргивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное нарочито-чёткое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок,— поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это — угадка, и забывал, что это угадка, и всё более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые причёски, Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото-осциллограммы, мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, бесправнее колхозника. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!

Можно построить Эмпайр-стэйт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал всё это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его,— негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

— Лучше, Яков Иваныч, определённо лучше! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него *ухо хорошее*. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией — но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего „хорошего уха“ он и держался тут прочно, пока ещё прочней не окопался капитальной работой „Русская речь в восприятии слухо-синтетическом и электро-акустическом“.

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряжёнными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что — лучше, что намного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он ещё до перестройки знал, что будет лучше). Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Сиромаха, раодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Чёрная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семёрки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки — уходить спать, а вольняшки — бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжёлой поступью прошёл за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным тысячевёрстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛаг. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять своё ощущение справедливости — пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течении месяца изучали почерки всех избирателей участка — и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь! — под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере.

Сейчас благоразумие требовало, чтоб он толпошился средь общей работы Семёрки и обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нём до той высоты, когда уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

— Андреич! Смываться пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защёлку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

— Как, Терентьич, подходит? По цвету?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

— Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы „Правды“: время работает на нас. Антон уйдёт — и мы тот-час-же испаримся.

У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нерабоче, хотелось только идти скорей в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семёрки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы „Жирные сазаны ушли под палубу“ и „Вспомнил, спрыгнул, победил“ — известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец, он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, ещё беспокоит его форманта „ж“ и вовсе не идёт столь характерное для славянских языков сочетание согласных „всп“, над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо:

— Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твёрдым неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал к портсигару розовую защёлку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях — и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да ещё и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресенья!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину:

— Илья Терентьич! А вы почему не послушаете? Вообще — куда вы направились?

Хоробров так же неторопливо обернулся и, искажённо улыбаясь, ответил раздельно:

— Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдётся всё благополучно — проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей трусливой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

— То есть, как это — спать? Все люди работают, а вы — спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

— Да так — просто с п а т ь! Я по конституции свои двенадцать часов отработал — и хватит! — И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась — и дежурный по институту объявил:

— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровым.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой ещё до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство, на Лубянку.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью „Нержина — списать“ добавил:

„и — Хороброва“.

13

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но ещё не почувствовав его до конца, вернулся в Акустическую,— Рубина не было. Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

— Спокойно, парниша!— задержал он Нержина взброшенной пятернёй, как автомашину.— Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете?— И вспомнил:— Да! А зачем вас вызывали? *кес ке пассэ*?

— Не хамите, Валентайн,— хмуро уклонился Нержин. Этому одноданцу своей науки он не мог бы признаться, что отрёкся, только что отрёкся от математики.

— Если у вас неприятности — могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его...? ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это:

Моя милиция —
Меня стережёт!
В запретной зоне —
Как хорошо!

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду:

— Вадька! Осциллограф включи-ка!

Нержин подошёл к своему столу, ещё не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки её подрагивали.

— А где Борода, Серафима Витальевна?

— Его тоже Антон Николаич вызвал, в Семёрку,— громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, ещё громче, слышно всем, попросила:

— Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Ещё есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.

— Где ж я вас проверю в таком шуме?

— А... в будку пойдёмте.— Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую, аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь и, ещё шторы не сбросил, Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы.

Он подобрал её на руки, лёгкую — было так тесно, что носки её туфель стукнулись о стену, сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.

— Что́ вас Антон вызывал? Что было плохого?

— А усилитель не включён? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать?..

— ...Что было плохое?

— Почему ты думаешь, что плохое?

— Я сразу почувствовала, когда ещё звонили. И по вас вижу.

— А когда будешь звать на „ты"?

— Пока не надо... Что случилось?

Тепло её незнакомого тела передавалось его коленям и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности не у каждого обильна.

Симочка была удивительно легка: кости ли её надуты воздухом, из воска ли её сделали — она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объёме перьями.

— Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала:

— Ку-да-а?

— Как куда? Мы — люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли,— в лагерь,— рассудливо объяснял Глеб.

— За что-о-о же??— не словами, а стоном вышло из Симочки.

Глеб смотрел близко и даже недоумённо в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.

— Можно было и остаться. Но в другой лаборатории. Мы всё равно не были бы вместе.

(Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле таково было арестантское крайнее положение, что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал

бы всего этого с женщиной, работающей рядом, и оставшись в Акустической — с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки.)

А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала.

Эти минувшие недели, после первого поцелуя,— зачем было щадить Симочку, жалеть её призрачное будущее счастье? Вряд ли найдёт она жениха, всё равно достанется кому-нибудь так. Сама идёт в руки, и с таким испугом стучит у обоих... Перед тем, как нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет...

— Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоём... о твоей... Вообще оставить тебя... с ребёнком...

Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

— Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними головку. Что ты замолчала? А ты — хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

— Я буду вас ждать! Вам — *пять* осталось?— я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь — вернётесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но всё равно, как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, ещё были в письменном столе захороненные — его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли. Его первые нащупывающие формулировки.

Ни клочка записей не выпускали с шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать её маленькие неокруглые плечи, оголённые из-под блузки его руками.

— Ты меня как-то спрашивала, что́ я всё пишу да пишу,— с затруднением сказал он.

— А что? Что ты пишешь?— любопытливо спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно,— он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила — и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые любящие глаза — они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он — она. Так это могло быть подстроено!..

— Так, историческое,— ответил он.— Вообще историческое, из петровских времён... Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет — я ещё буду писать. А куда я всё дену, уезжая?

И подозрительно углубился глазами в её глаза.

Симочка покойно улыбалась:

— Как — куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый.— И ещё высматривала в нём:— Скажи, а твоя жена — очень красивая?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что её стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а — раскраснелая, в растрёпанной одежде — стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу:

— ...дьер... фскоп... штап... Да, я слушаю... Что, Валентин Мартыныч? Двойной диод-триод?.. Шесть-Гэ-семь нету, но, кажется, есть шесть-Гэ-два. Сейчас я кончу таблицу и выйду... гвен... жан...— и отпустила клапан. И ещё тёрлась головой о грудь Глеба.— Надо идти, становится заметно. Ну, отпустите меня...

Но в голосе её не было никакой решительности.

Он плотней охватил и сильно прижал её к себе вверху, внизу, всю:

— Нет!.. Я отпускал тебя — и зря. А вот теперь — нет!

— Опомнитесь, меня ждут! Надо лабораторию закрывать!

— Сейчас! Здесь!— требовал он.

И целовал.

— Не сегодня! — возражала она, послушная.

— Когда же?

— В понедельник... Я опять буду дежурить, вместо Лиры... Приходите в ужинный перерыв... Целый час будем с вами... Если этот сумасшедший Валентуля не придёт...

Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застёгнута, причёсана и вышла первая, неприступно-холодна.

14

— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражала.

— Не попадёшь.

— С пяти метров — чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?

— Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.

— Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают — лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.

— Синий свет?

— А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.

— Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?

— Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.

— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.

— Мама! — в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.

— А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь это — бывший алтарь.

— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.

— Дмитрий Александрыч! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.

— Господа! Кислород как раз и делает зэка бессмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.

— И даже на полтора! На верхних койках духотища!

— Эренбурга вы как считаете,— по ширине?

— Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.

— С ума сойти, где мой лагерный бушлат?

— Всех этих кислородников я послал бы на Ой-Мякон, на *общие*. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков,— в козлятник бы приползли, только бы тепло!

— В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я — за подогретый кислород.

— ...Что за чёрт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?

— Валентуля, вы фрайер! Вы бродили б ещё до часу! Какой вам свет в двенадцать?

— А вы — пижон!

В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
Как хорошо!

Опять накурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость... Э-э, и чайник холодный.

— Валентуля, где Лев?

— А что, его на койке нет?

— Да книг десятка два лежит, а самого нет.

— Значит, около уборной.

— Почему — около?

— А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни тёплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать?

— Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная...

— Друзья, я вас прошу — о чём-нибудь другом. только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально-опасный разговор.

— Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.

— Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно откуда-то.

— Спать захочешь — уснёшь, небось.

— Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?

— А позывные? Для такой страны, как Россия?!.. Жабьи вкусы.

— В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо?— жарко очень и воды нет...

— В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.

— Михаил Кузьмич, что вы там всё ворочаетесь?

— Ну, повернуться с боку на бок я могу?

— Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот внизу отдаётся здесь, наверху, громадной амплитудой.

— Вы, Иван Иваныч, ещё лагерь миновали. Там — *вагонка* четверная, один повернётся — троих качает. А внизу ещё кто-нибудь цветным тряпьём завесится, бабу приведёт — и наворачивает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.

— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?

— Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.

— Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет — на полу не оставит, под голову ло́жит.

— В те года на полу не оставляй!

— В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут — и музыка играет.

— Рыбалка там замечательная, это одно, а другое — охота. Осенью час походишь — фазанами весь изувешен. В камыши зайдёшь — кабаны, в поле — зайцы...

— Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом — рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана

сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят — скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — основная идея шарашек.

— ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!

— Валька, не скули, подушкой наверну!

— Куда, Валентуля?

— Как повезли?

— Младшина пришёл, сказал — надеть пальто, шапку.

— И с вещами?

— Без вещей.

— Наверно, к начальству большому.

— К Фоме?

— Фома бы сам приехал, хватай выше!

— Чай остыл, какая пошлость!..

— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!

— Спокойно, а как же мешать сахар?

— Беззвучно.

— Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда,— мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадёт, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?

— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!

— Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный... *С'э лё мо*! Он хочет жить!

— Валька! Куда повезли Бобынина?

— Откуда я знаю? Может — к Сталину.

— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?

— Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!

— Ну, по каким, например?

— Ну, по всем-по всем-по всем. *Пар экзампль* — почему живём без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.

— Прянчик! Заткнись! Все спят давно — чего разорался?

— Но если я не хочу спать?

— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идёт младшина.

— Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант — долго ли нос расшибить?

— Прянчиков!

— А?

— Где вы? Ещё не спите?

— Уже сплю.

— Оденьтесь быстро.

— Куда? Я спать хочу.

— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.

— С вещами?

— Без вещей. Машина ждёт, быстро.

— Это что — я вместе с Бобыниным поеду?

— Уж он уехал, за вами другая.

— А какая машина, младший лейтенант,— воронок?

— Быстрей, быстрей. „Победа“.

— Да кто вызывает?

— Ну, Прянчиков, ну что я вам буду всё объяснять? Сам не знаю, быстрей.

— Валька! Сказани́ там!

— Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?

— Про прогулки скажи!

— Про письма!..

— Про обмундирование!

— Рот фронт, ребята! Ха-ха! *Адьё*!

— ...Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Прянчиков?

— Даю, даю, товарищ майор! Вот он!

— Про всё, Валька, кроши, не стесняйся!..

— Во́ псы разбегались среди ночи!

— Что случилось?

— Никогда такого не было...

— Может, война началась? Расстреливать возят?..

— Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас — по одному возить? Когда война начнётся — нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях, в сорок пятом...

— Ну, ладно, спать, браты! Завтра узнаем.

— Это вот так, бывало, в тридцать девятом-в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия,— уж он с пустыми руками не вернётся: или начальника тюрьмы переменят или прогулки увеличат...

Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам по двадцать... Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное...

— Умер?

— Нет, освободился... Лауреатом стал.

15

Потом стих и мерный усталый голос *повторника* Абрамсона, побывавшего на шарашках ещё во время своего первого срока. В двух сторонах дошёптывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырёхстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната — может быть, единственная такая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху — просторный купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге — пять стройных, скругленных поверху окон. Окна были обрешечены, но *намордников* на них не было, днём сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних койках — слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик „Земеля“ (под ним пустела кровать Прянчикова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых молодых зэков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал всё ясней: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь — и, может быть, очень вскоре — тяжёлый долгий этап

куда-ннбудь в Снбнрь илн в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трёхлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать однн год (не было, конечно, ннкакого настроення напоминать друзьям эту дату). Середнна лн это жизнн? Почтн конец её? Только начало?

Но мысли мешались. Огляд вечности не сострaивался. То вступала слабость: ведь ещё не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что однннадцать месяцев ему всё откладывают н откладывают свнданне с женой — и уж теперь дадут ли до отъезда?

И, наконец, просыпался и раскручнвался в нём — нахрап н хват, совсем не он, не Нержин, а тот, кто вынужденно выпер нз нерешнтельного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятнлеткн, а потом утверждался всей жизненной обстановкой и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какне обыски ждут — на выходе из Марфина, на приёме в Бутыркн, на Красную Пресню; и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля; как суметь вывезти с шарашкн старую спецодежду (работяге каждая лншняя шкура дорога); как доказать, что алюмнннневая чайная ложка, весь срок возимая им с собой, его собственная, а не украдена с шарашки, где почти такие же.

И был зуд — прямо хоть сейчас, при синем свете, вставать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положенне: он валнлся ничком, по самые плечн уходя в подушку, натягнвая одеяло на голову и стаскивая с ног; потом перепластывался на спнну, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там на углу матраса томищу Моммзена, „Историю древнего Рима“. Заметнв, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хрнплым шёпотом попросил:

— Глеб! У тебя есть близко папиросы? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика — под клубом вольных тёмно-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

— Нá вот,— подставил ему Нержин пустую пачку из-под „Беломора" вместо пепельницы.

Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять) в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений — не так двумя неделями учёбы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. Со мгновенной переимчивостью, как говорится — с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛага, всегда был настороженен, лишь с немногими — откровенен, а со всеми — только казался ребячески откровенным. Ещё он был кипуч, старался уместить много в малое время — и чтение тоже было одним из таких его занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и ещё меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкшей комнаты спросил шёпотом:

— Ну? Как теория циклов?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шёпот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чём его спросили.

— Как с теорией цикличности, говорю?

Руська вздохнул, и вместе с выходом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль. Он обвис,

сполз на локоть, бросил погасший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

— Всё надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин уже хотел отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

— История до того однообразна, что противно её читать. Всё равно как „Правду". Чем человек благородней и честней,— тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов — и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ — и казнён, будто бы он добивался царской власти. Марк Манлий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий,— казнён как государственный изменник! А?..

— Да что ты!

— Начитаешься истории — самому хочется стать подлецом, наиболее выгодное дело! Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали — этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Всё — уже было... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Ещё этолийцы, задолго до нас, объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Ещё в Риме выяснили истину, которую забывает ГУЛаг: что раба неэкономично оставлять голодным и надо кормить. Вся история — одно сплошное ...ядство! Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития. И некуда звать.

В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подёргивание неверия на губах — таких молодых!

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызывали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

— Хочу тебя предупредить, Ростислав,— очень тихо возражал Нержин, склонясь почти к уху соседа.— Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма,— пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью — потому что люди ведь не могут остановиться, и значит не

могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих...

— Хотя бы в болото? Лишь бы переться?— со злостью возразил Руська.

— Хотя бы... Ч-ч-чёрт его знает,— заколебался Глеб.— Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен, хотя и особенно трудно прививается. Но скептицизм не может стать твёрдой землёй под ногой человека. А земля всётаки — нужна?

— Дай ещё папиросу!— попросил Ростислав. И закурил нервно.— Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться! на историка!— раздельным громковатым шёпотом говорил он.— Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы учёным, допустим даже не продажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы пухлый том. С какой-то ещё восемьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гельветами. Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и ещё больше умных книжек — какой дурак всё это будет читать?! Как это ты приводил?—„То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, ещё большими знатоками, как призрачное“, да?

— Вот-вот,— упрекнул Нержин.— Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли?

— Да, да, любить!— торжествующим хриплым шёпотом перехватил Руська.— Любить!— но не историю, не теорию, а де-вуш-ку!— Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть.— А *чего* лишили нас, скажи? Права ходить на собрания? на политучёбу? Подписываться на заём? Единственное, в чём Пахан мог нам навредить — это лишить нас женщин! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить,— бил он себя в грудь,— что такое женщина для арестанта?

— Ты... не кончи сумасшествием!— пытался обороняться Нержин, но самого его охватила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, о её обещании в понедельник вечером...— Выбрось эту мысль! На ней мозг затемнится.— (Но в понедельник!.. Чего совсем не це-

нят благополучные семейные люди, но что подымается озноблящим зверством в измученном арестанте!) — Фрейдовский комплекс или симплекс, как там его, чёрта,— всё слабей говорил он, мутясь.— В общем: сублимация! Переключай энергию в другие сферы! Занимайся философией — не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра — и от этой мысли, до ужаса сладкой, отнялась речь, не хотелось продолжать.)

— У меня мозг *уже* затемнился! Я не засну до утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в руках у тебя... Чтобы... А, да что там!..— Руська обронил ещё горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернулся, шлёпнулся на живот и дёрнул одеяло на голову, стягивая с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кроватей вниз, на Потапова.

Философию представлял он Руське как убежище, но сам в том убежище выл давно. Руську гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать, и вот эти горячие шквалы затмений налетали, отнимая разум? — а он себя струнил, передавливал и пятаком поросячьим тыкался, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы до женитьбы, свою невозвратимую, не тем занятую юность, горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Ещё его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! только на тюремном полу перебрал и осознал — и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир — жгли его тут напрокол.

Ну ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника.

Глеб наклонился к уху соседа:

— Руська! А у тебя — что? Кто-нибудь есть?

— Да! Есть! — с мукой прошептал Ростислав, лёжа пластом, сжимая подушку. Он дышал в неё — и ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнущей в тюрьме,— всё накаляло его молодое,

пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал —„есть“, и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое: не поцелуй, даже не обещание, было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе — и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою как необыкновенную. Ничего ещё не произошло между ними, и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него — есть.

— Но кто она, слушай?— допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

— Тс-с-с... Клара...

— Клара?? Дочь прокурора?!!

16

Начальник Отдела Специальных Задач кончал свой доклад у министра Абакумова. (Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950-м году; принципиальный же план политических убийств был утверждён самим Сталиным ещё перед уходом в отпуск.)

Высокий (ещё увышенный высокими каблуками), с зачёсанными назад чёрными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирал локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал в теннис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин и высокое пристенное зеркало; потолок — высокий, лепной, на нём люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить всё, как было, только зелёный цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходившие на площадь и не отворяемые никогда. Часы тут были: стоячие, отменные футляром; и накаминные,

с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что ещё двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане (с сигналом).

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед. Даже в кабинете простых следователей он был изображён много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь Человечества был выписан кремлёвским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью — от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола,— Абакумов ещё и на столе держал барельеф Сталина на стоячей родонитовой плите.

А ещё на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник смертного отдела ушёл,— во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Селивановский, начальник отдела Специальной Техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Селивановского.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперчекистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в прика-

зах ему меньше перепадало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом.

Когда Селивановский сел,— передним оказался уже Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три — и что-то симпатичное показалось ему в нём. Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его, изрытое оспой щедрее, чем у Вождя, было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

— Ты — кто?

— Я?— перегнулся Осколупов, удручённый, что его не узнали.

— Я?— выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям,— и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился.

— Ты, ты,— подтвердительно просопел министр.— Объект Марфино — твой, значит? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

— В общем, так... Вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата?— И угрожающе предупредил:— Не врать! Вранья не люблю!

Именно к этому вопросу и готовились три высоких лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперёд из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнёс:

— Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полковник!— (Абакумов больше любил так, чем „генеральный комиссар“.) — Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

— Что мы?— на собрании, что ли? Что мне вашими усилиями?— задницу обматывать? Я говорю — к числу к какому?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самим тоном своим и негромкостью голоса подчёркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

— Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырёхсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

— Херц, херц! Ноль целых, херц десятых — вот это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль целых? Ты мне аппарата дай — д в а ! ц е л ы х ! Когда? А?— И обвёл глазами всех троих.

Теперь выступил Селивановский — медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик:

— Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семёнович. Двусторонние переговоры ещё без абсолютной шифрации...

— Ты что из меня дурочку строишь? Как это — без шифрации?— быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли (а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками),— ему вполне хватало его четырёхклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джицу и тренировался только в залах „Динамо".

Когда же, в годы расширения и обновления следовательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведёт следствие, руками длинными ловко и лихо поднося в морду, и началась его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а теперь вот и министром,— ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчинённые не могли его дурачить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу,— как растворилась высокая дверь и в неё без стука вошёл Михаил Дмитриевич Рюмин — низенький кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого всё министерство называло *Минькой*, но редко кто — в глаза.

Он шёл, как котик, беззвучно. Приблизясь, невинно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Селивановским (тот привстал), подошёл к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухлыми ладонями чуть поглаживая желобчатый скос столешницы, задумчиво промурлыкал:

— Вот что, Виктор Семёныч, по-моему это задача — Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать го́лоса? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трёх представителей отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком — бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одутловатый, с обиженными губками, он, сколько мог, донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого отдела. И тут Рюмин нашёл себя!— с усердием и успехом (может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь?) он освоил *намотку дел*. Даже с усердием избыточным — так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная Органам прокуратура тут не выдержала и — не остановила дела, нет!— но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецделам центрального аппарата СМЕРШа. С тех пор звезда его только взлетала (на гибель Абакумову, но оба ещё не знали о том).

— Я их и без этого разгоню, Михал Дмитрич, поверь. Так разгоню — костей не соберут!— ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

— Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного — как узнать? Где его искать?

— Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

— Ну, а ты — арестовал кого-нибудь?

— А как же?— сладко улыбнулся Рюмин.— Взяли четверых около метро „Сокольники".

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты — освобождать не полагается. Да может кого-то из них по этому же делу и придётся оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

— Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве.

— Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить?— возмутился Абакумов.— Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!

— Нельзя, Виктор Семёныч,— благорассудно возразил Рюмин.— Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти — кто? И как можно скорей.

— Гм-м...— подумал Абакумов.— Так что с чем сравнивать, не пойму?

— Ленту с лентой.

— Ленту с лентой?.. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать. Селивановский, сможете?

— Я, Виктор Семёныч, ещё не понимаю, о чём речь.

— А чего тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверно что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков *там*. Насчёт атомной бомбы. Вот угадай — молодчик будешь.

Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает — не стоит браться. Селивановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос о трёх соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте

начальника отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других — иначе б его не назначили. И хотя он в своё время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчинённых мог понимать дело лучше его — разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем, тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, всё записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного учёного. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя учёным.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

— Товарищ министр! Так это мы — можем!

Селивановский удивлённо оглянулся на него:

— На каком объекте? Какая лаборатория?

— Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж — по телефону? Ну!

— Но Марфино выполняет более важную задачу.

— Ничего-о! Найдём людей! Там триста человек — что ж, не найдём?

И вперился взглядом готовности в лицо министра.

Абакумов не то, что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался — беззаветно готовый рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

— Молодец!— одобрил он.— Так и надо рассуждать! Интересы государства!— а потом остальное. Верно?

— Так точно, товарищ министр! Так точно, товарищ генерал-полковник!

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности рябого генерал-майора. Рассеянно глядя на Селивановского, он сказал:

— Так утром я к вам пришлю.

Переглянулся с Абакумовым и ушёл, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

— Ну, так когда же? Вы меня манили-манили — к первому августа, к октябрьским, к новому году,— ну?

И упёрся глазами в Яконова вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повёл ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд — и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что и ещё более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы, не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побеждённых и ещё только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год.

Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчёт был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет — а пока испытают общее качество да пока дойдёт дело до серии, да пока повезут аппараты в наши посольства за границу — за это время ещё пройдёт полгода, наладятся и шифрация и качество звучания.

Но Яконов знал, что мёртвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовёт Берию и спросит: какой дурак делал эту машину? Убери его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым зэком.

И под взглядом министра почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконов преодолел

жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха в лёгкие, ахнул:

— Месяц ещё! Ещё один месяц! До первого февраля!

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к серякам. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов — сами были виноваты Селивановский, Осколупов и Яконов. Если так трудно — зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым,— упёрся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про *запас* и перед Сталиным всегда набавлял ещё пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого м а р т а. Так что на худой конец можно было разрешить ещё месяц,— но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

— Это как — месяц? По-человечески месяц или опять брешете?

— Это точно! Это — точно!— обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Марфино и сам браться за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

— Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию. Селивановский — будет?

— Будет! будет!

— Осколупов! Голову оторву! Будет?
— Да товарищ министр, да там всего-то осталось...
— А — ты? Чем рискуешь — знаешь? Будет?
Ещё удерживая мужество, Яконов настоял:
— Месяц! К первому февраля.
— А если к первому не будет? Полковник! Взвесь! Врёшь.
Конечно, Яконов лгал. И, конечно, надо было просить два месяца. Но уж откроено.
— Будет, товарищ министр,— печально пообещал он.
— Ну, смотри, я за язык не тянул! Всё прощу — обмана не прощу! Идите.
Облегчённые, всё так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.
Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.
Едва их вывели, как в кабинете было доложено:
— Инженер Прянчиков!

17

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Селивановского был вызван Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Марфино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ́-ка́ Бобынин, потом зэ-ка Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться — по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке её так и называли: „сдвиг фаз у Валентули".

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стёклами „Победы". После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Марфина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к весёлой суете привокзальной площади, потом к неоновым витринам Сретенки. Для Прянчикова не стало ни шофёра, ни двух сопровождающих переодетых —

казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его лёгких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы ещё не видел ни один арестант за всю историю шарашки!

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключённых, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет и женщины изнывают от избытка никем не разделённой, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбуждённая столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки — и вибрирующие чувства Валентина воспринимали, как сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля его обдают удары, удары, удары духов проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы,— Валентину впору было расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он сидит ни за что! После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той изящной жизни, которою ему никак не доводилось пожить то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, ожидая в какой-то комнате, Прянчиков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпускали нехотя.

Молодой лощёный подполковник попросил его следовать за собой. Прянчиков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел ещё таким щуплым, как вступая в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровождающий оставил его.

Прянчиков даже не догадался, что это — кабинет (так он был просторен), и что пара золотых погонов в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его всё ещё шли ночные женщины и проносилась ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Он не удивился бы, если б сюда вошли разряженные женщины и начались бы танцы. Нелепо было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещённой синею лампочкой, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая, и мужчины бродят в одном белье.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковёр был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой стороне высилось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам! Для зэка, кому не всегда доступно дешёвенькое зеркальце меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало — праздник!

Прянчиков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошёл к нему очень близко, с удовлетворением рассмотрел своё чистое свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и в профиль. Чуть прошёлся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным, и прийдя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Прянчиков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог из одной половины мира любого посадить в тюрьму, а из другой половины — любого убить, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Прянчиков подошёл и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

— Вы — инженер...— Абакумов сверился с бумажкой,— ...Прянчиков?

— Да,— рассеянно подтвердил Валентин.— Да.

— Вы — ведущий инженер группы...— он опять заглянул в запись...— аппарата искусственной речи?

— Ка-кого аппарата искусственной речи!— отмахнулся Прянчиков.— Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. Voice coder.

— Но вы — ведущий инженер?

— Вообще да. А что такое?— насторожился Прянчиков.

— Садитесь.

Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер — когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно д в а месяца? Скажите, не бойтесь.

— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха!— звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожаные спинки и всплеснул руками.— Да вы что??! Что́ вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

— У вас клочок бумажки найдётся? Да вот!— Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался — столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не слушая.

— Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник,— почти захлёбывался Прянчиков от напирающего желания всё скорей высказать.— И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Чёрт! Как вы пишете таким гадким пером?.. воспроизведении путём суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, зто каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

— Подождите,— опомнился Абакумов.— Вы мне только скажите одно: к о г д а будет готово? Г о т о в о — когда?

— Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался.— В Прянчикове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться.— Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идём на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых...

— Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?

— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав. — Я вам сейчас всё объясню. Вы сами поймёте и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, заторможенным взглядом уперевшись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощёный подполковник и пригласил Прянчикова к выходу.

Прянчиков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жаловаться, добиваться... Он круто обернулся и направился назад:

— Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам...

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, — и в этот короткий неловкий момент из памяти Прянчикова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как на зло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

— Например, насчёт кипятка! С работы поздно вечером придёшь — кипятка нет! чаю нельзя напиться!..

— Насчёт кипятка? — переспросил тот начальник, вроде генерала. — Ладно. Сделаем.

18

В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошёл Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошёл, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим стиранный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему: „встать!", а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

— А почему вы без разрешения садитесь?

Бобынин, едва скосясь на министра, ещё кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

— А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять, а ещё лучше — лежать.

— Но вы представляете — *кем* я могу быть?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:

— Ну — кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?

— Вроде к о г о ???..

— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошёл.

По лицу Абакумова прошло движение, отдалённо похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

— Так вы что? Не видите между нами разницы?

— Между *вами*? Или между *нами*? — голос Бобынина гудел как растревоженный чугун. — Между *нами* отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет!

У Абакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, несолидно. Он понял, что арестант этот — трудный.

И только предупредил:

— Слушайте, заключённый. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь...

— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью.— У меня ничего нет, вы понимаете — нет ничего! Жену мою и ребёнка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот бельё под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казённое. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима — чем ещё можете вы мне угрозить? чего ещё лишить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бобынину:

— Вот, возьмите этих.

— Спасибо. Не меняю марки. Кашель.— И достал „беломорину" из самодельного портсигара.— Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не всё. Но человек, у которого вы отобрали всё — уже не подвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

— Инженер Бобынин! Вы — ведущий инженер установки „клиппированная речь"?

— Да.

— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?

Бобынин вскинул густые тёмные брови:

— Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?

— Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова?

— К февралю? Вы что — смеётесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-нибудь... через полгодика. А абсолютная шифрация? Понятия не имею. Может быть — год.

Абакумов был оглушён. Он вспомнил злобно-нетерпящее подёргивание усов Хозяина — и ему жутко стало

тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Всё опустилось в нём, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Обеими руками министр подпёр голову и сдавленно сказал:

— Бобынин! Я прошу вас — взвесьте ваши слова. Если можно быстрей, скажите: что нужно сделать?

— Быстрей? Не выйдет.

— Но причины? Но какие причины? Кто виноват? Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!

Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества „Россия".

— Ведь это получается два с половиной-три года! — возмущался министр. — А вам срок был дан — год!

И Бобынина взорвало:

— Что значит — дан срок? Как вы представляете себе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка? Воздвигни мне к утру дворец — и к утру дворец? А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме приказа ещё должны быть спокойные сытые свободные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Чёрт её знает, почему она хрупнула! Но её заварить — час работы сварщику. Да и станок — говно, ему полтораста лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод! — так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе — *опер*, дармоед, да в тюрьме ещё один *опер*, дармоед, только нервы дёргает, протоколы, закорючки — да на чёрта вам это *оперное* творчество?! Вот все говорят — секретную телефонию для Сталина делаем. Лично Сталин наседает — и даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения: то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает. Нищета! Позор! „Кто виноват"! А о людях вы подумали? Работают вам все по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных — костями?.. Свиданий с родственниками почему Пятьдесят Восьмой не даёте? Положено раз в месяц, а вы даёте раз в год. От этого что — настроение подымается? Мо-

жет, воронков не хватает, в чём арестантов возить? Или надзирателям — зарплаты за выходные дни? Ре-жим!! Режим вам голову мутит, с ума скоро сойдёте от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять, теперь запретили. Это зачем? Чтобы больше работали? На говне сметану собираете? От того, что без воздуха задыхаются — скорее не будет. Да чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.

Бобынин выпрямился, гневный, большой.

Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.

Было двадцать пять минут второго ночи. Через час, в половине третьего, Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина, на кунцевской даче.

Если этот инженер прав — как теперь изворачиваться?

Сталин — не прощает...

Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку лгунов из отдела специальной техники. И тёмное бешенство обожгло ему глаза.

И он позвонил за ними.

19

Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно, если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный (особое лицо отвечало за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая оттоманка с цветастыми подушками. Над ней со стены горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками.

На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зёрен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку — как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры.

А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нём

был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми — старый, обжитый, из тех серых, защитных, чёрных и белых френчей, какие (немного повторяя Наполеона) он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршальский мундир только после Сталинграда.

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли — и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными) уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная и отрыгалось тухло, не помогали салол с беладонной, а слабительных он пить не любил. Сегодня он и вовсе не обедал и вот рано, с полуночи, лёг полежать. В тёплом воздухе он ощущал спиной и плечами как бы холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью.

Глухонемая тишина налила дом и двор, и весь мир.

В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало время, и надо было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового *пространства,* не двигаться в нём. Но невозможно было исключить себя из *времени.*

Сейчас он перелистывал книжечку в коричневом твёрдом переплёте. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый

наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто — она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления её читать. На переплёте было выдавлено и позолочено: „Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография".

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь — Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности — всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность — это очень верно.)

Безотказное знание людей помогло юбиляру собрать хороший коллектив авторов для этой биографии. Но какие б они старательные ни были, из кожи вон,— а никто не напишет так умно, так сердечно, так верно о твоих делах, о твоём руководстве, о твоих качествах, как ты сам. И приходилось Сталину вызывать к себе из этого коллектива то одного, то другого, беседовать неторопливо, смотреть их рукопись, указывать мягко на промахи, подсказывать формулировки.

И вот теперь книга имеет большой успех. Это второе издание вышло пятью миллионами экземпляров. Для такой страны?— маловато. Надо будет третье издание запустить миллионов на десять, на двадцать. Продавать на заводах, в школах, в колхозах. Можно прямо распределять по списку сотрудников.

Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для

того и нужны были миллионы портретов по всей стране (а Сталину самому они зачем?— он скромен), для того и нужно было постоянное громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя — его это уже не радовало, ему уже давно приелось,— это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний — а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не всё время с ними на земле, а бываешь ещё где-то. И тогда нет предела их восхищению и преклонению.

Не тошнило, но как-то тяжело поднималось из желудка. Из вазочки с очищенными фруктами он взял фейхуа.

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие.

По кавказским понятиям семьдесят лет — это ещё джигит!— на гору, на коня, на женщину. И Сталин тоже ещё вполне здоров, ему надо обязательно жить до девяноста, он так загадал, так требуют дела. Правда, один врач предупредил его, что... (впрочем, кажется, его расстреляли потом). Настоящей серьёзной болезни никакой нет. Никаких уколов, никакого лечения, лекарства он и сам знает, умеет выбрать. „Побольше фруктов!“ Рассказывай кавказскому человеку про фрукты!..

Он сосал мякоть, прижмурив глаза. Слабый привкус иода ложился на язык.

Он вполне здоров, но что-то и меняется с годами. Уже нет прежнего свежего наслаждения едой — как будто все вкусы надоели, притупились. Уже нет острого ощущения в переборе вин и в смеси их. И хмель переходит в головную боль. И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой, а куда-то же надо деть это пустое долгое время.

Уже и женщины, с которыми он так попировал после Надиной смерти, нужны ему были мало, редко, и с ними было не до дрожи, а мутновато как-то. Уже и сон не облегчал по-молодому, а проснувшись слабым и со сдавленной головой, не хотелось подниматься.

Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, он

просто должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве.

Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели — мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Ещё потом — узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием — кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический приём. 23-го смотрел о себе вторую серию „Сталинградской битвы" и „Незабываемый 1919".

Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились. Теперь всё более и более правдиво вырисовывается его роль не только в отечественной, но и в гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьёзно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого поверхностного Ленина. И благородно вложил драматург в его уста: „Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать!" А у сценариста хорошо сочинена эта ночная сцена с Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Сталина никого не осталось из-за постоянной неискренности и коварства людей — да и за всю жизнь не было такого Друга! вот так складывалось, что никогда его не было! — но, увидев на экране, Сталин почувствовал умиление в горле (э́то художник — та́к художник!): как бы хотел он иметь такого правдивого бескорыстного Друга, и вот что думаешь целыми ночами про себя — говорить ему вслух.

Однако невозможно иметь такого Друга, потому что он должен был бы тогда быть чрезвычайно велик. А — где ему тогда жить? чем заниматься?

А эти все, с Вячеслава-Каменной задницы и до Никиты-плясуна — разве это вообще люди? За столом с ними от скуки подохнешь, никто ничего умного первый не предложит, а как им укажешь — так сразу все соглашаются. Когда-то Ворошилова Сталин немножко любил — по Царицыну, по Польше, потом за кисловодскую пещеру (доложил о совещании предателей, Каменева-Зиновьева с Фрунзе), — но тоже манекен для фуражки и орденов, разве это человек?

Никого он сейчас не мог вспомнить как своего друга. Ни о ком не вспоминалось больше доброго, чем плохого.

Друга нет и быть не может, но зато весь простой народ любит своего Вождя, готов жизнь и душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения Вождя стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий! — от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия. Просила „Правда" разрешения печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днём, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И ещё какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, а осталось только, что — неприятно. Сталин прошёл три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью „Великому Сталину от чекистов" (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине), повернулся и уехал.

А в общем прошёл замечательный юбилей — такая гордость! такие победы! такой успех, какого не знал ни один политик мира! — а полноты торжества не было.

Что-то, как в груди застрявшее, досаждало и пекло.

Он откусил и пососал ещё.

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж многими недостатками, сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить: из-за кого отступали в сорок первом году? Кто ж тогда отступал, если не народ?

Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а — приниматься за работу. Думать.

Думать — был его долг. И рок его, и казнь его тоже была — думать. Ещё два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить, и не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не

выспишь. А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом.

Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию — Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытый, запертый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи — и только до рассвета.

И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зреющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти всё в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали своё место — и только колхозная молодёжь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы, да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слётов и съездов. Однако проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть ещё глубже. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а вот несознательная часть молодёжи старается после школы обманным образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал — и в нём началась подтачивающая работа.

Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещания-

ми, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особо-отобранным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию: „Новый шаг к коммунизму", „юные наследники колхозной житницы"... ну, там писатели найдут, как выразиться.

Но — наши сторонники на Западе?..

Но — кому же работать в колхозах?..

Нет, что-то не шли сегодня рабочие мысли. Нездоровилось.

Раздался лёгкий четырёхкратный стук в дверь — не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, будто о дверь скреблась собака.

Сталин повернул около оттоманки ручку тяги дистанционного запора, предохранитель сощёлкнул, и дверь приотворилась. Её не закрывала портьера (Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться), и видно было, как голая дверь растворилась ровно настолько, чтобы пропустить собаку. Но не в нижней, а в верхней части просунулась голова как будто ещё и молодого, но уже лысого Поскрёбышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице.

С тревогой за Хозяина он посмотрел, как тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, однако не спросил прямо о здоровьи (Сталин не любил таких вопросов), а, недалеко от шёпота:

— Ёсь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? нет?

Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного кармана и на цепочке вытащил часы (как все люди старого времени, терпеть не мог ручных).

Ещё не было и двух часов ночи.

Тяжёлый ком стоял в желудке. Вставать, переодеваться не хотелось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть послабь — сраэу почувствуют.

— Па́-смотрым,— устало ответил Сталин и моргнул.— Нэ́ знаю.

— Ну, пусть себе едет. Подождёт!— подтвердил Поскрёбышев и кивнул с излишком раза три. И замер опять, со вниманием глядя на Хозяина:— Какие распоряжения ещё, Ё-Сарионыч?

Сталин смотрел на Поскрёбышева вялым полуживым взглядом, и никакого распоряжения не выражалось в нём. Но при вопросе Поскрёбышева вдруг высеклась иэ его прорончивой памяти внезапная искра, и он спросил, о чём давио хотел и забывал:

— Слушай, как там кипарисы в Крыму?— рубят?

— Рубят! Рубят!— уверенио тряхнул головой Поскрёбышев, будто этого вопроса только и ждал, будто только что звонил в Крым и справлялся.— Вокруг Массандры и Ливадии уже миого свалили, Ё-Сарионыч!

— Ты всё ж таки сводку па́-требуй. Цы-фравую. Нэт ли саботажа?— озабочены были жёлтые нездоровые глаэа Всесильного.

В этом году сказал ему один врач, что его здоровью вредны кипарисы, а нужно, чтобы воздух пропитывался эвкалиптами. Поэтому Сталин велел крымские кипарисы вырубить, а в Австралию послать за молодыми эвкалиптами.

Поскрёбышев бодро обещал и навязался также узнать, в каком положении эвкалипты.

— Ладно,— удовлетворённо вымолвил Сталин.— Иды́-пока, Саша.

Поскрёбышев кивнул, попятился, ещё кивнул, убрал голову вовсе и затворил дверь. Иосиф Виссарионович снова спустил дистанционный запор. Придерживая шаль, повернулся на другой бок.

И опять стал листать свою Биографию.

Но, расслабляемый лежаньем, оэнобом и несвареньем, невольно предался угнетённому строю мысли. Уже не ослепительный конечный успех его политики выступил перед ним, а: как ему в жизни не везло, и как несправедливо-много препятствий и врагов городила перед ним судьба.

Две трети столетия — сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец, из конца — трудно оживить и поверить в начало.

Безнадёжно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребёнку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Всё же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи — сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О, с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях.

Вот здесь, в „Биографии“, есть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнурённый моленьями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготовляемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши — и только глаза да напряжённые брови выдают, что этот послушник пойдёт, пожалуй, до митрополита.

А Бог — обманул... Заспанный постылый городок среди круглых зелёных холмов, в извивах Меджуды и Лиахви, отстал: в шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, а на чердак.

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило — не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли — зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклонностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы — но открытыми объятьями

звала всех, принимала и всем обещала место — Революция.

Сюда, в „Биографию", он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него не борода, не усы, не бакенбарды (он не решил ещё, что), а просто не брился давно, и всё воедино живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает, куда. Что за милый молодой человек! Открытое, умное, энергичное лицо, ни следа того изувера-послушника. Освобождённые от масла, волосы воспряли, густыми волнами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нём может быть несколько не удалось: лоб невысокий и покатый назад. Молодой человек беден, пиджачок его куплен поношенным, дешёвый клетчатый шарфик с художнической вольностью облегает шею и закрывает узкую болезненную грудь, где и рубашки-то нет. Этот тифлисский плебей не обречён ли уже и туберкулёзу?

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней). Как всё трудно, как всё против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключённого из семинарии! (Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис — но всё-таки исключили его.)

Одиннадцать лет он кланялся и молился — впустую, плакало потерянное время... Тем решительней передвинул он свою молодость — на Революцию!

А Революция — тоже обманула. Да и что́ то была за революция — тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Здесь пропадёшь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а — кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавиживает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться?— те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников?— никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял ве́рный путь жизни.

И чёрт ему вообще в этой революции, в какой-то голытьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках?—

почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и — обойденного?

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зёрен и силу власти. Люди шли за ним! — отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь — а люди чтобы делали, ты укажешь — а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого — ничего нет. Это — выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело какое! два месяца подержат, выпустят, будешь — страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали.

Прошёл г о д! — и его перевели в кутаисскую тюрьму, в тёмную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался всё ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И ещё справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему *им* так легко сходит революция, почему *их* так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили? Это только начало, Джугашвили. Мы будем держать вас тут, пока вы сгниёте от чахотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу. Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф! Зачем вы пошли в эту свору? Вы — случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете.

Он и правда сожалел, ка́к сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу? Как он поторопился!.. Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет, когда Иосифу будет семьдесят три года... Зачем ему тогда и революция?

Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф — свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и поряд-

ку. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя, и зачем же было её расшатывать?

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу.) В конце концов то, что я вам предлагаю,— есть государственная служба. (На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них — выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберём кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапируем вас в далёкую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!

В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочёл письмо некоего Ленина, известного по „Искре". Ленин откололся на самый край, теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть.

От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество, и ещё до начала японской войны был на солнечном Кавказе.

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги — арестовывали других (особенно — несимпатичных ему), а его — не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг!— никто не ждал её так быстро, никто её не подготовил, не организовал — а *Она* наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Иваново-Вознесенск, восставали Лодзь, „Потёмкин"— и быстро из царского горла выдавили манифест, и всё равно ещё стучали пулемёты на Пресне и замерли железные дороги.

Коба был поражён, оглушён. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперёд?

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революцион-

ную душу! Что за безвыходное кольцо? — вытрясать революцию из России, чтоб на второй её день из архива охранки вытрясли твои донесения?

Не только *стальной* не была его воля тогда, но раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода.

Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись — где ж та революция? Нет её!

В это время большевики усваивали хороший революционный способ *эксов* — экспроприаций. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы — та́к метод борьбы! — не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что — грабёж и террор противоречат марксизму. А́х, как издевался над ними Коба, а́х, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин „чудесным грузином"! — эксы — грабёж, а революция — нэ грабёж? а́х, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию, откуда же — на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эксы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесёт его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка — так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут — дураки.

И этого о Кобе — не знала полиция, и ещё подержалась такая средняя приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда.

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего чёрного гнева.

А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между

ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трёх сибирских и уральских уходов из ссылки, его, непримиримого, неутомимого бунтаря, загнали... в город Вологду, где он поселился на квартире у полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга.

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал: «Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!"

В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК! Ведь вот Малиновский — член большевистского ЦК — и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что́ он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа как призрак-великан качалась над каждым днём его, над каждой его ночью.

Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их. Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года шлиссельбургской крепости и ещё потом ссылку добавочно. Сталину, как повелось, дали только ссылку, три года. Правда, далековато — Нарымский край, это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург.

Теперь он перенёс нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маёвка, там листовка — и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка — и загнали его теперь в настоящую ссылку — под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали — умела царская власть лепить безжалостные сроки! — *четыре* года, страшно сказать.

И опять заколебался Сталин: ради чего, ради кого отказался он от умеренной благополучной жизни, от покровительства власти, дал заслать себя в эту чёртову

дыру? „Член ЦК“ — словечко для дурака. Ото всех партий тут было несколько сотен ссыльных, но оглядел их Сталин и ужаснулся: что за гнусная порода эти профессиональные революционеры — вспышкопускатели, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не Полярный Круг был страшен кавказцу Сталину, а — оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить — да среди медведей ему было бы легче! — он женился на челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым, — да уж лучше её „хи-хи-хи“ и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они — чужие люди, отрубил себя от них ото всех и от революции тоже. Хватит! Не поздно честную жизнь начать и в тридцать пять лет, когда-то ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. (Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими щелкопёрами.)

Так он жил, совсем отдельно, не касался ни большевиков, ни анархистов, пошли они все дальше. Теперь он не собирался бежать, он собирался честно отбывать ссылку до конца. Да и война началась, и только здесь, в ссылке, он мог сохранить жизнь. Он сидел со своей челдонкой, затаясь; родился у них сын. А война никак не кончалась. Хоть ногтями, хоть зубами натягивай себе лишний годик ссылки — даже сроков настоящих не умел давать этот немощный царь!

Нет, не кончалась война! И из полицейского ведомства, с которым он так сжился, карточку его и душу его передали воинскому начальнику, а тот, ничего не смысля ни в социал-демократах, ни в членах ЦК, призвал Иосифа Джугашвили, 1879 года рождения, ранее воинской повинности не отбывавшего, — в русскую императорскую армию рядовым. Так будущий великий маршал начал свою военную карьеру. Три службы он уже перепробовал, должна была начаться четвёртая.

Санным сонным полозом его повезли по Енисею до Красноярска, оттуда в казармы в Ачинск. Ему шёл тридцать восьмой год, а был он — ничто, солдат-грузин, съёженный в шинельке от сибирских морозов и везомый пушечным мясом на фронт. И вся великая жизнь его должна была оборваться под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским местечком.

Но ещё он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: „Христос воскресе!“ Царь — отрёкся! Империи — больше не было!

Как? Откуда? И надеяться забыли, и рассчитывать забросили. Верно учили Иосифа в детстве: „неисповедимы пути Твои, Господи!“

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была ещё одна телеграмма, без неё призрак Азефа, как повешенный, всё раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что́ надо было сжигать побыстрей. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, немало таких, как он...

(Охранка сгорела, но ещё целую жизнь Сталин косился и оглядывался. Своими руками перелистал он десятки тысяч архивных листов и бросал в огонь целые папки, не просматривая. И всё-таки пропустил, едва не открылось в тридцать седьмом. И каждого однопартийца, отдаваемого потом под суд, непременно обвинял Сталин в осведомительстве: он узнал, как легко пасть, и трудно было вообразить ему, чтобы другие не страховались тоже.)

Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и нёсся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захолустное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

В Петроград он приехал и сразу согласился с Каменевым: вот это оно и есть, о чём мы мечтали в подполье. Революция совершилась, теперь укреплять достигнутое. Пришло время положительных людей (особенно, если ты уже член ЦК). Все силы на поддержку временного правительства!

Так всё ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, не знающий России, лишённый всякого положительного равномерного опыта, и, захлёбываясь, дёргаясь и картавя, не полез со своими апрельскими тезисами,

запутал всё окончательно! И таки заговорил партию, потащил её на июльский переворот! Авантюра эта провалилась, как верно предсказывал Сталин, едва не погибла и вся партия. И куда же делась теперь петушиная храбрость этого героя? Убежал в Разлив, спасая шкуру, а большевиков тут марали последними ругательствами. Неужели его свобода была дороже авторитета партии? Сталин откровенно это высказал им на Шестом съезде, но большинства не собрал.

Вообще, семнадцатый год был неприятный год: слишком много митингов, кто красивей врёт, того и на руках носят, Троцкий из цирка не вылезал. И откуда их налетело, краснобаев, как мухи на мёд? В ссылках их не видели, на эксах не видели, по заграницам болтались, а тут приехали горло драть, на переднее место лезть. И обо всём они судят, как блохи быстрые. Ещё вопрос и в жизни не возник, не поставлен — они уже знают, как ответить! Над Сталиным они обидно смеялись, даже не скрывались. Ладно, Сталин в их споры не лез, и на трибуны не лез, он пока помалкивал. Сталин это не любил, не умел — выбрасывать слова наперегонки, кто больше и громче. Не такой он себе представлял революцию. Революцию он представлял: занять руководящие посты и дело делать.

Над ним смеялись эти остробородки, но почему наладили всё тяжёлое, всё неблагодарное сваливать именно на Сталина? Над ним смеялись, но почему во дворце Кшесинской все животами переболели и в Петропавловку послали не кого другого, а именно Сталина, когда надо было убедить матросов отдать крепость Керенскому без боя, а самим уходить в Кронштадт опять? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом.

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удался. Хорошо. За это можно Ленину пятёрку поставить. Там что дальше будет — неизвестно, пока — хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию? Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя — а удалась! Этот клоун, Троцкий, ещё и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, а́х, книжные фантазёры! Это ослом надо быть — верить в европейскую революцию, сколько там

сами жили — ничего не поняли, Сталин один раз проехал — всё понял. Тут перекреститься надо, что своя-то удалась. И сидеть тихо. Соображать.

Сталин оглядывался трезвыми непредвзятыми глазами. И обдумывал. И ясно понял, что такую важную революцию эти фразёры загубят. И только он один, Сталин, может её верно направить. По чести, по совести, только он один был тут настоящий руководитель. Он беспристрастно сравнивал себя с этими кривляками, попрыгунами, и ясно видел своё жизненное превосходство, их непрочность, свою устойчивость. Ото всех них он отличался тем, что п о н и м а л л ю д е й. Он та́м их понимал, где они соединяются с землёй, где *базис*, в том месте их понимал, без которого они не стоят, не устоят, а что выше, чем притворяются, чем красуются — это *надстройка*, ничего не решает.

Верно, у Ленина был орлиный полёт, он мог просто удивить: за одну ночь повернул — „земля — крестьянам!" (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). Уж о НЭПе совсем не говори, это хитрей всего, таким манёврам и поучиться не стыдно.

Что в Ленине было выше всего, сверхзамечательно: он крепчайше держал реальную власть только в собственных руках. Менялись лозунги, менялись темы дискуссий, менялись союзники и противники, а полная власть оставалась только в собственных руках!

Но не было в этом человеке — настоящей надёжности, предстояло ему много горя со своим хозяйством, запутаться в нём. Сталин верно чувствовал в Ленине хлипкость, перебросчивость, наконец плохое понимание людей, никакое не понимание. (Он по самому себе это проверил: каким хотел боком — поворачивался, и с этого только боку Ленин его видел.) Для тёмной рукопашной, какая есть истинная политика, этот человек не был годен. Себя ощущал Сталин устойчивей и твёрже Ленина настолько, насколько шестьдесят шесть градусов туруханской широты крепче пятидесяти четырёх градусов шушенской. И что испытал в жизни этот книжный теоретик? Он не прошёл низкого звания, унижений, нищеты, прямого голода: хоть плохенький был, да помещик. Он из ссылки ни разу не уходил, та́кой примерный! Он тюрем настоящих не видел, он и России самой не видел, он четырнадцать лет проболтался по

эмиграциям. Что́ тот писал — Сталин больше половины не читал, не предполагал набраться умного. (Ну, бывали у него и замечательные формулировки. Например: „Что такое диктатура? Неограниченное правительство, не сдерживаемое законами.“ Написал Сталин на полях: „Хорошо!“) Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: „Помоги! Я политику понимаю, классы понимаю — живых людей не понимаю!“ А он не придумал лучше, как заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. Самый нужный был ему в Москве человек — Сталин, а он его в Царицын послал...

И на всю Гражданскую Ленин устроился сидеть в Кремле, он себя берёг. А Сталину досталось три года кочевать, по всей стране гонять, когда трястись верхом, когда в тачанке, и мёрзнуть, и у костра греться. Ну, правда, Сталин любил себя в эти годы: как бы молодой генерал без звания, весь подтянутый, стройный; фуражка кожаная со звёздочкой; шинель офицерская двубортная, мягкая, с кавалерийским разрезом — и не застёгнута; сапожки хромовые, сшитые по ноге; лицо умное, молодое, чисто-побритое, и только усы литые, ни одна женщина не устоит (да и своя жена третья — красавица).

Конечно, сабли он в руки не брал и под пули не лез, он дороже был для Революции, он не мужик Будённый. А приедешь в новое место — в Царицын, в Пермь, в Петроград,— помолчишь, вопросы задашь, усы поправишь. На одном списке напишешь „расстрелять“, на другом списке напишешь „расстрелять“ — очень тогда люди тебя уважать начинают.

Да и правду говоря, показал он себя как великий военный, как создатель победы.

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что ещё одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был — Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него „да“ — так „да“, „нет“ — так „нет“, обязательно: и так — и так, ни

так — ни так! Мира не заключать, войны не вести — какой разумный человек может это понять? А заносчивость? Как сам царь, в салон-вагоне мотался. Да куда же ты в главковерхи лезешь, если у тебя нет стратегической жилки?

До того жёг и пёк этот Троцкий, что в борьбе с ним на первых порах Сталин сорвался, изменил главному правилу всякой политики: вообще не показывать, что ты ему враг, вообще не обнаруживать раздражения. Сталин же открыто ему не подчинялся, и в письмах ругал, и устно, и жаловался Ленину, не пропускал случая. И как только он узнавал мнение, решение Троцкого по любому вопросу — сейчас же выдвигал, почему должно быть совсем наоборот. Но так нельзя победить. И Троцкий вышибал его как городошной палкой под ноги: выгнал его из Царицына, выгнал с Украины. А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приёмы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько чистых бланков, по низам расписался „одобряю и впредь!“ — и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! *На что* жаловался?! Нельзя даже в самой напряжённой борьбе апеллировать к благодушию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать — вообще ничего невозможно сделать в истории.

Все мы — люди, и чувства толкают нас впереди разума. От каждого человека запах идёт, и по запаху ты ещё раньше головы действуешь. Конечно, ошибся Сталин, что открылся против Троцкого раньше времени (больше никогда так не ошибался). Но те же чувства повели его самым правильным способом на Ленина. Если головой рассуждать — надо было угождать Ленину, говорить „ах, как правильно! я тоже — *за!*“ Однако безошибочным сердцем Сталин нашёл совсем другой путь: грубить ему как можно резче, упираться ишаком — мол, необразованный, неотёсанный, диковатый человек, хотите принимайте, хотите нет. Он не то, что грубил — он хамил ему („ещё могу быть на фронте две недели, потом давайте отдых“ — кому это Ленин мог простить?), но именно такой — неломаемый, неуступчивый, завоевал уважение Ленина. Ленин почувствовал, что этот *чудесный грузин* — сильная фигура, такие люди очень

нужны, а дальше — больше будут нужны. Ленин шибко слушал Троцкого, но и к Сталину прислушивался. Потеснит Сталина — потеснит и Троцкого. Тот за Царицын виноват, а тот — за Астрахань. „Вы научитесь сотрудничать“ — уговаривал их, но принимал и так, что они не ладят. Прибежал Троцкий жаловаться, что по всей республике сухой закон, а Сталин распивает царский погреб в Кремле, что если на фронте узнают...— отшутился Сталин, рассмеялся Ленин, отвернул бородёнку Троцкий, ушёл ни с чем. Сняли Сталина с Украины — так дали второй наркомат, РКИ.

Это был март 1919 года. Сталину шёл сороковой год. У кого другого была б РКИ задрипанная инспекция, но у Сталина она поднялась в главнейший наркомат! (Ленин так и хотел. Он знал сталинскую твёрдость, неуклонность, неподкупность.) Именно Сталину поручил Ленин следить за справедливостью в Республике, за чистотой партийных работников, до самых крупных. По роду работы, если её правильно понять, если отдать ей душу и не щадить своего здоровья, должен был теперь Сталин тайно (но вполне законно) собирать уличающие материалы на всех ответственных работников, посылать контролёров и собирать донесения, а потом руководить *чистками*. А для этого надо было создать аппарат, подобрать по всей стране таких же самоотверженных, таких же неуклонных, подобных себе, готовых скрытно трудиться, без явной награды. Кропотливая работа, терпеливая работа, долгая работа, но Сталин готов был на неё.

Правильно говорят, что сорок лет — наша зрелость. Только тут понимаешь окончательно, как надо жить, как себя вести. Только тут Сталин ощутил свою главную силу: силу невысказанного решения. Внутри ты уже решение принял, но чьей головы оно касается — тому прежде времени знать его не надо. (Когда голова его покатится — тогда пусть узнает.) Вторая сила: чужим словам никогда не верить, своим — значенья не придавать. Говорить надо не то, что́ будешь делать (ты ещё и сам, может, не знаешь, там видно будет, что́), а то, что твоего собеседника сейчас успокаивает. Третья сила: если тебе кто изменил — тому не прощать, если кого зубами схватил — того не выпускать, уж *этого* ни за что не выпускать, хотя бы солнце пошло назад и небесные явления разные. И четвёртая сила: не на теории голову направлять, это ещё никому не помогало (тео-

рию потом какую-нибудь скажешь), а постоянно соображать: с кем тебе сейчас по пути и до какого столба.

Так постепенно выправилось и положение с Троцким — сперва поддержкой Зиновьева, потом и Каменева. (Душевные создались отношения с ними обоими.) Уяснил себе Сталин, что с Троцким он зря волновался: такого человека, как Троцкий, никогда не надо в яму толкать, он сам попрыгает и свалится. Сталин знал своё, он тихо работал: медленно подбирал кадры, проверял людей, запоминал каждого, кто будет надёжный, ждал случая их поднять, передвинуть. Подошло время — и, точно! свалился Троцкий сам на профсоюзной дискуссии — набелибердил, наегозил, Ленина разозлил — партию не уважает! — а у Сталина как раз готово, кем людей Троцкого заменять: Крестинского — Зиновьевым, Преображенского — Молотовым, Серебрякова — Ярославским. Подтянулись в ЦК и Ворошилов, и Орджоникидзе, все свои. И знаменитый главнокомандующий зашатался на журавлиных своих ножках. И понял Ленин, что только Сталин один за единство партии как скала, а для себя ничего не хочет, не просит.

Простодушный симпатичный грузин, этим и трогал он всех ведущих, что не лез на трибуну, не рвался к популярности, к публичности, как они все, не хвастался знанием Маркса, не цитировал звонко, а скромно работал, аппарат подбирал — уединённый товарищ, очень твёрдый, очень честный, самоотверженный, старательный, немножко правда невоспитанный, грубоватый, немножко недалёкий. И когда стал Ильич болеть — избрали Сталина генеральным секретарём, как когда-то Мишу Романова на царство, потому что никто его не боялся.

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы — радовался. Но только не Сталин. Другой бы „Капитал“ читал, выписки делал. А Сталин только ноздрями потянул и понял: время — крайнее, завоевания революции в опасности, ни минуты терять нельзя: Ленин власти не удержит и сам её в надёжные руки не передаст. Здоровье Ленина пошатнулось, и может быть это к лучшему. Если он задержится у руководства — ни за что ручаться нельзя, ничего нет надёжного: раздёрганный, вспыльчивый, а теперь ещё больной, он всё больше нервировал, просто мешал работать. Всем мешал работать! Он мог ни за что человека обругать, осадить, снять с выборного поста.

Первая идея была — отослать Ленина, например на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем — проверенного товарища, экспроприатора бывшего, налётчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая — она отравляет организм, надо ещё одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился — но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

„По отношению к Ленину нужна твёрдость!“ — написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались. Твёрдость в лечении, твёрдость в режиме, твёрдость в отстранении от дел — в интересах его же драгоценной жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. „Ответственным за здоровье товарища Ленина“ назначился Сталин и не считал это для себя чёрной работой: заняться непосредственно лечащими врачами и даже медсёстрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего — запрещать и запрещать, даже если поволнуется. То же и в политических вопросах. Не нравится ему законопроект насчёт Красной армии — провести, не нравится насчёт ВЦИКа — провести, и не уступать ни за что, ведь он больной, он не может знать, ка́к лучше. Если что настаивает проводить скорей — наоборот медленней проводить, отложить. И может быть, даже грубо, очень грубо ему ответить — так это у генсека от прямоты, свой характер не переломаешь.

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут ещё спор обострился насчёт ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким — против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь ещё строже врачебный догляд, не

читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завещание — опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-тук-тук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось ещё Крупскую одёрнуть, как она заслужила,— закипятился дорогой Ильич — и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

Он в удачное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин туда неправильный день похорон сообщил, потому что незачем тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее, очень важно, произнести генеральному секретарю.

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда ещё тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчёт от ЦК как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста —„вождь партии"), а за тот доклад уговорил ЦК — завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

Все они в Политбюро были тогда очень дружны, и все против Троцкого. И хорошо опровергали его предложения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый, неусыпный Сталин знал, что далеко ещё до покоя.

Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина предсовнаркома? (Ещё когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в „Правде", что он ходил без Каменева, один. На всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен.) Не лучше ли — Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже, вот так дружно жили!

Но скоро большой удар пришёлся по их дружбе: обнаружилось, что Зиновьев-Каменев — лицемеры, двурушники, что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджать. Они стали „новая оппозиция" (и болтушка Крупская полезла туда же), а Троцкий битый-битый пока присмирел.

Это очень удобное создалось положение. Тут кстати большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу подводил и обоснования (те дают —„наступление на кулака!“, а мы с Бухариным даём — „смычка города с деревней!“). Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство, он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали. Сняли Зиновьева с Коминтерна, отобрали у них Ленинград.

И кажется бы им смириться, так нет: они теперь с Троцким объединились, спохватился и тот кривляка в последний раз, дал лозунг: „индустриализация“. А мы с Бухарчиком даём — единство партии! Во имя единства все должны подчиниться! Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым.

Тут ещё очень помог *ленинский набор*: теперь большинство партии составляли люди, не заражённые интеллигентщиной, не заражённые прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значила прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты. Сталин никогда не сомневался, что он таких найдёт, и так они спасут завоевания революции.

Но какая роковая неожиданность: Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они не были за единство партии! И Бухарин оказался — первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг „смычка города с деревней“ скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации!.. Так вот они где нашлись, наконец, правильные лозунги, только Сталин сумел их сформулировать: наступление на кулака и форсированная индустриализация! И — единство партии, конечно! И эту гнусную компанию „правых“ тоже отмели от руководства.

Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел: „низшие умы более способны в управлении“. Дал ты маху, Николай Иваныч, вместе со своим мудрецом: не низшие — *здравые*. Здравые умы.

А какие вы были умы — это вы на процессах показали. Сталин сидел на галерее в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался: что за крас-

нобаи были когда-то! что за сила когда-то казалась! и до чего дошли? размокли как.

Именно знание человеческой природы, именно трезвость всегда помогали Сталину. Понимал он тех людей, которых видел глазами. Но и тех понимал, которых не видел глазами. Когда трудности были в 31-м-32-м, нечего было в стране ни надеть, ни поесть — казалось, только придите и толкните снаружи, упадём. И партия дала команду — бить набат, опасность интервенции! Но никогда Сталин сам ни на мизинец не верил: потому что тех, западных, болтунов он тоже заранее представлял.

Не посчитать, сколько сил, сколько здоровья, сколько выдержки пошло, чтоб очистить от врагов партию, страну и очистить ленинизм — это безошибочное учение, которому Сталин никогда не изменял: он точно делал, что́ Ленин наметил, только мягче немножко и без суеты.

Столько усилий! — а всё равно никогда не было покойно, никогда не было так, чтоб никто не мешал. То наскакивал этот кривогубый сосунок Тухачевский, что будто из-за Сталина он Варшаву не взял. То́ с Фрунзе не очень чисто получилось, проморгал цензор, то в дрянной повестушке представили Сталина на горе́ стоячим мертвецом, и тоже прохлопали, идиоты. То Украина хлеб гноила, Кубань стреляла из обрезов, даже Иваново бастовало.

Но ни разу Сталин не вышел из себя, после ошибки с Троцким — никогда больше ни разу. Он знал, что медленно мелят жернова истории, но — крутятся. И без всякой парадной шумихи все недоброжелатели, все завистники уйдут, умрут, будут растёрты в навоз. (Как ни обидели Сталина те писатели — он им не мстил, *за это* не мстил, это было бы не поучительно. Он другого случая дожидался, случай всегда придёт.)

И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал, хоть ротой в частях, не верных Сталину,— все куда-то уходили, исчезали. И делегаты Двенадцатого, и Тринадцатого, и Четырнадцатого, и Пятнадцатого, и Шестнадцатого, и Семнадцатого съездов как просто бы по спискам — уходили туда, откуда не проголосуешь, не выступишь. И дважды чистили смутьянский Ленинград, опасное место. И даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать. И даже старательных помощников, как Ягода, как Ежов, приходилось потом уби-

рать. Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп.

Не стало главного врага на земле и, кажется, заслужена была передышка? Но отравила её Финляндия. За это срамотное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером — тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько ещё осталось.

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались „братья и сёстры", теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сёстры бежали как бараны, и никто не хотел постоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж — не стояли? почему — не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике — и зря. Ходил по комнатам — неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? — нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что остановят — остановили! Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.)

А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького — городи выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбиля, прилетал позлорадствовать выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций,— и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжёлые годы...

Но, слава Богу, миновали и эти несчастья. Многое Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу. От самых 20-х годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте в комнату к себе уходил — просто смеялся над ними. Государственные люди, какими же умными они себя считают, а — глупее младенцев. Всё спрашивают: а *как* будем после войны, а как? Да вы самолёты шлите, консервы шлите, а там посмотрим — *как*. Им слово бросишь, ну первое проходное, они уже радуются, уже на бумажку записывают. Сделаешь вид — от любви размягчился, они уже — вдвое мягкие. Получил от них ни за так, ни за понюшку: Польшу, Саксонию, Тюрингию, власовцев, красновцев, Курильские острова, Сахалин, Порт-Артур, пол-Кореи, и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры „сельских хозяев" побеждали на выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрёкся от вздорной Балканской Федерации.

И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И — туда же на вторые десять лет все отсидевшие только по разу.

Ну, кажется всё начинало окончательно налаживаться!

И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма — выполз чёрный дракон Тито и загородил все перспективы.

Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекать всё новые и новые вырастающие головы гидры!..

Да как же можно было ошибиться в этой скорпионовой душе?! — ему! знатоку человеческих душ! Ведь в 36-м году уже за глотку держали — и отпустили!.. Ай-я-я-яй!

Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки и взялся за голову, уже с плешиной. Ничем не поправимая досада саднила его. Горы валял — а на вонючем бугорке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе...

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй

или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм! Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Социализм б е з Сталина — это же готовый фашизм!

Не в том, что у Тито что-нибудь получится — выйти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекший несчётно этих конечностей в курных избах, при дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку,— так смотрел Сталин на Тито.

Но Тито всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков: „рабочий контроль", „земля — крестьянам", все эти мыльные пузыри первых лет революции.

Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды — Основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях,— все, кто думал и н а ч е строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы построен,

если б не зазнавшиеся вельможи; не лживые рапорта; не бездушные бюрократы; не равнодушие к общественному делу; не слабость организационно-разъяснительной работы в массах; не самотёк в партийном просвещении; не замедленные темпы строительства;

нэ простои, нэ прогулы на производстве, нэ выпуск нэдоброкачественной продукции, нэ плохое планирование, нэ безразличие к внедрению новой техники, нэ бездеятельность научно-исследовательских институтов, нэ плохая подготовка молодых специалистов, нэ уклонение молодёжи от посылки в глушь, нэ саботаж заключённых, нэ потери зерна на поле, нэ растраты бухгалтеров, нэ хищения на базах, нэ жульничество завхозэв и завмагов, нэ рвачество шоферов,

нэ́ самоуспокоенность местных властей! нэ́ либерализм и взятки в милиции! нэ́ злоупотребление жилищным фондом! нэ́ нахальные спекулянты! нэ́ жадные домохозяйки! нэ́ испорченные дети! нэ́ трамвайные болтуны! нэ́ критиканство в литературе! нэ́ вывихи в кинематографии!—

когда всем уже ясно, что ка́мунизм на́вернойдороге и-нэ́далёк а́т-завершения,— высовывается этот кретин Тито са́-своим талмудистом Карделем и заявляет, шьто́-камунизм надо строить н э́ т а к!!!

Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточённо бьётся, застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подёргиваться.

Он перевёл дух. Разгладил рукой лицо, усы. Ещё перевёл. Нельзя же поддаваться.

Да, Абакумова надо принять.

И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке чёрно-красную книжечку дешёвого массового издания. И с удовольствием потянулся за ней, подмостил подушек, на несколько минут полуприлёг опять.

Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания „Тито — главарь предателей“ Рено де-Жувенеля (удачно, что автор — как бы посторонний в споре, объективный француз, да ещё с дворянской частицей). Сталин уже прочёл эту книгу подробно несколько дней назад (да и при написании её давал советы), но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана! гнусного предателя! безнадёжного тупицу! Ведь даже коммунисты на Западе растерялись, тычутся в два угла, не знают, кому верить. Старого дурака Андре Марти — и того за защиту Тито придётся выгнать из компартии.

Он перелистал книжку. Вот! Пусть не венчают Тито героем: дважды по трусости он хотел сдаться немцам, но начальник штаба Арсо Иованович *заставил* его остаться главнокомандующим! Благородный Арсо! Убит. А Петричевич? „Убит только за то, что любил Сталина.“ Благородный Петричевич! Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достаётся приканчивать Сталину.

Всё здесь есть, всё — и как Тито, наверно, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в бриллиантовых перстнях, увешан орденами и медалями (что за жалкое чванство в человеке, не одарённом полководческим гением!).

Объективная, принципиальная книга. Нет ли ещё у Тито половой неполноценности? Об этом тоже надо бы написать.

„Югославская компартия во власти убийц и шпионов.“ „Тито потому только мог заняться руководством, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов.“

Костов!!— укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду!— и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворённого чувства справедливости.

Проклятый Костов! Грязный мерзавец!

У-у-удивительно, как задним числом становятся понятны козни этих негодяев! Они все были троцкисты — но как маскировались! Куна хоть расшлёпали в тридцать седьмом, а Костов ещё десять дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов Сталин провёл, каких врагов заставил топтать самих себя — и такой срыв в процессе Костова! Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах — а на публичном заседании ото всего отказаться! При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? где же партийная совесть? где же пролетарская солидарность?— жаловаться империалистам? Ну хорошо, ты не виноват,— но умри так, чтобы была польза коммунизму!

Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать! Звала борьба.

Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался Поскрёбышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошёл низким узким кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приёмную. Посмотрел.

Абакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряжённо, ждал, когда позовут.

Всё более твёрдо, не шаркая, Сталин прошёл в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень.

Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер.

Подошёл к зеркалу. Ясно, неподкупно-строго смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьерминистры. Вид был суровый, простой, солдатский.

Он позвонил ординарцу-грузину — одевать себя.

Даже к приближённому он выходил как перед историей.

Его железная воля... Его непреклонная воля...

Быть постоянно, быть постоянно — горным орлом.

21

Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а только Александром Николаевичем. „Звонил Поскрёбышев" значило: звонил Сам. „Распорядился Поскрёбышев" значило: распорядился Сам. Поскрёбышев держался начальником личного секретариата Сталина уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и кто не знал его ближе, мог удивляться, как ещё цела его голова. А секрет был прост: он был по душе денщик, и именно тем укреплялся в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке за членами ЦК,— он перед Хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. Тщеславно хихикая, он чокался с ним в тосте за свою родную деревню Сопляки. Никогда не обманывающими ноздрями Сталин не ощущал в Поскрёбышеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера.

Но оборачиваясь к младшим, этот плешивый царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нижестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону — надо было в трубку головой влезть, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда, может быть и можно было, но спросить его, *как там* сегодня — не пошевеливался язык.

Сегодня Поскрёбышев сказал Абакумову:

— Иосиф Виссарионович работает. Может быть, и не примет. Велел ждать.

Отобрал портфель (идя к Самому, его полагалось сдавать), ввёл в приёмную и ушёл.

Так Абакумов и не решился спросить, о чём больше всего хотел: о сегодняшнем настроении Хозяина. С тя-

жело колотящимся сердцем он остался в приёмной один.

Этот рослый, мощный, решительный человек, идя сюда, всякий раз замирал от страха ничуть не меньше, чем в разгар арестов граждане по ночам, слушая шаги на лестнице. От страха уши его сперва леденели, а потом отпускали, наливались огнём — и всякий раз Абакумов ещё того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нём лазили во внутренние карманы. Поэтому Абакумов перекладывал обе авторучки, приготовленные для записи, из внутреннего кармана в наружный грудной.

Всё руководство Госбезопасностью изо дня в день шло через Берию, оттуда Абакумов получал бóльшую часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел как живую личность ощутить того, кому доверял охрану передового в мире порядка.

Эти приёмы, по часу, были тяжёлой расплатой за всю власть, за всё могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приёма до приёма. Наступал срок — всё замирало в нём, уши леденели, он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнёт ли шею через час.

Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял — только вздрагивал кончик одного уса, и там, внутри, выносился приговор, а осуждённый его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру.

Хуже всего, когда Сталин молчал и оставалось мучиться в догадках. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжёлое или острое, наступал сапогом на ногу, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо — этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил! Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался: это значило, что Хозяин ещё надеется исправить своего министра и работать с ним дальше.

Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своём заскочил слишком высоко: пониже было бы безопаснее, с *дальними* Сталин разговаривал добро-

душно, приятно. Но вырваться из *ближних* назад — пути не было.

Оставалось — ждать смерти. Своей. Или... непроизносимой.

И так неизменно складывались дела, что, представая перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь.

Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии.

...В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины — это хорошо, за Сталина — ещё лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время — в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пуд? (Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль.) Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До неё не долетали снаряды врага. Её не бомбили самолёты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушёл, но куда не пришли ещё ревизоры казны. Её офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что́ они опечатали в вагоне, что́ они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолёты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники — на сотни тысяч, Абакумов грёб миллионы.

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим — а золото спасло бы его, даже если б находилось в швейцарском банке. Казалось бы ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчинённые, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал всё новые спецкоманды

на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.

Но этот клад Нибелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на всесильного министра, зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято — однако и не объявляться же теперь министерству финансов!..

...Он приехал в половине третьего ночи, но ещё и в десять минут четвёртого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приёмной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем предательски разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б Сталин заработался и вообще не принял его сегодня: Абакумов опасался расправы за секретную телефонию. Он не знал, что́ теперь врать.

Но тяжёлая дверь приоткрылась — наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, Поскрёбышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошёл, стараясь не становиться всей грубой широкой ступнёй. В следующую дверь, тоже полуоткрытую, он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире, придерживая её за начищенную бронзовую ручку, чтоб не отошла. И на пороге сказал:

— Добрый вечер, товарищ Сталин! Разрешите?

Он сплошал, не прокашлялся вовремя, и оттого голос вышел хриплый, недостаточно верноподданный.

Сталин в кителе с золочёными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погонов, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, совино-зловеще посмотрел на вошедшего.

И ничего не сказал.

Очень плохой признак! — он ни слова не сказал...

И писал опять.

Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бёдер, немного наклонясь вперёд, с почтительно-приветственной улыбкой мясистых губ — а уши его пылали.

Министр госбезопасности ещё бы не знал, ещё бы сам не употреблял этот простейший следовательский приём: встречать вошедшего недоброжелательным молчанием. Но сколько б он ни знал, а когда Сталин встре-

чал его так — Абакумов испытывал внутренний обрыв страха.

В этом малом ночном кабинете, прижатом к земле, не было ни картин, ни украшений, оконца малы. Невысокие стены были обложены резной дубовой панелью, по одной стене проходили небольшие книжные полки. Не впридвиг к стене стоял письменный стол. Ещё — радиола в одном углу, а около неё — этажерка с пластинками: Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать.

Абакумов просительно перегнулся и ждал.

Да, он весь был в руках Вождя, но отчасти — и Вождь в его руках. Как на фронте от слишком сильного продвижения одной стороны возникает переслойка и взаимный обхват, не всегда поймёшь, кто кого окружает, так и здесь: Сталин сам себя (и всё ЦК) включил в систему МГБ — всё, что он надевал, ел, пил, на чём сидел, лежал — всё доставлялось людьми МГБ, а уж охраняло только МГБ. Так что в каком-то искажённо-ироническом смысле Сталин сам был подчинённым Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый.

Перегнувшись, стоял и ждал дюжий министр. А Сталин писал. Он всегда так сидел и писал, сколько ни входил Абакумов. Можно было подумать — он никогда не спал и не уходил с этого места, а постоянно писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет на бумаги, верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не всё время писал, он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.

Из чего рождается эта манера повелевать, эта значительность каждого мелкого движения? Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба? Но тогда это никого не пугало, никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по счёту продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях Вождя — намёк, предупреждение, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл —

и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они ещё лучше стали получаться и ещё вернее действовать на окружающих.

Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть.

Абакумов радостно встрепенулся, легко прошёл и сел — но не на всё сиденье, а на переднюю только часть его. Так было ему совсем не удобно, зато легче привставать, когда понадобится.

— Ну?— буркнул Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент! Теперь надо было не терять инициативы!

Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания,— но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его Хозяин, тем несдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания.)

Постоянным украшением ночных докладов Абакумова, тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда — раскрытие какой-то очень важной, очень разветвлённой враждебной группы. Без такой обезвреженной (каждый раз новой) группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую группку по Академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями.

Но сперва принялся рассказывать об успехах (он сам не знал — подлинных или мнимых) подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением её на остров Бриони.

Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в рот и раза два просопел ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного всё-таки проникая в шефа, почувствовал, что попал в точку.

— А — Ранкович?— спросил Сталин.

Да, да! Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде — вся эта клика взлетела бы на воздух вместе! По расчётам, не позже этой весны так и должно получиться! (Ещё при взрыве должна была

погибнуть команда яхты, однако министр такой мелочи не касался, и собеседник его не допытывался.)

Но о чём он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа?

Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он всю жизнь только и ехал на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощёкого упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чём всегда думал при виде этих ретивых, на всё готовых, заискивающих подчинённых. Даже это не мысль была, а движение чувства: насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение: не наступил ли уже момент, когда этим человеком надо пожертвовать?

Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пятом году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов — такой. Такими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался так называемых „идейных", вроде Бухарина. Это — самые ловкие притворщики, их трудно раскусить.

Но даже и понятному Абакумову нельзя было доверять, как никому вообще на земле.

Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам (что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять). И рабочим (что будут работать, если им не установить норм). И тем более не доверял инженерам. Не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближённым. Не доверял жёнам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!

И доверился он одному только человеку — единственному за всю свою безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был — Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чехвостил Польшу, Францию, Бельгию, как самолёты его застилали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили,

что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границ, боялся обидеть коллегу.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову.

Тем более теперь он окончательно не верил никому!

На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо было играть в деревянные лошадки — призывать этого олуха Попивода и обсуждать с ним фельетоны против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов намечал послать колоть медведя, знавших язык, обычаи, даже Тито в лицо,— не надо было отвергать по анкетам (раз жил за границей — *не наш* человек), а поручить им, поверить. Теперь-то, конечно, чёрт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость.

Но он знал своего Хозяина! Надо было служить ему на какую-то долю сил — больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения. Однако чересчур удачное выполнение он ненавидел: он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно!

И Абакумов,— как и все сорок пять министров!— по виду натужась в министерской упряжке, тянул вполплеча.

Как царь Мидас своим прикосновением обращал всё в золото, так Сталин своим прикосновением обращал всё в посредственность.

Но сегодня-таки лицо Сталина по мере абакумовского доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр далее докладывал об арестах в Духовной Академии, потом особенно подробно — об Академии Фрунзе, потом о разведке в портах Южной Кореи, потом...

По прямому долгу и по здравому смыслу он должен был сейчас доложить о сегодняшнем телефонном звонке в американское посольство. Но мог и не говорить: он *мог* бы думать, что об этом уже доложил Берия или Вышинский, а ещё верней — ему самому могли в эту ночь

не доложить. Именно из-за того, что, никому не доверяя, Сталин развёл параллелизм, каждый запряженный мог тянуть вполплеча. Выгодней было пока не выскакивать с обещанием найти преступника посредством спецтехники. Всякого же упоминания о *телефоне* он вдвойне сегодня боялся, чтобы Хозяин не вспомнил секретную телефонию. И Абакумов старался даже не смотреть на настольный телефон, чтобы глазами не навести на него Вождя.

А Сталин вспоминал! Он как раз что-то вспоминал! — и как бы не секретную телефонию! Он собрал в тяжёлые складки лоб, и напряглись хрящи его большого носа, упорный взгляд уставил он на Абакумова (министр придал лицу как можно больше открытой честной прямоты) — но не вспоминалось! Едва державшаяся мысль сорвалась в провал памяти. Беспомощно распустились складки серого лба.

Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.

— Да! — вспомнил он в первом дымке, но мимоходом, не то главное, что вспоминал. — Гомулка — арестован?

Гомулка в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.

— Арестован! — подтвердил облегчённый Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и докладывали об этом.)

Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой — несколько ламп на стенах. Поднялся и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку, приготовился писать. (Хозяин любил, чтобы слова его тут же записывали.)

Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова. Серое рябоватое лицо его насупилось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи, сутулится спина Вождя, отчего он кажется ещё меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб как-нибудь их не учуял Верховный) — загадал, что не проживёт Батька ещё десяти лет, помрёт. Может не рассудительно, а хотелось, чтоб

это случилось побыстрей: казалось, что всем им, приближённым, откроется тогда лёгкая вольная жизнь.

А Сталин был подавлен новым провалом в памяти — голова отказывалась ему служить! Идя сюда из спальни, он специально думал, о чём надо спросить Абакумова — и вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, чтобы вспомнить.

И вдруг запрокинул голову, посмотрел на верх противоположной стены и вспомнил!! — но не то, что надо было,— а то, чего две ночи назад не мог вспомнить в музее революции, что ему так показалось там неприятно.

...Это было в тридцать седьмом году. К двадцатилетию революции, когда так много изменилось в трактовке, он решил сам просмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале — в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор, он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на верху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: „Убей тирана!“

Как двумя стрелами, поражённый в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показывая на портреты.

Их сняли тотчас.

И из музея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции — обломки кареты Александра Второго.

С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежища и квартиры, иногда целые горы прорывать ходами, как на Холодной речке. И, теряя вкус жить в окружении густого города, дошёл до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны.

Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления и каждый наряд состоял из бойцов разных, удалённых друг от друга казарм: сойдясь в карауле, они встречались впервые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу себе построил мышеловкой-лабиринтом из трёх заборов, где ворота не приходились друг против друга. И завёл не-

сколько спален, и где стелить сегодня, назначал перед самым тем, как ложиться.

И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь — благоразумием. Потому что бесценна его личность для человеческой истории. Однако другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем малым вождям в столице и в областях предписал подобные меры: запретил ходить без охраны в уборную, распорядился ездить гуськом в трёх неразличимых автомобилях.

...Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой:

— А шьто ты при́д-принимайшь па́ линии безопасности па́р-тийных кадров?

И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею набок.

С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность собеседников) — и с краткостью (длинные объяснения Хозяин считал неискренними), и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чём сейчас не собирался (эта постоянная готовность была здесь главным качеством, всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла).

— Товарищ Сталин!— дрогнул от обиды голос Абакумова. Он от души бы сердечно выговорил „Иосиф Виссарионович", но так не полагалось обращаться, это претендовало бы на приближение к Вождю, как бы почти один разряд с ним.— Для чего и существуем мы, Органы, всё наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!..

(Сталин говорил „безопасность партийных кадров", но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)

— Да дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела!..

Всё так же в позе ворона со свёрнутой шеей Сталин смотрел внимательно.

— Слюшай,— спросил он в раздумьи,— а шьто? *Дэла* по террору — идут? Нэ прекращаются?

Абакумов горько вздохнул.

— Я бы рад был вам сказать, товарищ Сталин, что *дел* по террору нет. Но они есть. Мы обезвреживаем их даже... ну, в самых неожиданных местах.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.

— Это — харашё! — кивнул он. — Значит — рабо́таете.

— Причём, товарищ Сталин! — Абакумову всё-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождём, и он привстал, не распрямляя колен полностью (а уж на высоких каблуках он никогда сюда не являлся). — Всем этим делам мы не даём созреть до прямой подготовки. Мы их прихватываем на замысле! на намерении! через девятнадцатый пункт!

— Харашё, харашё, — Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова (ещё б такая туша возвышалась над ним). — Значит, ты́ считайшь — нэ́-довольные е́щё есть в народе?

Абакумов опять вздохнул.

— Да, товарищ Сталин. Ещё некоторый процент...

(Хорош бы он был, сказав, что — нет! Зачем тогда его и фирма?..)

— Верно ты говоришь, — задушевно сказал Сталин. В голосе его был перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками. — Значит, ты — мо́жишь работать в госбезопасности. А вот мне говорят — нэт больше нэдовольных, все, кто голосуют на выборах *за* — всэ довольны. А? — Сталин усмехнулся. — Па́литическая слепота! Враг притаился, голосует за, а он — нэ́ доволен! Процентов пять, а? Или, может — восемь?..

(Вот эту проницательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою на фимиам Сталин особенно в себе ценил!)

— Да, товарищ Сталин, — убеждённо подтвердил Абакумов. — Именно так, процентов пять. Или семь.

Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошёл вокруг письменного стола.

— Это уж мой недостаток, товарищ Сталин, — расхрабрился Абакумов, уши которого охладились вполне. — Не могу я самоуспокаиваться.

Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:

— А — на́строение молодёжи?

Вопрос за вопросом шли как ножи, и порезаться достаточно было на одном. Скажи „хорошее“ — полити-

ческая слепота. Скажи „плохое“ — не веришь в наше будущее.

Абакумов развёл пальцами, а от слов пока удержался.

Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:

— Нада бо́льши заботиться а́ молодёжи. К порокам среди́ молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!

Абакумов спохватился и начал писать.

Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажёг и снова зашагал по комнате бодрей гораздо:

— Нада у́силить наблюдение за́ настроениями студентов! На́да вы́корчёвывать нэ́ по адиночке — а целыми группами! И надо переходить на́ полную меру, которую даёт вам закон — двадцать пять лет, а не десять! Десять — это школа, а не тюрьма! Это школьникам можнё по десять. А у кого усы пробиваются — двадцать пять! Ма́ладые! Да́-живут!

Абакумов строчил. Первые шестерёнки долгой цепи завертелись.

— И надо прэ́кратить са́наторные условия в па́литических тюрьмах! Я слышал от Берии: в па́литических тюрьмах до́-сих-пор-есть пра́дуктовые передачи?

— Уберём! Запретим! — с болью в голосе вскликнул Абакумов, продолжая писать. — Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!!

(Уж, действительно, это был промах! Это он мог догадаться и сам!)

Сталин расставил ноги против Абакумова:

— Да ско́лько жи раз вам объяснять? На́да жи вам понять наконец...

Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймёт. Абакумов не помнил, когда ещё Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного человека в обычных условиях. И служебное обстоятельство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов сказал:

— Мы понимаем, товарищ Сталин! мы (он говорил за всё министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение — как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два

с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом — зарплату *исполнителям* по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учёт. Потом — и в лагерях припугнуть нечем. Ка́к нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, *верните нам смертную казнь*!! — от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя.

И Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жёсткие усы дрогнули, но мягко.

— Знаю,— тихо, понимающе сказал он.— Думал.

Удивительный! Он обо всём знал! Он обо всём думал!— ещё прежде, чем его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли.

— На́-днях верну вам смэртную казнь,— задумчиво говорил он, глядя глубоко вперёд, как бы в годы и в годы.— Э̆т-та будыт харёшая воспитательная мера.

Ещё бы он не думал об этой мере! Он больше их всех третий год страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишённых, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчётом надёжным, сполна. Только смерть нарушителя подтверждает, что ты обладаешь реальной полной властью.

И если кончик уса его вздрагивал от негодования, то приговор всегда был один: смерть.

Меньшей кары просто не было в его шкале.

Из далёкой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевёл глаза на Абакумова. С нижним прищуром век спросил:

— А ты — нэ боишься, что мы тебя жи первого и расстреляем?

Это „расстреляем" он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.

Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый Родной и Любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутым кулаком,

и следил за каждой чёрточкой министра, как он поймёт эту шутку.

Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть приподнялся на напряжённых ногах, и от напряжения они задрожали в коленях:

— Товарищ Сталин!.. Так если я заслуживаю... Если нужно...

Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближённом. Увы, он знал эту человеческую неизбежность: от самых усердных помощников со временем обязательно приходится отказаться, отчураться, они себя компрометируют.

— Правильно!— с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин.— Когда́ заслужишь — тогда́ расстреляем.

Он провёл в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.

Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности ещё не приходилось слышать:

— Скоро будут мно́го-вам-работы, А́бакумов. Будым йищё один раз та́кое мероприятие проводить, ка́к в тридцать седьмом. Весь мир — против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвёртого года неизбежна. А перед ба́ль-шой войной ба́ль-шая нужна и чистка.

— Но товарищ Сталин!— осмелился возразить Абакумов.— Разве мы сейчас не сажаем?

— Э́т-та разве сажаем!..— отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой.— Во́т начнём сажать — увидишь!.. А во время войны пойдём вперёд — там Йи-вропу начнём сажать! Крепи Органы. Крепи Органы! Шьта́ты, зарплата — я тыбе ны́когда нэ откажу.

И отпустил мирно:

— Ну, иды́-пока.

Абакумов не чувствовал — шёл он или летел через приёмную к Поскрёбышеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц — но не начиналась ли новая эпоха его отношений с Хозяином?

Ещё, правда, было угрожено, что его же и расстреляют. Но ведь то была шутка.

А Властитель, возбуждённый большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нём, какой-то огромнейший духовой оркестр давал ему музыку к маршу.

Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда были и будут.

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди всё дурное простят, и даже забудут, и даже припомнят как хорошее. Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского „Ричарда III",— их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться победителю.

Толпа — это как бы материя истории. (Записать!) Сколько её в одном месте убудет, столько в другом прибудет. Так что беречь её нечего.

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, неверное время — и некому его заменить.

Провести и выиграть последнюю мировую войну. Как сусликов выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всём мире. Потом, конечно, поднять производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одним словом, как говорится, построить коммунизм.

Тут, кстати, укрепились совершенно неправильные представления, Сталин последнее время обдумал и разобрался. Близорукие наивные люди представляют себе коммунизм как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное общество, все на голову сядут, такой коммунизм хуже буржуазной анархии! Первой и главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина, строгое подчинение руководителям и выполнение всех указаний. (И особенно строго должна быть подчинена интеллигенция.) Вторая черта: сытость должна быть очень умеренная, даже недостаточная, потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории, бытие перестанет определять сознание, и всё пойдёт кувырком.

Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина *уже* построен.

Однако объявлять об этом нельзя, ибо тогда: куда же идти? Время идёт, и всё идёт, и надо куда-то же идти.

Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придётся никогда, это было бы методически неверно.

Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором — и кончено дело.

В слове „император" ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.

Как бы это звучало!— Император Планеты! Император Земли!

Он шагал и шагал, и оркестры играли.

А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?.. Нет, не успеют.

Как же бросить человечество? И — на кого? Напутают, ошибок наделают.

Ну, ладно. Понастроить себе памятников — ещё побольше, ещё повыше (техника разовьётся). Поставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе памятник — и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим изо всех Великих, нет ему равных, нет сравнимых в истории Земли.

И вдруг он остановился.

Ну, а...— выше? Равных ему, конечно, нет, ну а если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там... ?

Он опять пошёл, но медленнее.

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину.

Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало — то опровергнуто.

А всё равно как-то неясно.

Особенно если детство твоё прошло в церкви. И ты вглядывался в глаза икон. И пел на клиросе. А „Ныне отпущаеши" и сейчас споёшь-не соврёшь.

Эти воспоминания почему-то за последнее время оживились в Иосифе.

Мать, умирая, так и сказала: „Жалко, что ты не стал священником." Вождь мирового пролетариата, Собиратель славянства, а матери казалось: неудачник...

На всякий случай Сталин против Бога никогда не высказывался, довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали — Сталин помалкивал.

Того церковного инспектора, Абакадзе, который выгнал Джугашвили из семинарии, Сталин трогать не велел. Пусть доживает.

И когда третьего июля пересохло горло, и на глаза вышли слёзы — не страха, а жалости, жалости к себе — не случайно с его губ сорвались „братья и сёстры". Ни Ленин, ни кто другой и нарочно б так не придумал обмолвиться.

Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности.

Никто не видел, не знает, никому не говорил: в те дни он в своей комнате запирался и молился, по-настоящему молился, только в пустой угол, на коленях стоял, молился. Тяжелей тех месяцев во всей его жизни не было.

В те дни он дал Богу обет: что если опасность пройдёт, и он сохранится на своём посту, он восстановит в России церковь, и служения, и гнать не даст, и сажать не даст. (Этого и раньше не следовало допускать, это при Ленине завели.) И когда точно опасность прошла, Сталинград прошёл — Сталин всё сделал по обету.

Если Бог есть — Он один знает.

Только вряд ли он всё-таки есть. Потому что слишком уж тогда благодушный, ленивый какой-то. Такую власть иметь — и всё терпеть? и ни разу в земные дела не вмешаться — ну, как это возможно?.. Вот обойдя это спасение сорок первого года, никогда Сталин не замечал, чтоб кроме него кто-нибудь ещё распоряжался. Ни разу локтем не толкнул, ни разу не прикоснулся.

Но если всё-таки Бог есть, если распоряжается душами — нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту — тем более нуждался. Потому что — пустота его окружала, ни рядом, ни близко никого, всё человечество — внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был — Бог. Тоже одинокий.

И последние годы Сталину просто приятно было, что церковь в своих молитвах провозглашает его Богоизбранным Вождём. За то ж и он держал Лавру на кремлёвском снабжении. Никакого премьер-министра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха: он выходил его встре-

чать к дальним дверям и вёл к столу под локоток. И ещё он подумывал, не подыскать ли где именьице какое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили на помин души.

Об одном писателе Сталин узнал, что тот — сын священника, но скрывает. „Ты — пра́ва-славный?“ — спросил он его наедине. Тот побледнел и замер. „А ну, пэ́рэкрестысь! Умейшь?“ Писатель перекрестился и думал — тут ему конец. „Ма́ладэц!“ — сказал Сталин и похлопал по плечу.

Всё-таки в долгой трудной борьбе были у Сталина кое-какие перегибы. И хорошо бы так, над гробом, хор светлый собрать и чтобы — „Ныне отпущаеши...“

Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию: раз, и другой, и третий потягивала его какая-то привязанность к старому миру — к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе уже сорок лет разрушал.

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и на слух почти позорное слово *Родина*. Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать „Россия“, „родина“. При этом его собственная власть приобретала как будто бо́льшую устойчивость. Как будто святость.

Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идёт в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ — этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. Преданный, простоватый. Вот такой, как Поскрёбышев. И после Победы Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа — ясный ум, стойкий характер и терпение.

И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже.

Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не „заведующие школами“, а директоры; не „комсостав“, а — офицерство; не ВЦИК, а — Верховный Совет (верховный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от

гимназистов, и носили пелеринки, и платили за проучение; и чтоб у каждого граждаиского ведомства была своя форма и знаки различия; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в воскресенье, а ие в какие-то безличные иомерные дни; и даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе — хоть самому ему круто пришлось от этого в своё время, и что́ б об этом ни думал Энгельс в морской пучине; и хотя советовали ему Булгакова расстрелять, а белогвардейские „Дни Турбиных" сжечь, какая-то сила подтолкнула его локоть написать: „допустить в одном московском театре".

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны — и ощутил в этом удовольствие.

В конце концов и в короие, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В коице концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и лучшее из него — почему не заимствовать?

И хотя сдача Порт-Артура могла в своё время только радовать его, бежавшего из Иркутской губернии ссыльного революционера,— после разгрома Японии ои, кажется, не солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала тёмным пятном на самолюбии его и других старых русских людей.

Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился во главе этой страны и привлёк сердца её — именно он, а ие все те знаменитые крикуны и клииобородые талмудисты — без родства, без корней, без положительности.

Вот они, вот оии все здесь, на полках, без переплётов, в брошюрах двадцатых годов — захлебиувшиеся, расстреляиные, отравленные, сожжённые, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, предаиные анафеме, апокрифические — здесь они выстроились все! Каждую иочь они предлагают ему свои страницы, трясут бородёнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: „Мы предупреждали!", „Нужио было иначе!" Чужих блох искать — ума не надо! Для того Сталии и собрал их здесь, чтобы злей быть по иочам, когда прииимает решения. (Почему-то всегда оказывалось так, что уничтожеииые противиики в чём-то оказывались и правы. Сталии иастороженио прислушивался к их враж-

дебным загробным голосам и иногда кое-что перенимал.)

Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низкопокатым назад лбом питекантропа, неуверенно брёл мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов.

Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился и замолк в нём.

И заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжёлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась — и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви. Старость без веры. Старость без желаний.

Даже любимая дочь давно была ему не нужна, чужда.

Ощущение перешибленной памяти, меркнущего разума, отъединения ото всех живых заполняло его беспомощным ужасом.

Мутным взглядом он обвёл комнату, не различая, близко её стены или далеко.

На тумбочке рядом стоял ещё один графинчик под замком. Сталин нащупал ключ, длинно привязанный к поясу (в дурном состоянии он мог обронить его и искать долго), отпер графинчик, налил и выпил бодрящей настойки.

И ещё сидел с закрытыми глазами. В теле стало лучше, лучше, хорошо.

Прояснивший взгляд его упал на телефон — и что-то, ускользавшее весь вечер, опять скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка?..

Да! Вот оно! Он поднялся и, мягко шаркая по ковру, добрался до письменного стола, взял ручку, написал на календаре: *Секретная телефония.*

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства — почему не кончают?! Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не сказал!

Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый старается обмануть своего Вождя! Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам?

Ещё до завтрака больше десяти часов.

Он позвонил, чтоб его переодели в халат.

Беззаботная страна может спать, но Отец её спать не может!

23

Уж, кажется, всё было сделано для бессмертия.

Но Сталину казалось, что современники, хотя и называют его Мудрейшим из Мудрейших,— всё-таки не по заслугам мало восхищаются им; всё-таки в своих восторгах поверхностны и не оценили всей глубины его гениальности.

И последнее время язвила его мысль: не только выиграть третью мировую войну, но совершить ещё один научный подвиг, внести свой блистающий вклад в какую-нибудь ещё из наук, кроме философских и исторических.

Конечно, такой вклад он мог бы внести в биологию, но там он доверил работу Лысенко, этому честному энергичному человеку из народа. Да и больше была заманчива для Сталина математика или хотя бы физика. Все Основоположники бесстрашно пробовали свои силы в этих науках. Просто завидно читать бойкие рассуждения Энгельса о ноле или о минус единице, возведенной в квадрат. Восхищала Сталина и та решительность Ленина, с которой он, юрист, пошёл в дебри физики, и там, на месте, распушил учёных, доказал, что материя не может превращаться ни в какую энергию.

Сталин же, сколько ни перелистывал учебник „Алгербы" Киселёва и „Физику" Соколова для старших классов,— никак не мог набрести ни на какой счастливый толчок.

Такую счастливую мысль — правда, совсем в другой области, в языкознании, ему подал недавний случай с тбилисским профессором Чикобавой. Этого Чикобаву Сталин смутно помнил, как всех сколько-нибудь выдающихся грузинов: он был посетителем дома Игнатошвили-сына, тбилисского адвоката, меньшевика, и сам фрондёр, уже не мыслимый нигде, кроме Грузии.

В последней статье, доживя до того почтенного возраста и до того скептического состояния ума, когда начинаешь мало считаться с земным, Чикобава умудрился написать по видимости антимарксистскую ересь, что язык — никакая не *надстройка*, а просто себе язык,

и что будто бы существует язык не буржуазный и пролетарский, а просто национальный язык. И открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

Так как и тот и другой были грузинами, то отклик последовал в грузинском же университетском вестнике, серенький непереплетенный номер которого с грузинской вязью лежал сейчас перед Сталиным. Несколько лингвистов-марксистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава — агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие.

Правда, звучней было бы опровергнуть, например, контрреволюционную теорию относительности или волновую механику. Но за государственными делами просто нет на это времени. Языкознание же всё-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой.

Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже сидел и писал): „Какой бы язык советских наций мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... (вот чёрт, с годами ему всё трудней останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)...— каждому ясно, что..." Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.

А что ясно? Ничего не ясно... Экономика — базис, общественные явления — надстройка. И — ничего третьего, как всегда в марксизме.

Но с опытом жизни Сталин разобрался, что без третьего не поскачешь. Например, нейтральные страны могут же быть (их доконаем потом отдельно) и нейтральные партии (конечно, не у нас). При Ленине скажи такую фразу: „Кто не с нами — тот ещё не против нас"?— в минуту бы выгнали *из рядов*.

А получается так... Диалектика.

Вот и тут. Над статьёй Чикобавы Сталин сам задумался, поражённый никогда не приходившей ему мыс-

лью: если язык — надстройка, почему он не меняется с каждой эпохой? Если он *не* надстройка, так что́ он? Базис? Способ производства?

Собственно так: способ производства состоит из производительных сил и производственных отношений. Назвать язык *отношением* — пожалуй что нельзя. Значит, язык — производительная сила? Но производительные силы есть: орудия производства, средства производства и люди. Но хотя люди говорят языком, всё же язык — не люди. Чёрт его знает, тупик какой-то.

Честнее всего было бы признать, что язык — это орудие производства, ну, как станки, как железные дороги, как почта. Тоже ведь — связь. Сказал же Ленин: „без почты не может быть социализма". Очевидно, и без языка...

Но если прямым тезисом так и дать, что язык — это орудие производства, начнётся хихиканье. Не у нас, конечно.

И посоветоваться не с кем.

Ну, можно будет вот так, поосторожнее: „В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем от машин, которые так же безразличны к классам, как язык."

„Безразличны к классам"! Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...

Он поставил точку. Заложил руки за затылок, зевнул и потянулся. Не так много он ещё думал, а уже устал.

Сталин поднялся и прошёлся по кабинету. Он подошёл к небольшому окошку, где вместо стёкол было два слоя прозрачной желтоватой брони, а между ними высокое выталкивающее давление. Впрочем, за окнами был маленький отгороженный садик, там по утрам проходил садовник под наблюдением охраны — и сутки не было больше никого.

За непробиваемыми стёклами стоял в садике туман. Не было видно ни страны, ни Земли, ни Вселенной.

В такие ночные часы, без единого звука и без единого человека, Сталин не мог быть уверен, что вся страна-то его существует.

Когда после войны несколько раз он ездил на юг, он видел одно пустое, как вымершее, пространство, никакой живой России, хотя проехал тысячи километров по земле (самолётам он себя не доверял). Ехал ли он на автомобилях — и пустое стлалось шоссе, и безлюдная

полоса вдоль него. Ехал ли он поездом — и вымирали станции, на остановках по перрону ходила только его поездная свита и очень проверенные железнодорожники (а скорей всего — чекисты). И у него укреплялось ощущение, что он одинок не только на своей кунцевской даче, но и вообще во всей России, что вся Россия — придумана (удивительно, что иностранцы верят в её существование). К счастью, однако, это неживое пространство исправно поставляет государству хлеб, овощи, молоко, уголь, чугун — и всё в заданных количествах и в срок. Ещё и отличных солдат поставляет это пространство. (Тех дивизий Сталин тоже никогда своими глазами не видел, но судя по взятым городам — которых он тоже не видел — они несомненно существовали.)

Сталин был так одинок, что уже некем было ему себя проверить, не с кем соотнестись.

Впрочем, половина Вселенной заключалась в его собственной груди и была стройна, ясна. Лишь вторая половина — та самая объективная реальность, корчилась в мировом тумане.

Но отсюда, из укреплённого, охраняемого, очищенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся той второй половины — он чувствовал в себе власть корёжить её, как хотел. Только когда приходилось своими ногами вступать в ту объективную реальность, например, поехать на большой банкет в Колонный зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от автомобиля до двери, и потом своими ногами подниматься по лестнице, пересекать ещё слишком обширное фойе и видеть по сторонам восхищённых, почтительных, но всё же слишком многочисленных гостей — тогда Сталин чувствовал себя худо, и не знал даже, как лучше использовать руки свои, давно не годные к настоящей обороне. Он складывал их на животе и улыбался. Гости думали, что Всесильный улыбается в милость к ним, а он улыбался от растерянности...

Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал опасаться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было пространства.

Сталин задвинул металлическую шторку и поплёлся опять к столу. Проглотил таблетку, снова сел.

Никогда в жизни ему не везло, но надо трудиться. Потомки оценят.

Как это случилось, что в языкознании — аракчеевский режим? Никто не смеет слова сказать против Марра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуёшь им, в рот положишь — не берут!

Всё — самому, и тут — самому...

И он в увлечении записал несколько фраз:

„Надстройка *для того* и создана базисом, *чтобы*..."

„Язык *для того и создан, чтобы*..."

В усердии выписывания слов он низко склонил над листом коричневато-серое лицо с большим носом-бороздилом.

Лафарг этот, тоже мне в теоретики! — „внезапная языковая революция между 1789 и 1794 годами". (Или с тестем согласовал?..)

Какая там революция! Был французский язык — и остался французский.

Кончать надо все эти разговорчики о революциях!

„Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путём взрыва неприменим не только к истории развития языка,— он редко применим и к другим общественным явлениям".

Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо получилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хорошо разъясняли: что с какого-то момента всякие революции прекращаются и развитие идёт только эволюционным путём. И даже, может быть, количество не переходит в качество. Но об этом в другой раз.

„Редко"?.. Нет, пока ещё так нельзя.

Сталин перечеркнул „редко" и написал: „не всегда".

Какой бы примерчик?

„Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился, и хороший термин!) к социалистическому колхозному."

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: „строю". Это был его любимый стиль: ещё один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлечённое перо писало дальше:

„Однако этот переворот совершился не путём взрыва, то есть не путём свержения существующей власти,— (надо, чтоб это место агитаторы особенно разъясняли!),— и создания новой власти",— (об этом чтоб и мысли не было!!).

С легкодумной ленинской руки в советской исторической науке признают только революцию снизу, а революцию сверху считают полумерой, ублюдком, признаком дурного тона. Но пора назвать вещи своими именами:

„А удалось это проделать потому, что это была революция *сверху*, что переворот был совершён по инициативе существующей власти..."

Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива коллективизации шла не от крестьян?..

Сталин откинулся в кресле, зевнул — и вдруг потерял мысль, все мысли, какие только что были. Загоревшийся в нём пыл исследования — погас.

Сильно сгорбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающею походкой владетель полумира прошёл во вторую узкую дверь, не различную от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком — в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами.

Ложась, он кряхтел и пытался подкрепить себя привычным рассуждением: ни Наполеон, ни Гитлер не могли взять Британии потому, что имели врага на континенте. А у него — не будет. Сразу с Эльбы — марш на Ламанш, Франция сыпется как труха (французские коммунисты помогут), Пиренеи — с ходу штурмом. Блитц-криг — это, конечно, афера. Но без молниеносной войны не обойтись.

Начать можно будет, как атомных бомб наделаем и прочистим тыл хорошенько.

Уже уткнувшись в подушку щекой, перебрал последние бессвязные мысли: что в Корее тоже надо молниеносно; что с нашими танками, артиллерией, авиацией обойдёмся мы, пожалуй, и без Мирового Октября.

Вообще путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе — слишком много сложностей.

Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!

И опустился в сон.

24

Когда инженер-полковник Яконов вышел из министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул чёрно-мраморный нос здания под

пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою „победу“ и уже надавил было ручку садиться в чужую.

Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале всё таял, потом пресекся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а натаявшую воду подбирало хрупким ледком.

Холодало.

Было уже скоро пять часов. В небе стояла чёрная фонарная ночь.

Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной) и с завистью поглядел, как Яконов садился в автомобиль. Он вздохнул — доживёт ли когда-нибудь, чтоб иметь машину. Не то, чтобы девушку покатать в легковой — он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на уборочную.

Но он не знал, кому завидовал...

Шофёр спросил:

— Домой?

Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали.

— Домой?— спросил шофёр.

Яконов дико посмотрел на него.

— А? Нет.

— В Марфино?— удивился шофёр. Хотя он ждал в бурках и в полушубке — он продрог, хотел спать.

— Нет,— ответил инженер-полковник, держась рукой чуть повыше сердца.

Шофёр смотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря сквозь ветровое стекло.

Это не был его шеф. Покойные мягкие, порой надменно-сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.

И он всё ещё держал на ладони часы, не понимая.

И хотя шофёр с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года,— сейчас, не переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла.

Было так поздно, что уже становилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы.

Несколько раз шофёр оглядывался на полковника: всё же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мяс-

ницких ворот, доехал бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра!

Яконов неподвижным бессмысленным взглядом упёрся вперёд, в ничто.

Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов, близких к дому, приведёт инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофёр направил в Замоскворечье. Из Охотного ряда он развернулся на строгую пустынную Красную площадь.

Зубцы стен и верхушки елей у стен тронуло инеем. Брусчатка была особенно скользка. Туман жался под колёса автомобиля, к мостовой.

В двухстах метрах от них за зубцами, которые поэтами назывались не иначе как священными, за проходными, караулками, вахтами, часовыми, патрулями и засадами, обитал, по тем же поэтам, Неусыпный, и должен был сейчас кончать свою одинокую ночь.

А они проехали, даже не вспомнив о нём.

И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по набережной, шофёр затормозил и спросил опять:

— А может домой, товарищ полковник?

Надо было именно домой. Может быть этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пёс убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то, не в семью.

Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из „победы" и сказал шофёру:

— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.

Братцем он иногда называл шофёра. Но звукнула в его голосе такая скорбь, будто он прощался.

Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана.

Не застёгивая пальто, в полковничьей папахе чуть набекрень, Яконов, оскользаясь, пошёл по набережной.

Шофёр хотел окликнуть его, поехать с ним рядом, но потом подумал, что — небось, в таких чинах не топятся, развернулся и уехал.

А Яконов пошёл долгим пролётом набережной без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шёл он по асфальту, посередине, немигающе уставясь в далёкие фонарные огни.

И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие.

Когда их вызвали к министру второй раз — случилось непоправимое. Было ощущение, что рухнули все привычные прикрывающие потолки. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался, плевал — едва что мимо них, и, не соразмерив тычка кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь.

Селивановского он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную подкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925 году; а Яконова за обман и за *повторное вредительство* арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же Семёрку, к Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.

Потом отдышался и дал им последнего сроку — до ленинской годовщины.

Большой безвкусный кабинет плыл и качался в глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех, с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования: о двух девочках восьми и девяти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он не рано женился на ней. Он женился тридцати шести лет, едва выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра.

Потом Селивановский повёл Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решётку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта.

Потом Осколупов повёл Яконова к себе и начистую открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее.

...Яконов подошёл к высокому бетонному мосту, уводившему направо за Москва-реку. Но он не стал обходить, подниматься на его въезд, а прошёл под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер.

Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в пенсне и полковничьей папахе.

Дальше Яконов перешёл коротким мостом через малую речку. Это было устье Яузы, но он не пытался опознаться, где он.

Да, затеяна была угарная игра, и подходил её конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна — её наркомы и обкомы, учёные, инженеры, директоры и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие и простые колхозные бабы. Кто бы и за какое бы дело ни брался, очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков: больше! быстрее! ещё!! ещё!!! норму! сверх нормы!! три нормы!!! почётную вахту! встречное обязательство! досрочно!! ещё досрочнее!!! Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе,— а человеку, попавшему в эту круговерть, то есть каждому отдельному человеку, не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестерёнками, сойти с ума, попасть в аварию — и только тогда отлежаться в больнице, в санатории, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха — и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут.

Только больные наедине со своей болезнью (не в клинике!) могли жить бестревожно в этой стране.

Однако до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову всё удавалось выскакивать в другие дела — или поспокойнее, или ещё пока вначале.

Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти.

И заболеть — тоже было упущено.

Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вовсе лёг на лёд, обнажив его,— и прямо под Яконовым виднелось чёрное гнило-зимнее пятно — разводье.

Чёрная бездна прошлого — тюрьма — опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться.

Шесть лет, проведенных *там*, Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.

Он сел в тридцать втором году, молодым инженером-радистом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). И тогда попал в число первых зэков, из которых сформировали одну из первых шарашек.

Как он хотел забыть тюремное прошлое — сам! и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как

он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключённым!

С порывом он отошёл от парапета подальше, пересек набережную и пошёл куда-то круто вверх. Огибая долгий забор ещё одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий ледок.

Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундирами МГБ порой скрывались бывшие зэки.

Двое таких, кроме Яконова, было и в Марфинском институте.

Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного.

Один из них был — Княженецкий, семидесятилетний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные десять лет, после чего во внимание к длинному списку научных заслуг послан был в Марфино *вольным* и проработал здесь три года, пока свистящий бич Постановления об Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как Княженецкий спускался по красно-ковровой лестнице института с трясущейся серебряной головой, ещё не ведая, зачем его вызвали на полчаса, а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почёта.

Второй — Алтынов, не был знаменит в науке, а просто деловой человек. Он после первого срока был замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только Постановление об Укреплении стало совершать свои первые провороты по кольцам столицы, Алтынов словчил и лёг в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти, и друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало иссилившееся сердце изворачиваться тридцать лет кряду.

Так и Яконов, уже год назад обречённый как бывший зэк, теперь повторно обрекался как вредитель.

Бездна звала своих детей назад.

...Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая — куда, не замечая подъёма. Наконец одышка остановила его. И ноги устали, вывихиваясь от неровностей.

И тогда с высокого места, куда он забрёл, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.

За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая, всё холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-то покосившийся тесовый сарайчик или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство — всё угадывалось белесоватым, где от нестаявшего снега, где от осевшего инея.

А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалеку от центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь.

Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шлаковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. То здание вверху, куда вели ступени, плохо различалось в темноте, здание странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее.

Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь всё в разрушение?

Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти, сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти.

Поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем.

Да! Да! разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно-знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю.

Но колокольня? Её нет. Или эти груды камня — от колокольни?

Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.

Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть.

Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.

Он произнёс это имя — Агния, и ветерок совсем иных ощущений обежал его тело, сытое благами.

Ему тогда было двадцать шесть лет, ей — двадцать один.

Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить. Её брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные,— она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно.

А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъёма на гору, от беготни, даже от оживлённого разговора. Ничего не стоило обидеть её.

Однако она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу. Но вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу — никогда не брала туда с собой книги: книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Описания природы у Тургенева она пропускала, находя их поверхностными. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали её наблюдения: то — стволик берёзы наклонён до земли в память снегопада, то — как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал — лес и лес, воздух хороший, зелено.

Лесной Ручеёк — так звал её Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались как жених и невеста.

Но очень далеко от этого было на самом деле.

Агния не была хороша, ни нехороша собой. Лицо её часто преображалось: то в миловидной улыбке, то в непривлекательной вытянутости. Роста она была выше среднего, но узка, хрупка, а походка — такая лёгкая, будто Агния вовсе не нуждалась наступать на землю. И хотя Антон уже был довольно искушён и ценил в женском теле плоть, но чем-то, не телом, тянула его

Агния — и, приобвыкнув, он уверил себя, что как женщина она тоже ему нравится, что она разовьётся.

Однако, с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, уходя с ним за много вёрст в зелёную глубь, лёжа с ним бок о бок на лужайках,— она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спрашивала „зачем это?“ и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людьми: возвращаясь в дачный посёлок, она уступала его самолюбию и покорно шла под руку.

Рассудив с собой, что он любит её, Антон объяснился в любви — припал к её коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладело Агнией. „Как грустно,— говорила она.— Мне кажется, что я тебя обманываю. Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я бы должна только радоваться,— а мне не хочется жить...“

Она говорила так — но всё же каждое утро тревожно ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отношении.

Она говорила так, но говорила и иначе: „В Москве много девушек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь.“

Она давала себя обнимать и даже целовать, но её губы и руки были при этом безжизненны. „Как тяжело!— страдала она.— Я верила, что любовь — это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне никогда не встретить лучшего, чем ты — а мне не радостно, совсем не хочется жить.“

В ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него: „А без этого нельзя?“—„Но это совсем, совсем не главное!— с воодушевлением отвечал ей Антон.— Это только дополнение к нашему духовному общению!“ И тогда впервые её губы слабо пошевельнулись в поцелуе, и она сказала: „Спасибо тебе. А иначе зачем было бы жить? Я думаю, что я уже начинаю тебя любить. Я постараюсь обязательно полюбить.“

Той самой осенью под вечер они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лесным голосом, который трудно расслышивался в городском громыхании:

— Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве?

И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую и красную краску и обращённой алтарём в кривой безымянный переулок. Внутри ограды было тесно, шла только вкруг церковушки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом священник и дьякон. За обрешеченными окошками виделся из глубины мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же рос, в углу ограды, старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже жёлтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной.

— Это церковь Никиты Мученика,— сказала Агния.

— Но не самое красивое место в Москве.

— А подожди.

Она провела его между столпами калитки. На каменных плитах двора лежали жёлтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сени того же дуба стояла и древняя шатровая колоколенка. Она и прицерковный домик за оградой заслоняли закатное уже низкое солнце. В распахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора согбилась нищая старушка и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни.

— „Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию..." — почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу.

— Какого ж она века?

— Тебе обязательно век? А без века?

— Мила, конечно, но не...

— Так смотри!— Агния натянутой рукой быстро повлекла Антона дальше — к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет для ворот.

Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева лежало Замоскворечье, ослепляя жёлтым блеском стёкол, впереди дымили по закатному небу чёрные трубы МОГЭСа, почти под ногами в Москва-реку вливалась блесчатая Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный дом, за ним высились резные контуры

Кремля, а ещё дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя.

И во всём этом золотом осиянии Агния, в наброшенной жёлтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце.

— Да! Это — Москва!— захваченно произнёс Антон.

— Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей, для монастырей!— говорила Агния прерывающимся голосом.— Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся — в самых величественных местах. Архитекторы были богомольны, каменщики — праведники.

— Да-а, это — Москва...

— Но она — уходит, Антон,— пропела Агния.— Москва — уходит!..

— Куда она там уходит? Фантазия.

— Эту церковь снесут, Антон,— твердила Агния своё.

— Откуда ты знаешь?— рассердился Антон.— Это художественный памятник, его оставят.— Он смотрел на крохотную колоколенку, в прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки дуба.

— Снесут!— уверенно пророчила Агния, сидя всё так же неподвижно, в жёлтом свете и в жёлтой шали.

Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот: мать её и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь — не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тётки Агнии имели устойчивое своё исповедание: всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем умела. Её дочери переняли за ней и прятали подпольщиков-эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы её не секли. Но она росла — и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она — за церковь, потому что её гонят.

Она настаивала, что *теперь*-то было бы низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений.

— Да в чём ты видишь, что её гонят?— удивлялся Антон.— В колокола звонить им не мешают, просфорки

печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего.

— Конечно, гонят,— возражала Агния, как всегда тихо, малозвучно.— Раз на неё говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают — разве это не гонят?

— Где ты видела, что ссылают?!

— Этого на улицах не увидишь.

— И даже, если гонят!— наседал Антон.— Десять лет её гонят, а она гнала? Десять веков?

— Я тогда не жила,— поводила узкими плечиками Агния.— Я ведь живу — теперь... Я вижу, что́ при моей жизни.

— Но надо же знать историю! Неведение — не оправдание! А ты никогда не задумывалась — как могла наша церковь пережить двести пятьдесят лет татарского ига?

— Значит, глубока была вера?— догадывалась она.— Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства?..— Она спрашивала, не утверждала.

Антон улыбнулся снисходительно:

— Фантазёрка ты! Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошёл на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом!— вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх.

Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха.

— Вот на чём построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест!— громил Антон.— Да на сожжённых раскольниках! Да на запоротых сектантах! Нашла ты, кого пожалеть — церковь гонят!..

Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:

— И вообще, ты не справедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком,

а было бы царство разума. А главное, они — за равенство! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв?

(Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее *примкнуть*, пока не поздно.)

— А своим этим манерничаньем ты только сама же себе закроешь все дороги, и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Что ты можешь сделать?

— А что может женщина вообще?— Её тонкие косички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли), её косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь.— Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я её терпеть не могу.

— За что?— поразился Антон.

— За то, что Пьера она не пустит в декабристы!— И слабый голос её опять прервался.

Вот из таких внезапностей она была вся.

Прозрачная жёлтая шаль её за плечами повисла на освобождённых полуопущенных локтях и была как тонкие золотые крылья.

Антон двумя ладонями облёг её локоть, словно боясь сломать.

— А ты бы? Отпустила?

— Да,— сказала Агния.

Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела всё вверх и вверх.

Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых.

— Ты не боишься, что тебя увидят около церкви?— без насмешки спросила Агния, но получилась насмешка.

Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе.

— Берегись, Агния,— начиная раздражаться, внушал он ей.— Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит — отстанет безнадёжно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить. Остерегись. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь.

Агния поникла. Безвольно висела её рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой.

— Да, да,— упавшим голосом подтверждала она.— Я совершенно осознаю иногда, что жить мпе очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я — лишние мы на свете...

У него оборвалось внутри. Она делала всё, чтобы не завлечь его! Мужество выполнить обещание и жениться на Агнии слабело в нём.

Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки.

„И некрасива всё-таки она",— подумал Антон.

— Наверно, тебя ждёт слава, удача, стойкое благополучие,— грустно сказала она.— Но будешь ли ты счастлив, Антон?.. Остерегись и ты. Заинтересовавшись *процессом* жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе передать...— Она кончики пальцев тёрла в щепоти, ища слово, и лицо стало болезненно-беспокойно.— Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?..— Ещё искала.— А представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня по православному обряду?..

Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было её одну. Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древне-русском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галереи под неф среднего храмика.

Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилось золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.

Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворённо глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.

Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии,— и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырём; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.

Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика.

Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но всё так же был далёк обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями...

...Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не правда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного, его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от неё пострадает?

Заметка была напечатана.

Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку: „Митрополиту Кириллу".

А он испытал облегчение.

Он встал и, дотянувшись до решётчатого оконца галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри — кучи битого камня и мусора.

Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедления в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет.

Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова.

Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умён, талантлив — и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена, розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная „победа“ дожидалась его телефонного звонка.

А он стоял, локтями припав к мёртвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадёжно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра.

Светало.

Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решётки её окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскрёба.

26

Светало.

Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и предзонника, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звёздочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой.

Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось.

Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как её уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у неё вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошёл чердынские леса, воркутские шахты, два следствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптёрке в ожидании худших времён. Денег он получал в месяц тридцать рублей — на три килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определённые часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.

Когда-то под следствием сухие верёвочки, опять набухли и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.

Однако топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооружённому восстанию, тем более, что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение: ставить в пяти шагах от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы, и само такое соотношение — один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛага. Но заупрямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при *попке* работать не будет. На некоторое время колку

дров вообще прервали (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь: зэки занимались работой умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаёмные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако за годы службы в надзорсоставе они как бы разучились работать — у них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдаться: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключённым (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на ладони, да ещё дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними.

В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.

Во всякое время от подъёма до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулемётами, бесконвойно. Ещё потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был — несколько соединённых дворов, общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное — он здесь ел *от пуза*, хлеба чёрного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от СевУралЛага — от трёх зим лесоповала, да трёх вёсен лесосплава, где много тысяч брёвен он перенянчил.

— Ну! Спиридон! — с нетерпением окликнул Сологдин.

— Что такоича?

Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями седорыжими и кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку.

— Как что? Пила не тянет!

— С чего б эт не тянула? — удивился Спиридон. — За зиму́ кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнём разок!

И подал пилу одною ручкой.

Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулёжно, потом въелась и пошла.

— Вы в рукех-то её больно крепко дёржите, — осторожно посоветовал Спиридон. — Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавне́нько... во... ну-ну!.. К себе-то когда волочёте — не дёргайте...

Каждый из них ощущал своё явное превосходство над другим: Сологдин — потому, что знал теоретическую механику, сопромат и много ещё наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь, Спиридон — потому, что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал.

Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.

Сологдин рассмеялся:

— Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развёл!

Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:

— Жрёт себе, жрёт, мелко жуёт, сама не глотает, другим отдаёт...

И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.

— Ничуть я не точил, — повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. — Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня.

Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней сделал.

— Ну, давай, Спиридон, ещё чурбачок.

— Не-е,— взялся Спиридон за спину.— Я заморился. Что деды, что про́деды не доработали — всё на меня легло. А вот ваши дружки подойдут.

Однако дружки не шли.

Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.

— Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? — приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.

Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития.

— Да,— чмокнул Спиридон.— Вон вас каких учёных людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано „стеклодув". Я, ить, и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер, на нашем заводе под Брянским. Да дело давнее, уж и глаз нет, и работа та́я сюда не относится, тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всём заводе сроду не было́. А всё ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков,— хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял.

Из-за угла, со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания „тюремного штаба", показался Нержин. Он шёл в незастёгнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казённым (и потому до квадратности коротким) полотенцем на шее.

— С добрым утром, друзья,— отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку.

— Глебчик, ты обезумел, где ты видишь снег?— покосился Сологдин.

— А вот,— мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погреба. Там был редко-пушистый нетронутый слой не то снега, не то инея, и, собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случась поблизости, мешали этому.

— Эк тебя распарило,— покачал головой Спиридон.

— Письма-то всё нет, Спиридон Данилыч?— откликнулся Нержин.

— Вот именно есть!

— Что ж читать не приносил? Всё в порядке?

— Письмо есть, да взять нельзя. У Змея.

— У Мышина? Не даёт?— Нержин остановился в растирании.

— Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать. Пока я прохватился — а уж Змей приём кончил. Теперь в понедельник.

— Эх, гады!— вздохнул Нержин, оскаляя зубы.

— Попов судить — на то чёрт есть,— махнул Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало.— Ну, я покатил.

И в своём малахае со смешно спадающими набок ушами, как у дворняжки, Спиридон пошёл в сторону вахты, куда зэков кроме него не пускали.

— А топор? Спиридон! Топор где?— опомнился вслед Сологдин.

— Дежурняк принесёт,— отозвался Спиридон и скрылся.

— Ну,— сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину,— не угодил я Антону. Отнёсся я к Семёрке, как к „трупу пьяницы под марфинским забором". И ещё вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.

Сологдин повёл головою, усмехнулся, скорее неодобрительно. При усмешке между его светло-русыми с приседью аккуратно подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы ядрёных, не затронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов:

— Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит.

Нержин не удивился: и „математик", и „поэт" были заменены по известному чудачеству Сологдина говорить на так называемом Языке Предельной Ясности, не употребляя *птичьих*, то есть иностранных слов.

Всё так же полуголый, неспеша дотираясь полотенечком, Нержин сказал невесело:

— Да, на меня это не похоже. Но вдруг так всё опротивело, что ничего не хочется. В Сибирь так в Сибирь... Я с сожалением замечаю, что Лёвка прав, скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего — характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть, даже кому-нибудь... в морду дать.

Сологдин удобнее прислонился к козлам.

— Это глубоко радует меня, друг мой. Твоё усугублённое неверие,— (то, что называлось „скептнцизмом“ на Языке Кажущейся Ясности),— было нензбежным на пути от... сатанинского дурмана,— (он хотел сказать „от марксизма“, но не знал, чем по-русски заменить),— к свету истины. Ты уже не мальчик,— (Сологднн был на шесть лет старше),— и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни. И должен — выбирать.

Сологднн смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром н злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорнлся:

— А почему в таком важном заявлении ты не напомннаешь, что разум твой — слаб, и ты —„источник ошибок“?— И, как впервые, вскннулся и посмотрел на друга:— Слушай, а в тебе всё-таки... „Свет истины“— и „проституция есть нравственное благо“? И — в поединке с Пушкиным был прав Дантес?

Сологдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов:

— Но кажется, я этн положения успешно защитнл?

— Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди...

— Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я — как составное деревянное яйцо. Во мне — девять сфер.

— Сфера — птичье слово!

— Виноват. Видишь, как я нензобретателен. Во мне — девять... *ошарий.* И редко кому я даю увидеть внутренние. Не забывай, что мы живём под закрытым забралом. Всю жнзнь — под закрытым забралом! Нас вынуднлн. А люди и вообще, и без этого — сложней, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца — а в жизни мы никогда до конца не узнаём. Вот за что люблю Достоевского: Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов!— что за люди? Чем ближе с ними знакомншься, тем меньше понимаешь.

— Ставрогин — это, кстати, откуда?

— Из „Бесов“! Ты не читал?— изумился Сологдин.

Мокроватое куцое вафельное полотенце Нержин повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам.

— „Бесов“?.. Да разве моё поколение?.. Что ты! Да где было их достать? Это ж — контрреволюционная литература! Да опасно просто! — Он надел и телогрейку. — Но вообще я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами — разве тут же, в первое мгновение, ты не даёшь ему оценки в главном — враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно! А ты говоришь — так трудно понять человека? Да вот — ка́к мы с тобой встретились? Ты приехал на шарашку ещё когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь?

— Ну да.

— Я утром спускаюсь и насвистываю что-то, легкомысленное. А ты вытирался, и в полутьме поднял лицо из полотенца. И я — остолбенел! Мне показалось — иконный лик! Позже-то я доглядел, что ты — нисколько не святой, не стану тебе льстить...

Сологдин рассмеялся.

— ...У тебя лицо совсем не мягкое, но оно — необыкновенное... И сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через пять минут рассказывал тебе...

— Я был поражён твоей опрометчивостью.

— Но человек с такими глазами — не может быть стукачом!

— Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным.

— И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик...

— ...Карамазовский.

— Да, ты помнишь! — что делать с урками? И ты сказал? — перестрелять! А?

Нержин и сейчас смотрел как бы проверяя: может, Сологдин откажется?

Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Сологдина. Картинно скрестив руки на груди — ему очень шло это положение — он произнёс приподнято:

— Друг мой! Только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. Погоди, придёшь к Богу и ты. Твоё ни-во-что-не-верие — это не почва для мыслящего человека, это — бедность души.

Нержин вздохнул.

— Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца Мира, некий Высший Разум вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет — я был бы менее морален?

— Без-условно!!

— Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского, и триединство, и непорочное зачатие... А в чём пошатнётся моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было? Да ни в чём!

Сологдин строго поднял руку с вытянутым пальцем:

— Нет другого пути! Если ты усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания,— всё разрушено!! ты — безбожник!

Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля.

— Вот так вы и отталкиваете людей! всё — или ничего! Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться? Я и говорю: я только то и знаю, что ничего не знаю.

Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.

— Ладно, об этом — не на дровах,— согласился тот.

Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но всё же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упрёков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое даёт неподневольный и не вызванный нуждою труд.

Только перед четвёртым резом ярко разрумянившийся Сологдин буркнул:

— Сучка бы не зацепить...

И после четвёртого чурбака Нержин пробормотал:

— Да, сучковатое, па́дло.

Душистые, то белые, то жёлтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.

Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание:

он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих,— а будет медленно, со знанием жизненных глубин выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, *тянуть резину* весь двенадцатичасовой день — и так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятье, она и благословенье.

Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.

Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казённой работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Сологдин о своём мозге, истощённом столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишённом фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлёт жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.

27

А между тем они пилили и пилили, тела их разгорячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были сброшены на брёвна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел,— топора же всё не было.

— А не хватит?— спросил Нержин.— Небось не переколем.

— Отдохнём,— согласился Сологдин, оставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.

Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Сологдина пошёл пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.

— Но если тебя сейчас отправят в лагерь,— спросил Сологдин,— как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило — по революции.)

— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?

— Ве-ли-ко-лепно!!— густым выдохом отдал Сологдин.— Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу?

— Отчасти — да, отчасти — где ж я их возьму?

— Без „отчасти"!— предупредительно воскликнул Сологдин.— Ты пойми: мысль!!— он вскинул голову и руку.— Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть — с в о я! Мысль, как живое древо, даёт плоды, только если развивается естественно! А книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо все мысли найти самому — и только потом сверять с книгами.

Сологдин испытующе посмотрел на друга:

— А тридцать красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?

— Да! Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе-читальне.

Сологдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы.

— Ты — безумец. Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь! Мой долг — предостеречь тебя.

Нержин тоже взял шапку с отрожка козел и присел на груду чурбаков.

— Будь же достоин своей... исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь? Или по особым точкам?

— Уже ясно!— торопил Нержин, он не любил размазываний.— Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и наконец нолевые. И кривая — вся в наших руках.

— Так почему ж не применить этого к... *бытийному* лицу?!— (К историческому, перевёл для себя Нержин на Язык Кажущейся Ясности.) — Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений — и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в *эти* мгновения? Тут — весь человек. А остальное тебе совершенно незачем.

— Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?

Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлах иначе, но всё так же неудобно.

— Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживём ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть... Хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает моё косноязычие, я как-нибудь неуклюже это изложу...

Это было в манере Сологдина! Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался.

— Ну да, твоя слабая память,— убыстрял и помогал Нержин.— И то, что ты —„сосуд ошибок“...

— Да, да, именно.— Сологдин подтвердил минующей улыбкой.— Так вот, зная своё несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы *общий огляд на пути подхода* к работе.

Методика, привычно перевёл Нержин с Языка Предельной Ясности. Плечи зябли, и он тоже накинул телогрейку.

По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно-обелённых марфинских лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашёва-Иванова и согнутая в плечах, но тоже очень долгая — бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого, архитектора Мержанова. Видно было и как Лев

Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться „на дрова“, но надзиратель уже его не пускал: поздно.

— Смотри, вон Лёвка с растрёпанной бородой.

Засмеялись.

— Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения?

— Давай. Попробуем.

— Ну, например: как относиться к трудностям?

— Не унывать?

— Этого мало.

Мимо Нержина Сологдин смотрел за зону, на мелкие густые заросли, опушённые инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами чем-то напоминало лик Александра Невского.

— Как относиться к трудностям? — вещал он. — В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета — это прекрасно!! — Словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. — Самый благодарный путь исследования: наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные — тем радостней неудачи! Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада!! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя, соразмерный встреченной трудности!

— Здóрово! Сильнó! — отозвался Нержин с чурбаков.

— Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко-враждебной среде можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ!

— А с этим я бы... не согласился, — протянул Нержин. — Какая среда враждебней тюрьмы? Где не-

достаточней наши средства? А мы же своё ведём. Отказаться сейчас — может быть и навеки отказаться.

Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.

Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. И опять стал как бы читать, слегка нараспев:

— Теперь послушай: *правило последних вершков*! Область последних вершков!— на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, всё как будто совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем *то*! Нужны ещё доделки, может быть, ещё исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы! И не откладывать её, ибо строй мысли исполнителя уйдёт из области последних вершков! И не жалеть времени на неё, зная, что цель всегда — не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства!!

— Хор-рошо!— прошептал Нержин.

Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:

— Что же вы, младший лейтенант? Я вас не узна́ю. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть.

Луноподобный младший лейтенант Наделашин ещё недавно был старшиной. После производства в офицеры зэки шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в *младшину*.

Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:

— Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!

— Че-го?— фыркнул Нержин.— *Работы*? Младший лейтенант! Да разве вы — работаете?

Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, сказал по памяти:

— „Работа есть преодоление сопротивления.“ Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю.— И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном воздухе.— Так наколите, я прошу вас!

И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура её начальника подполковника Климентьева.

— Глебчик,— удивился Сологдин.— Мне изменяют глаза? Климентиадис?— (То был год, когда газеты много писали о греческих заключённых, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже жёнам и даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие — Мышинопуло, Климентиадис, Шикиниди.) — Зачем Климентиадис в воскресенье?

— Ты разве не знаешь? Шесть человек на свидание едут.

Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошёл со времени его последнего свидания, восемь месяцев — с тех пор, как он подал заявление,— а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учёбу жены в университетской аспирантуре, он не давал её адреса в студенческом общежитии, а лишь „до востребования“,— до востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной внутренней жизни был свободен от чувства зависти: ни зарплата, ни питание других, более достойных зэков, не мутили его спокойствия. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем — это сознание терзало его.

К тому же сегодня был его день рождения.

— Едут? Да-а...— с той же горечью позавидовал и Сологдин.— Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда...

(Сологдин не употреблял выражения „до конца срока“, потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов.)

Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделашиным, вошёл в штаб.

И вдруг заговорил быстро:

— Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова (он взглянул на небо): — любит! преклоняется! боготворит!

— Да отказали мне в свидании, что с тобой? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.

— А посмотри!

Нержин оглянулся. Младший шёл к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик.

Сологдин проследил, как младший завёл Нержина в штаб, потом поправил чурбак на попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но ещё вогнал топор в землю.

Впрочем, топор был казённый.

28

Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов в двое суток, — она была хлопотлива, полна беготнёй по этажам и в высокой степени ответственна.

Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в девять часов вечера, подсчитал, что все заключённые, числом двести восемьдесят одна голова, на месте, произвёл выпуск их на вечернюю работу, расставил посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы), как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к ещё не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину.

Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков (или, как их теперь называли — тюремных работников), но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, Наделашин и при простуде

не глотал её. В стране, где каждый второй прошёл лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей (а детьми — в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но и в задушевных беседах, Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как „чёрт“ и „сволочь“. Одной приговоркой пользовался он в сердцах — „бык тебя забодай!“, и то чаще не вслух.

Так и тут, сказав про себя „бык тебя забодай!“, он поспешил к майору.

Оперуполномоченный Мышин, которого Бобынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом,— болезненно ожиревший фиолетоволицый майор, оставшийся *работать* в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание:

— проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества;

— переписать по группам всех, встречающих Рождество;

— проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют ли при этом вина, о чём между собой говорят и, главное, не ведут ли антисоветской агитации;

— по возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный разгул.

Не сказано было — прекратить, но — „по возможности прекратить“. Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло её вынести.

Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского (они и русский-то знали плоховато).

Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова: „хальт!“, „цурюк!“ и „вэг!“ — и сократил инструкцию.

Выслушав приказ и неумело откозыряв (с ними время от времени проходили и строевую подготовку), Наделашин пошёл размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного: кого в какую комнату и на какую койку. (Мышин придавал

большое значение планово-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном, самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели.)

Потом Наделашин зашёл исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество — будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.

Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внёс этот факт в папку.

Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.

Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который всё не шёл домой (дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать её жалобы). Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования.

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в Органах. Если б он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осуждён. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключёнными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить — послаблял. За это заключённые его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нём в разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал всё в особую записную книжечку — и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе.

Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил майору, что семнадцатого декабря шли заключённые гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки — и Наделашин след в след за ними. И заключённые бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьёшься, а Рубин им сказал: „Да когда вы поймёте, ребята, что этих гадов вы не разжалобите?“

— Так и сказал: „этих гадов“?— просиял фиолетовый Мышин.

— Так и сказал,— подтвердил луновидный Наделашин с незлобивой улыбкой.

Мышин опять открыл ту папку и записал, и ещё велел оформить отдельным донесением.

Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на него порочащие материалы. Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на *посадку*,— Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о *совместной работе* в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:

— если вы советский человек — то вы нам *поможете*;

— если вы нам не поможете — то вы не советский человек;

— если же вы не советский человек, то вы — антисоветчик и достойны нового срока.

Но Рубин спросил: „А чем надо будет писать доносы — чернилами или карандашом?“ — „Да лучше чернилом“,— посоветовал Мышин.— „Так вот я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать — не нуждаюсь.“

Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и своё двуличие.

И ещё раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился тем, что раз мол его посадили, значит ему оказали политическое недоверие, и пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу.

С тех-то пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог.

Разговор майора с младшим лейтенантом ещё не окончился, как вдруг из министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя

такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дёргал Наделашина и на всякий случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в дорогу не хорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку).

После отъезда Бобынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой! Чтобы скрасить ожидание, кого ещё вызовут и когда вернутся, майор пошёл проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они лупились в домино), и стал экзаменовать их по истории партии (ибо нёс ответственность за их политический уровень). Надзиратели хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные: эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За всё это Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.

Потом вернулись Бобынин и Прянчиков вместе, в одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а ещё больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы уже не ходили.

Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на вышках вкруг марфинского объекта. Начальник караула возбуждённо передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.

Хотя Наделашин был твёрдо уверен, что всё это померещилось часовому, что заключённые надёжно запер-

ты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями „летучая мышь" поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошёл опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем свете видя недостаточно,— крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их — двести восемьдесят одна.

Тогда он пошёл в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Климентьева.

И было уже утро, пора была проверять кухню, снимать пробу и делать подъём.

Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные — не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог — он его заплатил. Через два дня принесли ещё годовой — отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли ещё один годовой — уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звёздочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключённые, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И ещё, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.

С ещё большей отчётливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из её ста десяти камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены; впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры). И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год (когда его оттуда перевели в Марфино) — и знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде — только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфино, он и встретил некоторых старых своих подзамочных — разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких *боксах* площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырёхсотграммовую сырую хлебную пайку; углублёнными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладывающими руки за спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами — режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать.

Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы,

но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыву послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца: как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чём попало: об итальянских художниках, о нравах пчёл, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Кар-бузе — и дома-то строил он не им.

А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую *дачу* — безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощрённым мучительством: арестантам не готовили, как везде, грубую тяжёлую пищу, а приносили из соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключённому приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, две стружки жареного картофеля. Не кормили — напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума.

Случилось, что этих двух арестантов в воронке не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофёр ушёл куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решётку в задней двери. Они ругали правительство и царя — но не иынешнее, и не Сталина — они ругали... императора Петра Первого. Чем он им помешал? — только разделывали его иа все лады. Один из них ругал его между прочим за то, что Пётр исказил и отнял русскую народную одежду, и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что ещё и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил — они ещё могли шутить! — что для этого иужно двух человек: гениального портного, который сумел бы всё это сочетать, и модного тенора, который

носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла.

Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина потому, что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накалённых безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему — считалось стыдно.

29

У подполковника Климентьева волосы были — то, что называется смоль: блестяще-чёрные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и будто слипались в круглых усах. Брюшка у него не было, и в сорок пять лет он держался стройным молодым военным. Ещё — он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица.

Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нём — но не роняя своего чина ни во что не вмешался, а вошёл в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велев дежурному Наделашину вызвать заключённого Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни — пройти быстрей, другие — замедлиться, отвернуться, чтобы только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти — истое пренебрежение его должностью, а больше — стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключённых, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решёткой содержались люди разные, и стоили они разно. Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своём праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внёс в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную военную.

Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спёртый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем неперевёрнутом листке календаря была запись:

„Ёлка?"

Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли ещё только из железного шкафа с тюремными *делами*, полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Климентьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестерёнок успешно управлял внешним ходом трёх сотен арестантских жизней и службой пятидесяти надзирателей.

Несмотря на то, что он приехал в воскресенье (его он должен был отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.

Младший лейтенант Наделашин предстал, робея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение „смирно".

Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два: одно изложено в рапорте (он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принёс на стол), второе же состояло в вызове заключённых Бобынина и Прянчикова к министру Госбезопасности.

Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть начальником Спецтюрьмы № 1 значило — всегда быть на вулкане и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдалённый лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Климентьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину или Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожа-

ловаться в его действиях. Клеветы же по долгому опыту службы он со стороны заключённых не опасался. Оклеветать могли сослуживцы.

Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что всё — чушь. За то он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков.

Но сколько же у него было недостатков! Подполковник прочёл ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения ещё в прошлое дежурство Наделашина: на две минуты был задержан утренний вывод заключённых на работу; многие койки в камерах были заправлены небрежно, и Наделашин не проявил твёрдости вызвать соответствующих заключённых с работы и перезаправить. Обо всём этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори — всё как об стенку горох. А сейчас на утренней прогулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей — а ведь там местность пересечённая, идёт овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок — двадцать пять лет, за спиной у него — подделка документов и всесоюзный розыск два года! И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом — где гулял Герасимович? От всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое *дело* у Герасимовича? У Герасимовича — второй срок, у него „пятьдесят восемь один-А через девятнадцатую", то есть измена родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключённых и непосредственным наблюдением и по личным делам? Наконец, какой вид у самого Наделашина? Гимнастёрка не одёрнута (Наделашин одёрнул), звёздочка на шапке перекосилась (Наделашин поправил), приветствие отдаёт, как баба,— мудрено ли, что в дежурство Наделашина заключённые не заправляют коек? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут.

Затем подполковник перешёл к приказаниям: надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа. Заключён-

ный Нержин пусть ещё постоит в коридоре. Можно идти.

Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упрёков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских воль, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь — авось, да пройдёт незамеченным.

Климентьев взял ручку и зачеркнул запись „ёлка?" на календаре. Решение он принял вчера.

Ёлок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключённые — и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить ёлку. И Климентьев стал думать — а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от ёлки ничего худого не случится, и пожару не будет — по электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера — самые тяжёлые для заключённых, кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный. И он звонил вчера в Тюремное Управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал ёлку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о ёлках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Климентьева. И ещё вечером, на эскалаторе метро, по дороге домой, Климентьев решил — ладно, пусть ёлка будет!

И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь по сути он же умный деловой человек, не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а заключённые никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им ёлку, а кто разрешил.

Но самому Климентьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашёл последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на своё мужественное неясно-отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносились чернота туннеля и бесконечные трубы

с кабелем. Потом он перевёл взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого: в чёрной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у неё лежал туго набитый портфель. Климентьев посмотрел на неё и подумал, что у неё приятное лицо, только утомлённое, и необычный для молодых женщин взгляд, лишённый интереса к окружающему.

Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный неуверенный вопрос промелькнул в них. Климентьев, памятливый по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал, она же заметила его колебание и, видно, утвердилась в догадке.

Это была жена заключённого Нержина, Климентьев видел её на свиданиях в Таганке.

Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Климентьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на неё обернуться.

Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро, и так это выглядело, будто она со своим тяжёлым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жён политических заключённых, то есть жён *врагов народа*: к кому б они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество — они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей, в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того чёрного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами *враги народа* — их обтерпевшиеся мужья, напротив, себя не чувствовали.

Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда, женщина спросила:

— Товарищ подполковник! Я очень прошу вас меня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не ошибаюсь?

Перед Климентьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме,— на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично.

— Вы... зачем же встали? Сидите, сидите,— смущённо говорил он, пытаясь за рукав посадить её.

— Нет, нет, это не имеет значения!— отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника.— Скажите, почему уже целый год нет сви... не могу его увидеть? Когда же можно будет, скажите?

Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад из Тюремного Управления МГБ пришло между другими разрешение зэ-ка Нержину на свидание с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу „до востребования", как просил заключённый, посылать жене извещение о свидании запрещается.

Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климентьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключённым правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел — по тому самому, почему Тюремное Управление не разрешало адресов „до востребования": извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось: „Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме". Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ — министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтоб о жёнах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жёны были выявлены, изолированы и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жёны именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, свидания не будет. И не послал извещения.

А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизительно встала и стояла перед ним.

— Нельзя писать до востребования,— сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна.— Надо дать адрес.

— Но я уезжаю!— живо изменилось лицо женщины.— Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса,— очевидно лгала она.

Мысль Климентьева была — выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве.

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине! Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом. Климентьев поразился этому взгляду — какая сила приковала её с таким упорством и с такой безнадёжностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю её жизнь?

— Мне это очень, очень нужно!— уверяла она с расширенными глазами, ловя колебания в лице Климентьева.

Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие „Постановления об укреплении тыла“, наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключённым в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и может быть никогда. Если же сейчас сказать ей, то формально извещения не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад.

Поезд сбавлял ход.

Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Климентьева. Он знал главного врага заключённых — это были сами заключённые. И знал главного врага всякой женщины — это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал — но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней.

Нельзя было проявлять уступчивости и теперь!

Однако, при смягчённом грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Климентьев сказал женщине:

— Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте...— он не сказал „в Лефортовскую тюрьму", ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом,— Лефортовский вал — знаете?

— Знаю, знаю,— радостно закивала женщина.

И откуда-то в её глазах, только что сухих, уже было полно слёз.

Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд.

Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал.

Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался законов.

Расчёт подполковника был верен: долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадёжился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого.

Тем более он был поражён, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым — и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия. Но переход был столь резок, радость — так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника.

Напротив, подполковник не дрогнул в лице.

И тут же пошёл инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание.

В инструктаж входили: напоминание о важности и сугубой секретности их объекта; разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание; об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жён — непосредственно в Соединённые Штаты Америки. (Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что́ разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко

вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну.) Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приёмов их обнаружения (одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания — особая, показная). Путём собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидающихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично-семейных.

Подполковник Климентьев знал устав и любил порядок.

30

Нержин, едва не сбив с ног в полутёмном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Всё так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце.

По удивительному свойству человека всё мгновенно преобразилось в Нержине. Ещё пять минут назад, когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его тридцатилетняя жизнь представлялась ему бессмысленной удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. И главные из этих неудач были — вскоре после женитьбы уход на войну, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их любовь ясно виделась ему роковой, обречённой на растоптание.

Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню — и в новом солнце предстала ему тридцатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь, осмысленная в мелком и в крупном; жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастьи. Он испивал его, как родник, он вызнавал тут тех людей и те события, о которых на Земле больше нигде нельзя было узнать, и уж конечно не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: не море топит, а лужа.

А к жене он вернётся! Ведь связь их душ непрерывна! Свидание! Именно в день рождения! Именно после

вчерашнего разговора с Антоном! Больше ему никогда здесь не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего! Мысли вспыхивали и проносились огненными стрелами: об э́том не забыть! об э́том сказать! об э́том! ещё об э́том!

Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шуме́ли, кто возвращался с завтрака, кто только шёл умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло, и рассказывал, размахивая руками и хохоча, о своём разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, министром! Надо и Валентулю послушать! — была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку рёбер, когда, кажется, ста лет мало, чтобы всё переделать. Но нельзя было пропустить и завтрака: арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие как завтрак. К тому же рассказ Валентули подходил к бесславному концу: комната произнесла ему приговор, что он — дешёвка и мелкота, раз не высказал Абакумову насущных арестантских нужд. Теперь он вырывался и визжал, но человек пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем из ложек.

На нижней койке лучевого прохода к центральному окну, под койкой Нержина и против опустевшей койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Андреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он смеялся до слёз и вытирал их под очками. Кровать Потапова была ещё при подъёме застелена в форме жёсткого прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю он маслил очень тонким слоем: он не прикупал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зарабатываемые деньги своей „старухе". (Платили же ему по масштабам шарашки много — сто пятьдесят рублей в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так как был он незаменимым специалистом и на хорошем счету у начальства.)

Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул её к себе наверх, на ещё не стеленную постель, и, приветствуя Потапова, но не дослышивая его ответа, убежал завтракать.

Потапов был тот самый инженер, который признал на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на суде, что он лично продал немцам и притом задешево первенец сталинских пятилеток ДнепроГЭС, правда — уже

во взорванном состоянии. И за это невообразимое, не имеющее себе равных злодейство, только по милости гуманного трибунала, Потапов был наказан всего лишь десятью годами заключения и пятью годами последующего лишения прав, что на арестантском языке называлось „десять и пять *по рогам*".

Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму за политику. Друзья Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова была — только работа; даже трёхдневные праздники томили его, а отпуск он взял за всю жизнь один раз — когда женился. В остальные годы не находилось, кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе ещё одну дырочку, затягивался потуже и продолжал бодро заниматься единственным, что было интересного в мире — высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались не высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только кричал на собраниях или писал в газетах, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костёр пятилеток.

В сорок первом году они уже строили другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав, что ДнепроГЭС, творение их молодости, взорван, он сказал жене:

— Катя! А ведь надо идти.

И она ответила:

— Да, Андрюша, иди!

И Потапов пошёл — в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастёрке и с кобурой пустой, хотя носил один кубик в петлице — на втором году хорошо подготовленной войны ещё не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант — и так попал он в третий раз.

Он прошёл каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек („вежливый, но сволочь"), прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора?

Схема эта когда-то была распубликована, и Потапов, не колеблясь, начертил её. Об этом он сам же потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.

Это и называлось в его деле — выдачей тайны ДнепроГЭСа.

Однако в дело не было включено дальнейшее: неизвестный русский, удостоверив таким образом личность Потапова, предложил ему подписать добровольное изъявление готовности восстанавливать ДнепроГЭС — и тотчас получить освобождение из лагеря, продуктовые карточки, деньги и любимую работу.

Над этим заманчивым подложенным ему листом тяжёлая дума прошла по многоморщинному лицу робота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых слов, никак не претендуя стать посмертно героем Советского Союза,— Потапов своим южным говорком скромно ответил:

— Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал. А если э т о подпишу — вроде противоречие, а?

Так мягко, не театрально, Потапов предпочёл смерть благополучию.

— Что ж, я уважаю ваши убеждения,— ответил неизвестный русский и вернул Потапова в каннибальский лагерь.

Вот за это самое советский трибунал Потапова уже не судил и дал только десять лет.

Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление подписал и пошёл работать к немцам — и ему тоже трибунал дал десять лет.

Это был почерк Сталина!— то слепородное уравнивание друзей и врагов, которое выделяло его изо всей человеческой истории!

И ещё за то не судил трибунал Потапова, что в сорок пятом году, посаженный на советский танк десантни-

ком, он в тех же своих надколотых и подвязанных очёчках с автоматом ворвался в Берлин.

Так Потапов легко отделался, получив только *десять и пять по рогам.*

Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и взлез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему предстояло выполнить ежедневное акробатическое упражнение: застелить постель без помятостей, стоя на ней ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил портсигар из тёмно-красной прозрачной пластмассы, наполненный впритирочку в один слой двенадцатью папиросами „Беломорканал" и перевитый полоской простой бумаги, на которой чертёжным шрифтом было выведено:

Вот как убил он десять лет,
Утратя жизни лучший цвет.

Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей шарашке совмещал в себе способности к мастерским изделиям и к цитатам из „Евгения Онегина", вынесенным ещё из гимназии.

— Андреич!— свесился Глеб головой вниз.

Потапов уже кончил пить чай, развернул газету и читал её, не ложась, чтоб не мять койку.

— Ну, что вам?— буркнул он.

— Ведь это ваша работа?

— Не знаю. А вы нашли?— он старался не улыбаться.

— Андре-еич!— тянул Нержин.

Лукаво-добрая морщинистость углубилась, умножилась на лице Потапова. Поправив очки, он отозвался:

— Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоём в камере, вынося, вы же понимаете, парашу по чётным числам, а он по нечётным, и обучал его русскому языку по „Тюремным правилам" на стене,— я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба — у него было всё начисто обрезано,— и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.

Голос Потапова по „Классификации голосов" был определён как „глухой с потрескиванием".

Всё так же свесясь вниз головой, Нержин приязненно смотрел на грубовато высеченное лицо Потапова.

В очках он казался не старше своих сорока пяти лет и имел ещё вид даже напористый. Но когда он очки снимал — обнажались глубокие тёмные глазные впадины, чуть ли не как у мертвеца.

— Но мне неловко, Андреич. Ведь я вам ничего подобного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как вы могли запомнить мой день рождения?

— Ку-ку,— ответил Потапов.— А какие ж ещё знаменательные даты остались в нашей жизни?

Они вздохнули.

— Чаю хотите?— предложил Потапов.— У меня особая заварка.

— Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.

— Здóрово!— обрадовался Потапов.— Со старушкой?

— Ага.

— Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом!

— А какое право имеет один человек издеваться над другим?..

— Что в газете, Андреич?— спросил Нержин.

Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецой, посмотрел вверх на свесившегося Нержина:

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы.

Эти наг-ле-цы утверждают, что...

Тому уже шёл четвёртый год, как Нержин и Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполненной, даже в июльские дни полутёмной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пёстрые жизни и непохожие пути. Очередной тогдашний поток был — из Европы. Проходили камеру новички, ещё уберегшие крошки европейской свободы. Проходили камеру ядрёные русские *пленники,* едва успевшие сменить германский плен на отечественную тюрьму. Проходили камеру битые калёные лагерники, пересылаемые из пещер ГУЛага на оазисы шарашек. Войдя в камеру, Нержин вполз чёрным лазом под нары по-пластунски (так они были низки), и там, на грязном асфальтовом полу, ещё не разглядясь в темноте, весело спросил:

— Кто последний, друзья?

И глухой надтреснутый голос ответил ему:

— Ку-ку! За мной будете.

Потом день ото дня, по мере того, как из камеры выхватывали на этап, они передвигались под нарами „от параши к окну“, и на третьей неделе перешли назад „от окна к параше“, но уже на нары. И позже по деревянным нарам двигались снова к окну. Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов.

Там-то, в затянувшееся многомесячное размышление после суда, Потапов признался Нержину, что отроду бы он не заинтересовался политикой, если б сама политика не стала драть и ломать ему бока.

Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впервые стал недоуменным, что, как известно, противопоказано роботам. Нет, он по-прежнему не раскаивался, что отказался от немецких хлебов, он не жалел трёх лет своих, погибших в голодном смертном плену. И по-прежнему он считал исключённым представлять наши внутренние неурядицы на суд иностранцев.

Но искра сомнения была заронена в него и затлелась.

Недоуменный робот впервые спросил: а на чёрта, собственно, строился ДнепроГЭС?..

31

Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы, со стоянием зэков на морозе, перегоном их с места на место и пересчётом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам,— здесь, на шарашке, проходила быстро и безболезненно: зэки пили чай у своих тумбочек, двое дежурных офицеров — сменный и заступающий, входили в комнату, зэки вставали (а иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы.

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям лубянской выучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Марфино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков шарашки по-

мнили их обоих по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым *стёртым ступенькам* в междуэтажье четвёртого и пятого этажей (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключённых центральной тюрьмы: монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Кутепова, Местоблюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнёва, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-известных учёных и едва вылезающих из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жён, потом их дочерей); подводили к женщине в мундире с Красной Звездой на груди, и у неё в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки как при воздушном полёте в цирке; вели долгими-долгими коридорами лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов.

Но как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под срослых густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влёк его, в задышке, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шёл всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звёздочки на погонах.

Наделашин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался лёгкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

— И совсем не возите, чем такое говно, как „Кубанские казаки".

Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

— Всё, в личное дело записано.

Хоробров с подёргиванием верхней губы ответил:

— Да драть их вперегрёб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

С верхней койки свесив ещё голые волосатые длинные ноги, непричёсанный и в белье, крикнул Двоетёсов с хулиганским хрипом:

— Младший лейтенант! А что с ёлкой? Будет ёлка или нет?

— Будет ёлка! — ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость.— Вот здесь, в полукруглой, поставим.

— Так можно игрушки делать? — закричал с другой верхней койки весёлый Руська. Он сидел там, наверху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой, она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно.

— Об этом спросим, указаний нет.

— Какие ж вам указания?

— Какая ж ёлка без игрушек?.. Ха-ха-ха!

— Друзья! Делаем игрушки!

— Спокойно, парниша! А как *насчёт кипятка?*

— Министр обеспечит?

Комната весело гудела, обсуждая ёлку. Дежурные офицеры уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вятским говором:

— Причём доложите там, чтоб ёлку нам оставили до православного Рождества! Ёлка — это Рождество, а не новый год!

Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли.

Говорили почти все сразу. Хоробров ещё не досказал дежурным и теперь молча, энергично, высказывал кому-то невидимому, двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздновать. По крайней мере эти дни не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом. А на октябрьскую и на первое мая он придумывал себе стирку или шитьё.

Сосед Абрамсон допил чай, утёрся, протёр вспотевшие очки в квадратной пластмассовой оправе и сказал Хороброву:

— Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся.

Хоробров очнулся от невидимого спора, резко оглянулся на Абрамсона, будто укушенный:

— Это — старая заповедь гиблого вашего поколения. Были вы смирны, всех вас и переморили.

Упрёк был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Абрамсоном, устраивали на Воркуте забастовку и голодовку. Но конец был и у них тот же, всё равно. А заповедь — сама распространилась. Реальное положение вещей.

— Будешь скандалить — ушлют,— только пожал плечами Абрамсон.— В каторжный лагерь какой-нибудь.

— А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его вперегрёб, по крайней мере в весёлую компанию попаду. Может, хоть там свобода слова, стукачей нет.

Рубин, у которого чай ещё был не допит, стоял со взъерошенной бородой около койки Потапова-Нержина и дружелюбиво произносил на её второй этаж:

— Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой несмышлёныш пирронид...

— Я очень тронут, Лёвчик, но зачем...

Нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар. Бювар был арестантской частной работы, то есть самой старательной работы в мире — ведь арестанты никуда не спешат. В бордовом коленкоре изящно были размещены кармашки, застёжки, кнопочки и пачки отличной трофейной немецкой бумаги. Всё это было сделано, конечно, в казённое время и из казённого материала.

— ...К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносо́в...

— И желаю тебе...— большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой,— чтобы скептико-эклектические мозги твои осиял свет истины.

— Ах, какой ещё истины, старик! Разве кто-нибудь знает, что́ есть истина?..— Глеб вздохнул. Лицо его, помолодевшее в предсвиданных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины. И волосы разваливались на две стороны.

На соседней верхней койке, над Прянчиковым, плешивый полный инженер степенных лет использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув её и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический

звонок, он с досадой сложил газету как попало, заломавши углы:

— Да что это всё, лети его мать, заладили про мировое господство да про мировое господство?..

И оглянулся, куда бы поприличнее зашвырнуть газету.

Громадный Двоетёсов, на другой стороне комнаты, уже натянув свой неряшливый комбинезон и выставив громадную же задницу, пока топтал и стелил под собою верхнюю постель, откликнулся басом:

— Кто заладил, Земеля?

— Да все они там.

— А ты к мировому господству не стремишься?

— Я-то?— удивился Земеля, как бы принимая вопрос всерьёз.— Не-е-ет,— широко улыбнулся он.— На хрена мне оно? Не стремлюсь.— И кряхтя стал слезать.

— Ну, тогда пойдём вкалывать!— решил Двоетёсов и всею тушею своей гулко спрыгнул на пол. Он шёл на воскресную работу непричёсанный, неумытый и не застёгнутый.

Звонок звенел продолжительно. Звенел, что поверка окончена и раскрыты «царские врата» на лестницу института, через которые зэки густой толпой успевали быстро выйти.

Большинство зэков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из „профессорской" камеры. Рубин, как всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил всё недоеденное и недопитое в тумбочку (что-то там перевернулось) и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить её так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.

А Нержин прилаживал *маскарадный* костюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные зэки ходили повседневно в хороших костюмах и пальто, ездили в них же и на свидания. Теперь для удобства охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы часовые на вышках ясно отличали зэков от вольных). На свидания же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки, могло статься, что и — конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним арестантам нравилось видеть себя хоро-

шо одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платья мертвецов, но в комбинезонах на свидания наотрез не брали: родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме. Отказаться же увидеть родственников — такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому — переодевались.

Полукруглая комната опустела. Остались двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и застланных больничным способом: с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Этот способ мог быть придуман только в казённой и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена изобретателя. Однако так требовала инструкция тюремного санитарного надзора.

В комнате наступила хорошая, редкая здесь, тишина, которую не хотелось нарушать.

Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нержин, Хоробров, Абрамсон и лысенький конструктор.

Конструктор был из тех робких зэков, которые и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибаливал, специально запасся от тюремного врача освобождением на выходной день,— и теперь на своей койке разложил множество разных носков, нитки, самодельный картонный гриб, и, напрягши чело, соображал, с чего начинать.

Григорий Борисович Абрамсон, *законно оттянувший* уже одну десятку (не считая шести лет ссылки перед тем) и посаженный на вторую десятку,— не то чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два, и всё пойдёт великолепно, и начнётся всеобщее цветение садов. Однако шли десятилетия, пылкие воскресники стали нудьгой и барщиной, а посаженные деревья всё не зацветали и даже большей частью были переломаны гусеницами тракторов. В долголетних тюрьмах, наблюдением и размышлением, Абрамсон пришёл к обратному выводу: что человек по природе враждебен труду и ни за что бы не работал, если б не заставляла его палка или нужда. И хотя из соображений общих, соотнося с неутерянной и единственно-возможной ком-

мунистической целью человечества, все эти усилия и даже воскресники были несомненно нужны,— сам Абрамсон потерял силы участвовать в них. Теперь он был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички,— а это полные десять, и двенадцать, и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он знал, что самое лучшее, как надо проводить воскресенье — это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.

Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лёг под одеяло, обвернулся конвертиком, протёр очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраса какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности обёрнутую. Только смотреть на него со стороны — и то было уютно.

Хоробров, напротив, томился. В невесёлом бездействии лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По характеру он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других. Каждую субботу, по известному принципу полной добровольности, всех заключённых, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье — и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме.

Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать воскресенье в закрытом тёплом помещении, но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.

Решительно нечем было заняться! Все газеты, какие были, он прочёл ещё вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая — сборник статей маститых писателей. Хоробров поколебался, но всё-таки открыл статью того Толстого, который, будь посовестливей, не посмел бы этой фамилией и подписываться. Статья была от июня сорок пер-

вого года, а в ней: „немецкие солдаты, гонимые террором и безумием, напоролись на границе на стену железа и огня“. Хоробров шёпотом выматерился, захлопнул и отложил. В какую б книгу он ни заглядывал, всегда ему попадало по больному месту, потому что всё вокруг было больное место. На хорошо оборудованных подмосковных дачах эти властители умов слушали только радио и видели только свои цветники. Полуграмотный колхозник знал о жизни больше них.

Остальные книги в кучке были *художественные*, но читать их было Хороброву так же мерзко. Одна — боевик „Далеко от Москвы“, которой зачитывались теперь на воле. Но сколько-то прочтя вчера и сейчас попытавшись, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была — пирог без начинки, вытекшее яйцо, чучело убитой птицы: в ней говорилось о строительстве руками зэков, о лагерях — но нигде не названы были лагеря, и не сказано, что это — зэки, что им дают пайку и сажают в карцер, а подменили их комсомольцами, хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевлёнными. И тут же чувствовалось опытному читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть даже — был в лагере оперуполномоченным, но со стеклянными глазами брешет.

Те же три слова того же ругательства, хотя в другом порядке, легли привычно, и Хоробров откинул боевик.

Ещё книга была —„Избранное“ известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то всё-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Всё, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война — писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдували они какие-то небылые конфликты — вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учёте ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

Ещё раз переставил Хоробров то же ругательство — и опять легло.

И ещё была книга на табуретке — „Американские рассказы", прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор: в каждом рассказе обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядоносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы ещё не разбежались или не перевешались.

Нечего было читать!

Хоробров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал её разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папироса, выкуренная лёжа — на своей полоске нар, на своей вагонке,— неторопливая папироса со взором, уставленным в потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего.

Но лысый конструктор не курил и не любил дыму, а Абрамсон, хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. В тюрьме усвоив прочно, что свобода начинается с уважения прав других, Хоробров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом он увидел толстенькую книгу в руках Абрамсона и сразу же определил, что такой книги в тюремной библиотеке нет, значит, она с воли, а оттуда плохую не попросят.

Но Хоробров не спросил вслух, как фраер: „Что читаешь?" или „Откуда взял?" (ответ Абрамсона мог услышать конструктор или Нержин). Он подошёл к Абрамсону вплотную и сказал тихо:

— Григорий Борисыч. Дай на оголовочек зирнуть.

— Ну, зирни,— нехотя позволил Абрамсон.

Хоробров раскрыл титульный лист и прочёл, потрясённый: „Граф Монте-Кристо".

Он только свистнул.

— Борисыч,— ласково спросил он.— За тобой никого? Я — не успею?

Абрамсон снял очки и подумал.

— Подывымось. А ты меня сегодня подстрижёшь?

Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами

под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой.

— А у кого ножницы возьмём?

— У Зяблика достану.

— Ну, так подстригу.

— Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.

Заметив, что Абрамсон читал на сто десятой, Хоробров уже совсем в другом, весёлом настроении вышел курить в коридор.

А Глеб всё больше наполнялся праздничным чувством. Где-то — наверно, в студенческом городке на Стромынке, этот последний час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить (бумажку с собой взять нельзя), и только помнить: восемь пунктов, восемь — о том, что возможен отъезд; о том, что срок не кончится на сроке — ещё будет ссылка; о том, что...

Он сбегал в каптёрку, разгладил манишку. Манишка была изобретение Руськи Доронина и принята многими. Это был белый лоскуток (от простыни, разодранной на шестнадцать частей, но каптёр этого не знал) с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе комбинезона покрыть нижнюю сорочку с чёрным штампом „МГБ-Спецтюрьма № 1“. И ещё были две тесёмки, которые перебрасывались на спину и там завязывались. Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия. Незатейливая в стирке, она верно служила и в будни, и в праздники, не стыдно было перед вольными сотрудницами института.

Потом на лестнице чьим-то высохшим раскрошившимся гуталином Нержин тщетно пытался придать блеск своим потёртым ботинкам (ботинок тюрьма к свиданию не меняла, так как они не были видны под столом).

Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться (бритвы тут разрешались, даже опасные, такова была игра инструкций), Хоробров уже запоем читал. Конструктор своей обильной штопкой захватил кроме кровати и часть пола, кроил там и перекладывал, отмечая карандашом, Абрамсон же, чуть отвалив голову на бок от книги, щурился с подушки и поучал его так:

— Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и каждое место проходите крест накрест дважды. Потом распространённой ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую — Беркалов, слышали?

— Что? Беркалов? Нет.

— Ну, ка-ак же! Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. „Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени." А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну, что ж, носки заштопал, стал на электроплитке оладьи жарить. Вошёл надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: „Беркалов! *С вещами!* В Кремль! Калинин вызывает!"... Такие вот русские судьбы...

32

Известный на многих шарашках старик профессор математики Челнов, писавший в графе „национальность" не „русский", а „зэк", и кончавший к 1950 году восемнадцатый год заключения, приложил остриё своего карандаша ко многим техническим изобретениям от прямоточного котла до реактивного двигателя, а в некоторые из них вложил и душу.

Впрочем, профессор Челнов утверждал, что выражение это — „вложить душу", должно употребляться с осторожностью, что только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а *вольняшке* бывает за суетою отказано в ней. В дружеской зэчьей беседе над миской остывшей баланды или над стаканом дымящегося какао Челнов не скрывал, что это рассуждение он заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что Пьер расхохотался: — „Ха-ха! Не пустил меня солдат. Кого — меня? Мою бессмертную душу не пустил!"

На шарашке Марфино профессор Челнов был единственный зэк, которому разрешалось не надевать комбинезона (по этому вопросу обращались лично к Абакумову). Главное основание такой льготы лежало в том, что Челнов не был постоянный зэк шарашки Марфино, а зэк переезжий: в прошлом член-корреспондент Академии Наук и директор математического института, он состоял в особом распоряжении Берии и перебрасывался всякий раз на ту шарашку, где вставала самая неотложная математическая проблема. Решив её в главных чертах и указав методику расчётов, он был перебрасываем дальше.

Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно же отличал его дважды захлёстнутый вкруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже отчасти похожий на тёплый женский платок.

Однако этот плед и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и ещё тот едва голубоватый свет выцветших глаз, который даётся только абстрактным умам,— всё это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на Архимеда.

В Марфино Челнов был прислан для разработки математических оснований абсолютного шифратора, то есть, прибора, который своим механическим вращением мог бы обеспечить включение и переключение множества реле, так запутывающих порядок посылки прямоугольных импульсов изуродованной речи, чтобы даже сотни людей, поставив аналогичные приборы, не могли бы расшифровать разговора, идущего по проводам.

В конструкторском бюро своим чередом шли поиски конструктивного решения подобного шифратора. Этим занимались все конструкторы, кроме Сологдина.

Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут, Сологдин сразу же заявил всем, что память его ослаблена длительным голоданием, способности притуплены, да и от рождения ограничены, и что выполнять он в состо-

янии только подсобную работу. Так смело он мог сыграть потому, что на Инте был не на общих, а на хорошей инженерной должности и не боялся возврата туда. (Именно поэтому он на шарашке в служебных разговорах с начальством мог разрешить себе подыскивать заменители иностранных слов, даже таких, как „инженер“ и „металл“, заставляя ждать, пока придумает. Это было бы невозможно, если б он стремился выслужиться или хотя бы получить повышенную категорию питания.)

Его, однако, не отослали,— на пробу оставили. Из главного русла работы, где царили напряжение, спешка, нервность, Сологдин таким образом выбился в тихое боковое русло. Там, без почёта и без укора, он контролировался начальством слабо, располагал достаточным свободным временем и — безнадзорно, тайно, по вечерам,— стал по своему разумению разрабатывать конструкцию абсолютного шифратора.

Он считал, что большие идеи могут родиться только озарением одинокого ума.

И действительно, за последние полгода он нашёл такое решение, которое никак не давалось десяти инженерам, специально на то назначенным, но непрерывно погоняемым и дёргаемым. (А уши его были открыты, он слышал, как ставится задача, и в чём их неуспех.) Два дня назад Сологдин дал свою работу на просмотр профессору Челнову — тоже неофициально. Теперь он поднимался по лестнице рядом с профессором, почтительно поддерживая его под локоть и ожидая приговора своей работе.

Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.

Тот недолгий путь, который они прошли по коридорам и лестницам, он ни слова не проронил об оценке, жадно ожидаемой Сологдиным, а беззаботно рассказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным. После того, как Рубина не пустили „на дрова“, он читал Челнову своё стихотворение на библейский сюжет. В ритме стихотворения всего один-два срыва, есть свежие рифмы, например „Озирис — озарись“, и вообще стихотворение надо признать недурным. По содержанию же — это баллада о том, как Моисей сорок лет вёл евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обето-

ванную. Рубин особенно подчёркивал слушателю, что *сорока* лет ведь ещё нет!

Что же ответил Челнов?

Челнов обратил внимание Рубина на географию моисеева перехода: от Нила до Иерусалима евреям никак не нужно было идти более четырёхсот километров и, значит, даже отдыхая по субботам, свободно можно было дойти за три недели! Не следует ли предположить поэтому, что остальные сорок лет Моисей не *вёл*, а *водил* их по Аравийской пустыне, чтобы вымерли все, кто помнил сытое египетское рабство, а уцелевшие лучше бы оценили тот скромный рай, который Моисей мог им предложить?..

У вольнонаёмного дежурного по институту перед дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял ключ от своей комнаты. Такое доверие оказывалось ещё только Железной Маске — и больше никому из зэков. Никакой зэк не имел права ни секунды оставаться в своём рабочем помещении без присмотра со стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что эту безнадзорную секунду заключённый обязательно употребит на взлом железного шкафа при помощи карандаша и фотографирование секретных документов с помощью пуговицы от штанов.

Но Челнов работал в комнате, где стоял только несекретный шкаф и два голых стола. И вот решились (согласовав, разумеется, в министерстве) санкционировать выдачу ключа лично профессору Челнову. С тех пор его комната стала предметом постоянных волнений оперуполномоченного института майора Шикина. В часы, когда арестантов запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот высокооплачиваемый товарищ с ненормированным рабочим днём собственноножно приходил в комнату профессора, выстукивал стены, плясал на половицах, заглядывал в пыльную промежность за шкафом и хмуро качал головой.

Впрочем, получение ключа — это было ещё не всё. После четырёх-пяти дверей третьего этажа в коридоре находился контрольный пост Совсекретного отдела. Контрольный пост был — тумбочка и стул около неё, а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы подметать пол или кипятить чай (на то были другие) — уборщица особого назначения: проверять пропуска у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпечатанные в главной типографии министерства, были трёх ро-

дов: постоянные, разовые и недельные по образцам, разработанным майором Шикиным (ему же принадлежала и сама идея сделать тупик коридора Совсекретным).

Работа контрольного поста не была лёгкой: люди проходили редко, но вязать носки категорически было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неоднократными изустными указаниями майора товарища Шикина. И уборщицы (их сменялось в сутки две) в продолжение дежурства мучительно боролись со сном. Самому полковнику Яконову так же очень неудобен был этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали подписывать пропуска.

Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть оплату этих уборщиц,— вместо трёх дворников, положенных по штату, держали одного, того самого Спиридона.

Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас на посту женщина звалась Марья Ивановна, а она пропускала этого седого старика много раз на дню,— теперь она, вздрогнув, спросила:

— Пропуск.

И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный.

Миновав пост, ещё пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты Железной Маски, они отперли дверь Челнова.

Тут была уютная комнатушка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным огнём. Удлинённые высокие овершья лип были всё в том же щедром инее.

Мутно-белое небо осеняло землю.

Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от времени, а сейчас убелённый тоже, двухэтажный с кораблевидной кровлей старинный домик когда-то жившего подле семинарии архиерея, по которому и подходящая сюда дорога называлась Владыкинской. Дальше проглядывали крыши деревушки Марфино, потом развёртывалось поле, а ещё дальше, на линии железной дороги, в мутности поднимался хорошо заметный ярко-серебряный парок паровоза, идущего из Ленинграда.

Но Сологдин и не посмотрел в окно. Не следуя приглашению сесть, гибкий, чувствуя под собой твёрдые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.

Челнов попросил его открыть форточку. Сел в жёсткое кресло с прямой высокой спинкой; поправил плед на плече; открыл тезисы, написанные на листке из блокнота; взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копью; строго посмотрел на Сологдина — и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между ними.

Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между его мыслями некогда было вздохнуть.

Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провёл теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далёкий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:

— продумать, как сделать её нечувствительной к импульсам неполной энергии;

— уточнить значения наибольших инерционных сил в механизме, чтобы убедиться в достаточности маховых моментов.

— И потом...— Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда,— потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший — есть уже система. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос ещё хаотически менялся.

Здесь профессор задумался, перегнул листок пополам и смолк. А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий.

Ещё при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования. Его жизнь выходила, может быть, на свою зенитную дугу.

...Он происходил из старинной дворянской семьи, уже и без того таявшей как восковая, а в полыме революции разбрызнутой без остатка — одних расстреляли,

другие эмигрировали, третьи схоронились, даже кожу себе сменив. Юношей Сологдин долго колебался, не понимая сам, как ему отнестись к революции. Он ненавидел её как бунт раззадоренной завистливой черни, но в её беспощадной прямолинейности и не устающей энергии он чувствовал себе родное. С древнерусским пыланием глаз он молился в угасающих московских часовенках. В юнгштурмовке, как все носили, с пролетарски расстёгнутым воротом поступал в комсомольскую ячейку. Кто мог бы сказать ему верно: искать ли *обрез* на эту шайку или пробиваться в комсомольские главари? Он был искренне набожен и захваченно тщеславен. Он был жертвенен, но и сребролюбив. Где то сердце молодое, которому не хочется земных благ? Он разделял убеждение безбожника Демокрита: „Счастлив тот, кто имеет состояние и ум." Ум у него всегда был,— не было состояния.

И восемнадцати лет отроду (а был это последний год НЭПа!) Сологдин положил себе как первую несомненную задачу: приобрести *миллион,* именно, обязательно и точно — миллион, во что бы то ни стало — миллион. Дело даже не в богатстве, не в свободных средствах: нажить миллион — это экзамен на делового человека, это докажет, что ты не пустой фантазёр, а дальше можно ставить себе следующие деловые задачи.

Он предполагал найти этот путь к миллиону через какое-нибудь ослепительное изобретение, но не отказался бы и от другого остроумного пути, пусть не инженерного, зато короче. Однако нельзя было выискать более враждебной обстановки для задачи о миллионе, чем сталинская пятилетка. Из конструкторской доски выколачивал Сологдин только хлебную карточку да жалкую зарплату. И если бы завтра он предложил государству изумительный вездеход или выгодную реконструкцию всей промышленности,— это не принесло б ему ни миллиона, ни славы, а пожалуй даже — недоверие и травлю.

Но дальше всё решилось тем, что Сологдин по размеру стал больше стандартной ячейки невода, и захвачен был в одну из ловель, получил первый срок, а в лагере ещё и второй.

Уже двенадцать лет он не выходил из лагеря. Он должен был забросить и забыть задачу о миллионе. Но вот каким странным петлистым путём снова был выве-

ден к той же башне и дрожащими руками уже подбирал из связки ключ к её стальной двери!

Кому? Кому?? — неужели ему этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова?!..

Челнов свернул листок тезисов вчетверо, потом ввосьмеро:

— Как видите, работы ещё тут немало. Но эта конструкция будет оптимальная из пока предложенных. Она даст вам свободу, снятие судимости. А если начальство не перехватит — так и кусок сталинской премии.

Челнов улыбнулся. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица.

Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни премия, ни снятие судимости, ни свобода. Да и судимости у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о мерзкой гадине — и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без надежды.

Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:

— Владимир Эрастович! Вы дали мне опору и уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я — ваш должник!

Но рассеянная улыбка уже играла на его губах.

Возвращая Сологдину рулон, профессор ещё вспомнил:

— Однако я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но вчера случилось так, что он вошёл в комнату в моё отсутствие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу понял, о чём речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито...

Улыбка сошла с губ Сологдина, он нахмурился.

— Это так существенно для вас? Но почему? Днём раньше, днём позже...

Сологдин озадачен был и сам. Разве не наступало время теперь нести лист Антону?

— Как вам сказать, Владимир Эрастович... Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность?.. Ведь это — не мост, не кран, не станок. Это заказ — не промышленный, а тех самых, кто нас посадил. Я это делал пока только... для проверки своих сил. Для себя.

Для себя.

Эту форму работы Челнов хорошо знал: Вообще это была высшая форма исследования.

— Но в данных обстоятельствах... это не слишком большая роскошь для вас?

Челнов смотрел бледными спокойными глазами.

— Простите меня,— подобрался и исправился Сологдин.— Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чём. Я вам благодарен и благодарен!

Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном под мышкой ушёл.

В эту комнату он только что вошёл ещё свободным претендентом.

И вот выходил из неё — уже обременённым победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду.

А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в шерстяном остроконечном колпачке.

33

Всё с тем же ликованием, с несоразмерной силою распахнув дверь, Сологдин вошёл в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдья в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна.

— Вы одна, Лариса Николавна?— удивился Сологдин, проходя через комнату быстрым шагом.

Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет тридцати, обернулась от окна, где стоял её чертёжный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.

— Дмитрий Александрович? А я думала, мне целый день скучать одной.

Сологдин обежал взглядом её избыточную фигуру в ярко-зеленом шерстяном костюме — вязаной юбке и вязаной кофте, чёткой походкой прошёл, не отвечая, к своему столу, и сразу, ещё не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертёж к подвижной наклонной доске „кульмана".

Конструкторское бюро — просторная светлая комната третьего этажа с большими окнами на юг, была,

вперемежку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закреплённых то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развёрнут так, чтобы отгораживать Сологдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи.

Наконец, Сологдин сухо спросил:

— Почему же никого нет?

— Я хотела об этом узнать у вас,— услышал он певучий ответ.

Быстрым движением отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой:

— У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных зэ-ка́, зэ-ка́, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардовича — латышское Рождество, я — здесь, а Иван Иванович отпросился штопать носки. Но мне, встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать вольных — то есть, товарищей, значительно более ответственных, чем мы?

Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой.

— Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антон' Николаичем — и конструкторское бюро сегодня выходное? А я, как на зло, дежурная...

— Выходное?— нахмурился Сологдин.— По какому же случаю?

— Как по какому? По случаю воскресенья.

— С каких это пор у нас воскресенье — и вдруг выходной?

— Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы.

Сологдин резко довернулся в сторону Еминой.

— У *нас* нет срочной работы?— едва ли не гневно воскликнул он.— Ничего себе! У нас нет срочной работы!— Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина.— А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы *все шестнадцать* будете сидеть здесь — и день и ночь копировать? Хотите?

Эти „все шестнадцать" он почти прокричал со злорадством.

Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к её покойной крупной красоте. Сегодня она ещё даже не подняла кальки, прикрывавшей чуть наклонный её рабочий стол, так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно облокотясь о стол (обтягивающий вязаный рукав очень передавал полноту её предплечья), Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами:

— Бож-же упаси! И вы способны на такое злодейство?

Глядя холодно, Сологдин спросил:

— Зачем вы употребляете слово „Боже"? Ведь вы — жена чекиста?

— Что за важность?— удивилась Емина.— Мы и куличи на Пасху пекём, так что такого?

— Ку-ли-чи?!

— А тó!

Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зелень её вязаного костюма была резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была расстёгнута, и воротник лёгкой белой блузки выложен поверх.

Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал:

— Но ведь ваш муж, вы говорили,— подполковник МВД?

— Так то муж!.. А мы с мамой — что? бабы!— обезоруживающе улыбалась Емина. Толстые белые косы её были обведены величественным венцом вкруг головы. Она улыбалась — и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Эммы Цесарской.

Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол,— так, чтобы не видеть Еминой, и щурясь, стал оглядывать наколотый чертёж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа, они как будто ещё держались на его плечах, на груди, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности.

Когда-то же надо начинать настоящую Большую Жизнь.

Именно теперь.

Дуга зенита...

Хотя застряло какое-то сомнение...

А вот какое. Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов были

обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьём, хотя нужно будет, разумеется, везде досчитать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порок работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный „последний вершок“. Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чём он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.

Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Еминой и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению — копировщица при нём, она по общественному положению была дама из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность.

Сологдин смотрел на чертёж, а Емина, всё так же чуть покачиваясь на локте,— на него. И вдруг прозвучал вопрос:

— Дмитрий Александрович! А — вам? Кто вам штопает носки?

У Сологдина поднялись брови. Он даже не понял.

— Носки? — Он всё так же смотрел на чертёж.— А-а. Иван Иваныч носит носки потому, что он ещё новичок, трёх лет не сидит. Носки — это отрыжка так называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово) ...капитализма. Носков я просто не ношу.— И поставил палочку на белом листе.

— Но тогда... что же вы носите?

— Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна,— не мог не улыбнуться Сологдин.— Я ношу гордость нашего русского убранства — портянки!

Он произнёс это слово смачно, отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Емину.

— Но ведь их... солдаты носят?

— Кроме солдат ещё два разряда: заключённые и колхозники.

— И потом их тоже надо... стирать, латать?

— Вы ошибаетесь! Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, от начальства новые получают.

— Неужели? Серьёзно? — Емина смотрела почти испуганно.

Сологдин молодо беспечно расхохотался.

— Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки? Вот вы, *прозрачно-обводчица* МГБ — сколько вы получаете в месяц?

— Полторы тысячи.

— Та-ак! — торжествующе воскликнул Сологдин. — Полторы тысячи! А я, *зиждитель* — (на Языке Предельной Ясности это значило — инженер) — тридцать рубляшек! Не разгонишься? На носки?

Глаза Сологдина весело лучились. Это совсем не относилось к Еминой, но она рдела.

Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены — принадлежностью квартиры. Придя с работы, он долго, с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приёмник (приёмники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки). Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за „Динамо", вызывал в нём возбуждение и даже страсть. Во всём он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин её окружения досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать.

Сологдин опять уставился в свой чертёж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, ещё и ещё раз на его усы, на бородку, на сочные губы.

Об эту бородку хотелось уколоться и потереться.

— Дмитрий Александрович! — опять прервала она молчание. — Я вам очень мешаю?

— Да есть немножко... — ответил Сологдин. Последние вершки требовали ненарушимой углублённой мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертёж, развернулся к столу, тем самым и к Еминой, и стал разбирать незначительные бумаги.

Слышно было, как мелко тикали часы у неё на руке.

По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней Семёрки раздался не-

много шепелявый голос Мамурина: „Ну, скоро там трансформатор?“ и раздражённый выкрик Маркушева: „Не надо было им давать, Яков Иваныч!..“

Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологдина.

А он — читал.

— Каждый день! каждый час! — почти шептала она благоговейно.— В тюрьме и так заниматься!.. Вы — необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!

На это замечание Сологдин сразу поднял голову.

— Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николавна? Я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в это не верю. Обязательно ещё набавят. У меня пройдёт в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно.

— У вас всё по системе!

— На свободе или в тюрьме — какая разница?— мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчинённой разуму. Из лагерных лет я семь провёл на баланде, моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать...

Но кому это было доступно из непережившх?

Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И *кум* — старший лейтенант Камышан, одиннадцать месяцев крестивший Сологдина на второй срок, на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом (он хорошо сидел в седле) — в этот день бил рукояткой хлыста.

Шла война. Даже на воле нечего было есть. А — в лагере? Нет, а — в Горной закрытке?

Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку всё равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обречённое распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг — разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он — пошевелился...

— Расскажите!..

— Нет, Лариса Николавна! Это решительно невозможно описать! — легко, радостно уверял теперь Сологдин.

И оттуда! — и оттуда! — о, сила обновления жизни! — через годы неволи, через годы работы! — к чему он взлетел?!

— Расскажите! — клянчила раскормленная женщина всё так же снизу вверх, со скрещенных рук.

Разве только вот что было ей доступно понять: в той истории замешалась и женщина. Выбор Камышана ускорился оттого, что он приревновал Сологдина к медицинской сестре, зэчке. И приревновал не зря. Ту медсестру Сологдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, получив из-за неё срок.

Было и сходство той медсестры и этой копировщицы: они обе — колосились. Женщины маленькие и худенькие были для Сологдина уроды, недоразумение природы.

Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Сологдину крутой венец могучих кос.

— Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович...

— В чём же?

— Один раз я стояла у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо... Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно... И в другой раз...

— ...Вы опять совершенно случайно скосили глаза... ?

— И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое...

— Ах, вы даже различили, что — то же самое?! И ещё в третий раз? Было?

— Было...

— Та-ак... Если, Лариса Николавна, это будет продолжаться, мне придётся отказаться от ваших услуг как прозрачно-обводчицы. А жаль, вы неплохо чертите.

— Но это было давно! С тех пор вы не писали.

— Однако вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди?

— Почему — Шикиниди?

— Ну, Шикину. Донесли?

— Как вы могли это подумать!

— А тут и думать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями?— Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе.— Ведь поручал? Говорите честно!

— Да... поручал...

— И сколько вы написали доносов?

— Дмитрий Александрович! Я, наоборот,— самые лучшие характеристики!

— Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение моё остаётся в силе. Очевидно, здесь непреступный случай чисто-женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене.

— Вот это я и хотела спросить: у вас есть жена? Она ждёт вас? Вы пишете ей такие длинные письма?

— Жена у меня есть,— медленно углублённо ответил Сологдин,— но так, что как будто её и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал — нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николавна, это очень трудное искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу её вот уже двенадцать лет.

Емина подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологдина и оперлась так, обжав ладонями своё бесстрашное лицо.

— Вы уверены, что держите? А — зачем, Дмитрий Александрович, зачем? Двенадцать лет прошло, да пять ещё осталось — семнадцать! Вы отнимаете у неё молодость! Зачем? Дайте ей жить!

Голос Сологдина звучал торжественно:

— Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это — подруги викингов, это — светлоликие Изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать, вы жили в пресном благополучии.

Она жила среди чужаков, среди врагов.

— Дайте ей жить!— настаивала Лариса Николаевна.

Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какою она проплывала по коридорам и лестницам шарашки.

Она сидела, прильнув к столу Сологдина, слышно дышала, и — в заботе о неведомой ей жене Сологдина? — разгорячённое лицо её стало почти деревенское.

Сологдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин: острое чутьё на мужской взлёт, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждой. Ничего не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы — но чувствовала всё. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима.

Сологдин покосился в глубину её разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе.

— Дмитрий Александрович! И вот это. Я уже много недель мучаюсь — что за палочки вы ставите? А потом через несколько дней зачёркиваете? Что это значит?

— Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности.— Он взял в руки белый лист.— Но извольте: палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счёт этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово „капитализм", которое я не нашёлся сразу заменить „толстосумством", и за слово „шпионить", которое я сгоряча поленился заменить словом „доглядать",— я и поставил себе две палочки.

— А на розовом? — добивалась она.

— А вы заметили, что и на розовом?

— И даже чаще, чем на белом. Это тоже — мера вашего несовершенства?

— Тоже,— отрывисто сказал Сологдин.— На розовом я ставлю себе *пеневые*, по-вашему будет — штрафные, палочки и потом наказываю себя по их числу. Отрабатываю. На дровах.

— Штрафные — за что? — тихо спросила она.

Так и должно было быть! Раз он вышел на зенитную дугу — в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или всё отнять, или всё дать, у судьбы так.

— А зачем вам? — ещё строго спрашивал он.

— За что?..— тихо, тупо повторяла Лариса.

Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание — они в чём-то сходятся.

— А вы замечали, *когда* я их ставлю?

— Замечала,— как выдох ответила Лариса.

Дверной ключ с алюминиевой бирочкой, с выбитым номером комнаты лежал на её застилающей кальке.

И — большой зелёный шерстяной тёплый ком дышал перед Сологдиным.

Ждал распоряжения.

Сологдин сощурился и скомандовал:

— Пойди запри дверь! Быстро!

Лариса отпрянула от стола, резко встала — и с грохотом упал её стул.

Что он наделал, зарвавшийся раб! Она идёт жаловаться?

Она сгребла ключ и с перевалкою пошла запирать.

Торопливой рукой Сологдин поставил на розовом листе пять палочек кряду.

Больше не успел.

34

Никому не хотелось работать в воскресенье — и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера.

Но воскресный день выдался тревожней буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырёк. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежевшим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Изо всех трёх стали выходить большие чины, блеща золотом погонов,— и не медля, и не ожидая встречи, сразу подниматься на третий этаж, в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронёсся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе.

Правда была наполовину: приехал только замминистра Селивановский и с ним четыре генерала.

Но случилось небывалое — инженер-полковника Яконова всё ещё не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал детектив) звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном

припадке, но уже одевается и едет,— заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нём портупею и цепляясь за ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из Акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтоб успеть отстоять интересы возглавляемой им внутриинститутской оппозиции: Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние вокодера не так безнадёжно, как, скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройтман был уже лауреатом сталинской премии — и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч государственных невзгод.

Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако вызванный Осколуповым жёлтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже *почти* готовый к выпуску в свет. Невдолге прибыл и Яконов — с подведенными впалыми глазами, с лицом, побелевшим до голубизны,— и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие.

И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института — оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни. (Поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе — присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно.) Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шёпотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Он так был взволнован и так спешил вернуться к своим телефонам, что не придал значения запертой двери конструкторского бюро и не успел сбегать в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара

Макарыгина и из вольных больше не было сегодня никого.

Начальники лабораторий в свою очередь ничего не объявили вслух,— ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид из-за приезда начальства, но обошли все столы и стыдливым шёпотом предупреждали каждого в отдельности.

Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в Семёрку, и лишь сам Селивановский и майор Ройтман спустились в Акустическую: чтоб избавиться ещё от этой новой заботы, Яконов порекомендовал Акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина.

— Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека?— спросил по дороге Селивановский Ройтмана.

Ройтман ничего не мог думать, так как сам узнал о поручении пять минут назад: подумал за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить.

— Видите ли,— говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости,— у нас ведь есть прибор видимой речи — ВИР, печатающий так называемые *звуковиды,* и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин.

— Заключённый?

— Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...

— Гм... Придётся этого филолога ещё согласовывать с Абакумовым,— покачал головой Селивановский.

— В смысле секретности?

— Да.

В Акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому темнили, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаёмные девушки сбились в кучку и шёпотом сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на её счастье, на работе не было — она отгуливала пера-

ботанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка.

Нержин чувствовал себя именинником, в Акустическую заходил уже в третий раз, без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом папиросы и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь с тихим жаром читал её Глебу. Рубин не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Недавно Глеб очень хвалил его за широту взглядов в стихотворном этюде об Алёше Карамазове — одновременно в шинели юнкера отстаивающем Перекоп и в шинели красноармейца берущем Перекоп. Сейчас Рубину очень хотелось, чтобы Глеб оценил балладу о Моисее и вывел бы для себя тоже, что ждать и верить сорок лет — разумно, нужно, необходимо.

Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли,— уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями.

Итак, никто ещё в Акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминание о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая:

Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,
Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар...

И тогда-то вошли Селивановский с Ройтманом. Ройтман продолжал:

— На этих звуковидах речь развёртывается сразу в трёх измерениях: по частоте — поперёк ленты, по времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотою рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть всё сказанное. Вот...— он вёл Селивановского вглубь лаборатории,

— ...прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории (Ройтман и сам уже забывал, что прибор тяпнули из американского журнала), а вот...— он осторожно развернул замминистра к окну,

— ...кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. (Рубин встал и молча поклонился.)

Но ещё когда в дверях было произнесено Ройтманом слово „звуковид", Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплывала на божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довёл Селивановского до Рубина, Рубин и Нержин с остротой и быстротой, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из „эталонных" дикторов — а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчёт, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя — это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

И обо всём этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

— Если — ты, и фраза твоя, скажи: „Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону."

А Нержин шепнул:

— Если фраза его — угадывай по звукам. Глажу волосы — верно, поправляю галстук — неверно.

И тут-то Рубин встал и молча поклонился.

Ройтман продолжал тем извиняющимся прерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку:

— Вот нам сейчас Лев Григорьич и покажет своё умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб Викентьич... прочтёт в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР её запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.

Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом: — Фразу — вы́ придумаете?— спросил он строго.

— Нет, нет,— отводя глаза, вежливо ответил Селивановский,— вы что-нибудь там сами сочините.

Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Селивановскому так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман.

„Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону."

— И это действительно так? — удивился Селивановский.

— Да.

— Читайте, пожалуйста.

Загудел ВИР. Нержин ушёл в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая её мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещрённая множеством чернильных полосок и мазаных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила *работу* и напряжённо следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение присутствующих, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте красно-синим карандашом, как всегда плохо очиненным.

— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или сонорные. Во втором слове отчётливо видно — два раза „р". В первом слове ударный звук „и" и перед ним смягчённый „в" — здесь твёрдого быть и не может. Ещё ранее — форманта „а", но следует помнить, что в первом предударном слоге как „а" произносится так же и „о". Зато „у" сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно „у". А за ним глухой взрывной, скорей всего „к", итак имеем: „укови" или „укави". А вот твёрдое „в", оно заметно отличается от мягкого, нет в нём полоски свыше двух тысяч трёхсот герц. „Вукови..." Затем новый звонкий твёрдый взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за „ды". Итак, „вуковиды". Остаётся разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за „с", если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — „з". Итак, первое слово — „звуковиды"! Пойдём дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два

„р“ и, пожалуй, стандартное глагольное окончание „ает“, а раз множественное число, значит, „ают“. Очевидно, „разрывают“, „разрешают“... сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, *для понта,* и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолётно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Селивановский поражённо шептал:

— Это удивительно... это удивительно...

Не заметили, как в комнату на цыпочках вошёл старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрей, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками.

Тем временем Рубин уже разгадал слово „глухим“ и отгадывал четвёртое. Ройтман светился — не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.

И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый исподлобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: „Сам заправишь!“.

— Последнее слово —„по телефону“, это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и всё.

— Поразительно!— повторял Селивановский.— Вас, простите, как по имени-отчеству?

— Лев Григорьич.

— Так вот, Лев Григорьич, а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидах?

— Мы называем это — индивидуальный речевой лад. Да! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.

— Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание.

И Шустерман вышел на цыпочках.

Испортился мотор у воронка, который имел наряд везти заключённых на свидание, и пока созванивались и выясняли, как быть,— вышла задержка. Около одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из Акустической, пришёл на *шмон,*— шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошмонивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях — кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою шмона. На самой этой черте у стены стоял подполковник Климентьев — весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его чёрных слитых усов и от чёрной головы сильно пахло одеколоном.

Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.

На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей — Красногубенький, и сразу спросил:

— В карманах — что?

Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом необычном для него шевиотовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лазить по карманам. После пяти лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков, Нержину совсем не казалось, как кажется понову, что это — грубое насилие, что грязные пальцы шарят по израненному сердцу,— нет, его нарастающе-светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом.

Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них; поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними; проверил рубчики носового платка, не зашито ли что — и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и расстёгнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом

двух горстей провёл сверху вниз по одной ноге Нержина, затем по другой. Когда Красногубенький присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравёра-оформителя — и он догадался, почему тот так волнуется: в тюрьме гравёр открыл в себе способность писать новеллы и писал их — о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибунале. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там — кому их покажешь? Их и там надо прятать. Их и здесь не оставишь. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увезти с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочёл и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв сильно подбодрил гравёра.

Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла — как ему казалось, великолепная. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на которую новелла была вписана микроскопическим почерком, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что он съел новеллу — может быть мог и пронести?

Красногубенький сказал Нержину:

— Ботинки — снимите.

Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С тем же невозмутимым лицом Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли что носки были в больших дырках, Красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано и не потребовал их снять.

Нержин обулся. Красногубенький закурил.

Подполковника косо передёргивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей — арестанты сядут на голову и администрации тюрьмы. Климентьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придраться и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, а даже как бы упивается им.

— Внимание!— сурово заговорил он, и семеро заключённых и семеро надзирателей повернулись в его

сторону.— Порядок известен? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что всё хорошо и ни в чём не нуждаетесь.

— О чём же говорить?— крикнул кто-то.— О политике?

Климентьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несуразно.

— О своей вине,— мрачно посоветовал другой из арестантов.— О раскаянии.

— О следственном деле тоже нельзя, оно — секретное,— невозмутимо отклонил Климентьев.— Расспрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.

И Нержин, остававшийся вполне равнодушным и к шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти,— при запрещении поцелуев почувствовал тёмный взлёт в глазах.

— Раз в год видимся...— хрипло выкрикнул он Климентьеву, и Климентьев обрадованно довернулся в его сторону, ожидая, чтó Нержин выпалит дальше.

Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас:

— Лишаю свидания!!

И задохнулся.

Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишить...

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость.

Старый арестант, он должен был быть господином своему гневу.

Не встретив бунта, Климентьев бесстрастно и точно довесил:

— В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения,— свидание немедленно прекращается.

— Но жена-то не знает! Она меня поцелует!— запальчиво сказал гравёр.

— Родственники также будут предупреждены!— предусмотрел Климентьев.

— Никогда такого порядка не было!

— А теперь — будет.

(Глупцы! И глупо их возмущение — как будто он сам, а не свежая инструкция придумала этот порядок!)

— Сколько времени свидание?

— А если мать придёт — мать не пустите?

— Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.

— А дочка пяти лет?

— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.

— А шестнадцати?

— Не пропустим. Ещё вопросы? Начинаем посадку. На выход!

Удивительно! — везли не в воронке, как всё последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров.

Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имели вид не то боксёров в отставке, не то гангстеров. Очень хорошие были на них пальто.

Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели.

Семеро заключённых поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.

Зашли четыре надзирателя в форме.

Шофёр захлопнул дверцу и завёл мотор.

Подполковник Климентьев сел в легковую.

36

К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было — он был в Семёрке занят „венчанием“ клиппера и вокодера (идея соединить эти две установки в одну родилась сегодня утром у корыстного Маркушева и была подхвачена многими, у каждого был на то свой особый расчёт; сопротивлялись только Бобынин, Прянчиков и Ройтман, но их не слушали).

А в кабинете сидели: Селивановский, генерал Бульбанюк от Рюмина, здешний марфинский лейтенант Смолосидов и заключённый Рубин.

Лейтенант Смолосидов был тяжёлый человек. Даже веря, что в каждом живом творении есть что-то хоро-

шее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая — чуть старше радиомонтажника, получал он как последняя девчёнка — меньше двух тысяч в месяц, правда, ещё на тысячу воровал из института и продавал на чёрном рынке дефицитные радиодетали,— но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим.

Вольные на шарашке боялись его — даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вообще был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно о его прошлой жизни, кроме трёх боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну маршал Рокоссовский не произнёс ни единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у маршала личным радистом.

И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с обжигающе-таинственной лентой, из канцелярии министра скомандовали: Смолосидову.

Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:

— Вы — заключённый, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

„Я и сейчас коммунист!"— хотелось воскликнуть Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку.

— Так вот, советское правительство и наши органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой. Само собой разумеется,

что при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?

— Ясно,— отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, ещё не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание.

И в тишине кабинета прозвучал с лёгкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского.

Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

После слов:

— А кто такой ви? Назовите ваш фамилия,— Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:

— Так. Ещё раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный — вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху-Историю. Он снова — в строю! Он снова — на защите Мировой Революции!

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпёр свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней. Когда и как они расплеменились, эта самодовольная непробиваемая порода? — из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь *аппарат*, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что *объективно* на данном перекрестке истории они представляют собою её положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им — помочь!

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать — идею. Спасать — знамя. Служить передовому строю.

Лента кончилась.

Рубин скрутил голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Селивановского, который выглядел вполне прилично, сказал:

— Хорошо. Попробуем. Но если у вас нет никого в подозрении, как же искать? Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать?

Бульбанюк успокоил:

— Четверых мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд ли это они. А из министерства иностранных дел могли знать вот эти пять. Я не беру, конечно, Громыко и ещё кое-кого. Этих пять я записал тут коротенько, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись обвинить кого.

Он протянул ему листик из записной книжки. Там было написано:

1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Щевронок.
5. Заварзин.

Рубин прочёл и хотел взять список себе.

— Нет-нет! — живо предупредил Селивановский. — Список будет у Смолосидова.

Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он

мимолётно отметил происхождение фамилий: „сяговитый“— далеко прыгающий, „щевронок“— жаворонок.

— Попрошу,— сухо сказал он,— от всех пятерых записать ещё телефонные разговоры.

— Завтра вы их получите.

— Ещё: проставьте около каждого возраст.— Рубин подумал.— И — какими языками владеет, перечислите.

— Да,— поддержал Селивановский,— я тоже подумал: почему он не перешёл ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?

— Он мог поручить какому-нибудь простачку!— шлёпнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.

— Такое — кому доверишь?..

— Вот это нам и надо поскорей узнать,— толковал Бульбанюк,— преступник среди этих пяти или нет? Если нет — мы ещё пять возьмём, ещё двадцать пять!

Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:

— Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.

— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.

— Её уже освобождают,— сказал Смолосидов.

Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова „когда?“, чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь — на неделю и на две, а если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, если же спросить начальство „когда надо?“— скажут: „завтра к утру“. Он осведомился:

— С кем ещё я могу говорить об этой работе?

Селивановский переглянулся с Бульбанюком и ответил:

— Ещё только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром.

Бульбанюк спросил:

— Вы моё предупреждение всё помните? Повторить?

Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.

— Я должен идти думать,— сказал он, не обращаясь ни к кому.

Никто не возразил.

Рубин с затенённым лицом вышел из кабинета, прошёл мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт исследователя загорался в нём.

По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.

До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.

А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), *фоноскопия.* И создать её придётся в несколько дней.

Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.

37

На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчёркнуто-интеллигентским лицом, да ещё в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.

— Вот, кажется, ко всему я привык,— негромко поделился с ним Нержин.— Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю ещё вот эта одна живая струнка, никак не отомрёт — любовь к жене. Не могу, когда её касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют, гады.

Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными, даже когда он просто задумывался над физическими схемами.

— Вероятно,— ответил он,— есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.

Герасимович был на шарашке Марфино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.

Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.

Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель ещё прежде того расписался на вахте за семь голов). Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там минуты), ушёл на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришёптывая весёлыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.

Глубокотайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света,— они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них всё есть и им ничего не надо.

Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, тёмно-кирпичное здание семинарии с шаровым тёмно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и ещё выше — шестериком, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семёрка, конструкторское бюро и кабинет Яконова,— ровные ряды безоткрывных окон выглядели равномерно-бесстрастно,

и окраинные москвичи и гуляющие Останкинского парка не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметённых страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах — о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание,— как эти женщины не знали друг о друге и как могло знать о них одно небо, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь себе потаённую привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьёй.

Открыв тёмно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажжённые в нерядовые минуты жизни.

И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль,— его телу, наслаждённому необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать... Чтобы время остановилось, а шёл бы автобус, шёл бы и шёл, по этой оснеженной дороге с проложенными чёрными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавевших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.

Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.

Потом сразу пришла война.

И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши.

А у них — нет...

Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофёр резко вильнул, чтоб его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил ручёнку в синей варежке к раскраснелому лицу.

И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова

вместе — тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И — поздно для ребёнка...

Оставив слева Останкинский дворец, а справа — озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.

В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас — в серенькой методичности недель? В том, что забываешь: единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана. И готов зто простить, уже простил тупорылым. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню нерваное и немаленькое бельё.

Это всё надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать

Сижу за решёткой в темнице сырой,

или — отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу — почти и в тюрьме сидеть не надо, легко всё вообразить. Но зто — примитив. Только непрерывными бесконечными годами воспитывается подлинное ощущение тюрьмы.

Надя пишет в письме: „Когда ты вернёшься..." В том и ужас, что *возврата* не будет. *Вернуться* — нельзя. За четырнадцать лет фронта и потом тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти заново. Придёт новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, прежняя жена увидит, что того, её первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись,— того человека уже нет, он испарился — по молекулам.

Хорошо, если в новой, второй, жизни они ещё раз полюбят друг друга.

А если нет?..

Да через столько лет захочется ли самому тебе выйти на эту волю — оголтелое внешнее коловращение, враждебное человеческому сердцу, противное покою души? На пороге тюрьмы ещё остановишься, прижмуришься — идти ли туда?

Окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся — блещет, что она — осле-

пительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные давно не ремонтированные, с облезлой штукатуркою дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки, где иностранцев не возят, там триста вёрст проезжай — одни подгнившие соломенные крыши.

Прислонясь головой к запотевшему, подрагивающему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, Глеб в четверть голоса нашёптывал:

Русь моя... жизнь моя... долго ль нам маяться?..

Автобус выскочил на обширную многолюдиую площадь Рижского вокзала. В мутноватом инеисто-облачном дне сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди,— но кричащий цвет был один: яркие красно-фиолетовые мундиры, каких никогда ещё не видел Нержин.

Герасимович среди своих дум тоже заметил эти попугайские мундиры и, вскинув брови, сказал на весь автобус:

— Смотрите! Городовые появились! Опять — городовые.

Ах, это они?.. Вспомнил Глеб, как в иачале тридцатых годов кто-то из комсомольских вожаков говорил: „Вам, товарищи юные пионеры, никогда уже не придётся увидеть живого городового."

— Пришлось...— усмехнулся Глеб.

— А?— не понял Герасимович.

Нержин наклонился к его уху:

— До того люди задурены, что стань сейчас посреди улицы, кричи „долой тирана! да здравствует свобода!"— так даже не поймут, о каком таком тиране и о какой ещё свободе речь.

Герасимович прогнал морщиины по лбу сиизу вверх.

— А вы уверены, что вы, например, понимаете?

— Да полагаю,— кривыми губами сказал Нержин.

— Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно-построенному обществу — это очеиь плохо представляется людьми.

— А разумно-построениое общество — представляется? Разве оно возможно?

— Думаю, что — да.

— Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это ещё никому не удалось.

— Но когда-то же удастся,— со скромной твёрдостью настаивал Герасимович.

Испытно они посмотрели друг на друга.

— Послушать бы,— ненастойчиво выразил Нержин.

— Как-нибудь,— кивнул Герасимович маленькой узкой головой.

И — опять оба тряслись, вбирали улицу глазами и отдались перебойчатым мыслям.

...Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать? Ходить среди этой суетливой, всё что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды — и никогда не покачнуться сердцем? Глеб представлял, что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был бы на воле — он и года, может быть, не выдержал бы. Как же бы он мог миновать всех этих женщин?.. Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Первый, и второй, и третий год тюрьмы он уверен был, что Надя сменится, перебросится, рассеется, отойдёт. Но этого не случилось. И вот уже Глеб стал понимать её ожидание как единственно-возможное. Так ощущал, будто для Нади стало ждать уже и нетрудно.

Ещё с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо,— обломком грифеля на истрёпанной обёрточной бумаге, сложенной треугольником, без марки, Глеб написал:

„Любимая моя! Четыре года войны ты ждала меня — не кляни, что ждала напрасно: теперь будут ещё десять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня. Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж.“

Но изо всего письма Надя поняла только одно:

„Значит ты меня разлюбил! Как ты можешь отдать меня другому?“

Он вызывал её к себе даже на фронт, на заднепровский плацдарм — с поддельным красноармейским билетом. Она добиралась через проверки заградотрядов. На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денёчки своего разворованного счастья.

Но армии проснулись, пошли в наступление, и Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклюжей гимнастёрке, с тем же поддельным красноармейским

билетом. Полуторка увозила её по лесной просеке, и она из кузова ещё долго-долго махала мужу.

...На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:

— На Котельническую набережную идёт? На Котельническую?!..

— Нельзя! Нельзя! — махал ему рукой надзиратель.

— Идё-от! Садись, паря, подвезём! — кричал Иван-стеклодув и громко смеялся. Иван был *бытовик*, и на свидание запросто ездил каждый месяц.

Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что во многих случаях жизни бывает нельзя — и соскочил. И тогда отхлынул пяток ещё набежавших пассажиров.

Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит, ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.

...Идя на запад с фронта, Нержин в разрушенных домах, в разорённых городских книгохранилищах, в каких-то сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещённые, проклятые и сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат.

Это в „Девяносто третьем", у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие.

Так каким-то странным слухом ещё с отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей.

В численном интегрировании дифференциальных уравнений безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно в те годы, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чьё-то большое дорогое тело.

Но ещё было тёплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не возложенное, Нержин принял на себя бремя: по этим ещё не улетевшим частицам тепла

воскресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был.

Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные „Известия“, которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчёт процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.

И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилиям наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в школе им с четвёртого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год.

Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским утром протиснулся к газетной витрине и прочёл, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова — Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой вещи.

И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что в ухе визжало!

Но со столба перекатывал актёрский голос диктора — и горожане на тротуаре сбивались доверчивыми овцами.

А русские писатели, смевшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножию трона свои угодливые песнопения.

Для Глеба же всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нём решение: узнать и понять! откопать и н а п о м н и т ь!

И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую и самую Главную тюрьму страны — и там найдёт следы умерших и ключ к разгадке.

Провинциал, он ещё не знал тогда, что тюрьма эта называется Большая Лубянка.

И что если желание наше велико — оно обязательно исполнится.

Шли годы. Всё сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен — именно *туда*, и встретил тех самых, ещё уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать.

Всё сбылось и исполнилось, но за этим — не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни даже — любви к жене. Ему казалось — лучшей жены не может быть для него на всей земле, и вместе с тем — вряд ли он любил её. Одна большая страсть, занявши раз нашу душу, жестоко измещает всё остальное. Двум страстям нет места в нас.

...Автобус продребезжал по мосту и ещё шёл по каким-то кривым неласковым улицам.

Нержин очнулся:

— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.

Герасимович, отрываясь от таких же невесёлых мыслей, ответил:

— Подъезжаем к Лефортовской.

Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник Климентьев — молодо, без шинели и шапки.

Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростёрлась безветренная зимняя хмурь.

По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком (только двое в задних углах всё так же сидели с пистолетами в карманах) — и арестанты, не имея времени оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в пристройку.

Там оказался длинный узкий коридор, а в него — семь распахнутых дверей. Подполковник шёл впереди и распоряжался решительно, как в сражении:

— Герасимович — сюда! Лукашенко — в эту! Нержин — третья!..

И заключённые сворачивали по одному.

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер.

Все как одна комнатки были — следственные кабинеты: и без того дававшее мало света ещё обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна; маленький столик и табуретка подследственного.

Кресло следователя Нержин перенёс ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить. На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.

Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали лёгкие каблучки жены, раздался её милый голос:

— Вот в эту?

И она вошла.

38

Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнажённых корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фронта — а Глеб стоял вдали на просеке, и просека, всё длиннее, темнее, у́же, поглощала его — кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается?

Ждать мужа с войны — всегда тяжело, но тяжелее всего — в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоёвано человеком.

Именно тут и прекратились письма от Глеба.

Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам — все молчали, как заговоренные.

Но и похоронное извещение не приходило.

Весной сорок пятого года что ни вечер — лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали го-

рода — Кёнигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу.

А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вернётся — он упрекнёт её в упущенном времени! И всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и диалектический материализм — и только ночью плакала.

Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату.

Это должно было значить — убит.

И тотчас же кончилась четырёхлетняя война! И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной.

В военкомате ей не сказали — убит, сказали — пропал без вести. Смелое на аресты, государство было стыдливо на признания.

И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы — может быть, заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет *спецзадание?* Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было.

Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило молоденькой вдове.

А она всё так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернётся.

И прошло четыре месяца после войны. И пора было признать, что Глеба уже нет на земле. И пришёл потрёпанный треугольник с Красной Пресни: „Единственная моя! Теперь будет ещё десять лет!“

Близкие не все могли её понять: она узнала, что муж в тюрьме — и осветилась, повеселела. Какое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать! Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются! В новом положении была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую студенческую женитьбу.

Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее — новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве — значит, надо было ехать в Москву и спасать его! (Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать.)

Но — ехать? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно — в Москву. Сперва, как и в тридцатые годы, гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплёванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы.

Надя изобрела — поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив за билет втрое, самолётом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.

Это была та нравственная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и всё нам удаётся. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка...

Это было чудо, но и это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все каналы ГУЛага были перенапряжены — лился из Европы поток арестантов, поражавший воображение.

Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветлённым загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстаётся со своей „вольной“ одеждой и вживается в серо-чёрную трёпаную одежду зэка. У каждого оставалось ещё что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звёздочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шёлковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом — она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шёл с расстёгнутым воротником в шерстяной гимнастёрке, ещё сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди — невыли-

нявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же жёлтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа — седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы ещё и ещё впитывать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниёт в тёмных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И прозрела боль за себя — что он *её* обездолил, что жертва — не он, а *она*.

И всё это был один только миг!.. На неё закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещённое пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны — та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.

Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни, этой московской окраины, знаменитой своей борьбою за свободу, не могли того видеть,— эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Сов-Гавань, в Норильск, в иркутские, читинские, красноярские, новосибирские, среднеазиатские, карагандинские, джезказганские, прибалхашские, иртышские, тобольские, уральские, саратовские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и ещё многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, по сто и по двести человек, их отвозили днём в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Павшино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами — во

многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплёткой колючей проволоки они строили достойную столицу непобедимой державы.

Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве — в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МГБ и МВД — полукруглый дом на Калужской заставе.

Когда Надя неслась к нему туда на первое свидание — ей было так, будто уже наполовину его освободили.

По Большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы останавливались у конца решётки Нескучного сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительства; высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде — но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это — зэки.

А кто догадывался — тот молчал.

Стояло время дешёвых денег и дорогого хлеба. Дома продавались вещи, и Надя носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали не часто: Глеб не вырабатывал нормы.

На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами её глаз. Это была ему не тюрьма! Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая всё, что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вёл себя к той грани, за которой себя не жалко, и с упорством повторял:

— Милая! Ты не знаешь, за что берёшься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять — но чем ближе будет конец, тем трудней тебе будет его дождаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет. Так не губи свою молодость — оставь меня! Выходи замуж.

Он предлагал, не вполне веря. Она отрицала, веря не вполне:

— Ты ищешь предлога освободиться от меня?

Заключённые жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбусов, видели поверх забора двадри окна мужского общежития и толпящихся у окон

мужчин. Иногда там вперемешку с мужчинами показывались лагерные *шалашовки*. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене:

— Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу — и уваливай! Ещё раз на вахте тебя увижу — морду расцарапаю!

Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно, словно действительно кто-то мог за кого-то не проголосовать. Держать Пятьдесят Восьмую статью в Москве и хотелось (работники были хороши) и кололось (притуплялась бдительность). Чтобы напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные слухи о скорых этапах на Север. Заключённые пекли в дорогу картошку, у кого была.

Оберегая энтузиазм избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нём зашитую записочку:

„Возлюбленный мой! Сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами (Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочка будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу „статью“ отправят. Ты будешь в далёких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкою брошенных через проволоку. Если в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть твоей души — что ж, я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю — изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость! Я не боюсь: ведь всё равно ты вернёшься ко мне, правда?“

39

Ещё не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем — эту горестную географию русских женщин. Тюрьмы оказались в Москве во множестве и расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидания, Надя постепенно научилась распознавать всесоюзную Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что следственные тюрьмы

есть при каждом вокзале и называются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не написано на их маршрутных табличках) идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой Матросская Тишина, в революцию упразднённой, а потом восстановленной и укреплённой, она и сама жила рядом.

С тех пор, как Глеба вернули из далёкого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение — спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками,— Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось жёнам знать, где именно содержатся их мужья,— и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы.

Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жёны сторожили на тротуаре, и ещё до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринуждённо, сидели рядышком, и слушать разговоры четырёх пар приходился один надзиратель.

Бутырки — эта, по сути, тоже мягкая весёлая тюрьма, казалась жёнам леденящей. Заключенным, попадавшим в Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под *намордники,* днём лежать на нарах, а под нарами даже спать. Ещё было мягко в Бутырках: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросы табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

Жёны не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому ж ворота необычайные: медленно-раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для

воронков. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку двухметровой толщины и вели меж стен в несколько человеческих ростов в обход страшной Пугачёвской башни. Свидания давали: обыкновенным зэкам — через две решётки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга, шарашечным,— через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкасаться ногами и сигналить, а у торца стоял надзиратель, недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчаса они как бы выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живётся им хорошо, ничего им не надо,— и опять уходили в эти стены.

В Лефортове же свидание было сегодня первый раз.

Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на здание пристройки.

В голой комнате с двумя длинными скамьями и голым столом уже ожидало несколько женщин. На стол были выставлены плетёная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно полные всё-таки продуктами. И хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым „хворостом“ в кулёчке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусненьким. Этот хворост, рано вставши, когда в общежитии ещё спали, она жарила из оставшихся у неё белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа — а подарить было нечего! Хорошую книгу? но невозможно и это после прошлого свидания: тогда Надя принесла ему чудом достанную книжечку стихов Есенина. Такая точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе:

„Так и всё утерянное к тебе вернётся“.

Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого *текста* в передачах быть не может, текст должен идти отдельно через цензуру. Узнав, Глеб проскрежетал и попросил не передавать ему больше книг.

Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна молодая с трёхлетней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжали оживлённо разговаривать.

У другой же стены на короткой скамье отдельно сидела женщина лет тридцати пяти-сорока в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс начисто вытерся, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом и напряжённо смотрела в пол перед собой. Вся поза её выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у неё не было ни в руках, ни около.

Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним — она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидящей женщине, она спросила её, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль:

— Вы разрешите?

Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания — о чём спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо неё.

Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый воротник. И тоже замерла.

Она хотела бы сейчас ни о чём другом не слышать, и ни о чём другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она — вместе он и она, и называлось по обычаю затёртым словом „любовь".

Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей — что утром дают, что́ вечером, как часто стирают им в тюрьме бельё — откуда-то всё это знали! неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и по сколько грамм или килограмм принесли в передачах. Во всём этом была та цепкая женская забота, которая делает семью — семьёй и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала: как это оскорбительно — обыденно, жалко разменивать великие мгновения! Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше — а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы

быть и не за решёткой и не нуждаться в этой тюремной еде!

Ждать пришлось долго. Назначено им было в десять, но и до одиннадцати никто не появлялся.

Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала её по одному из прошлых свиданий — то была жена гравёра, его третья и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю: мужа она всегда боготворила и считала великим талантом. Но как-то он заявил, что недоволен её психологическим комплексом, бросил её с ребёнком и ушёл к другой. С той, рыжей, он прожил три года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена, его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит, что просит передач, но рыжая сказала: „Лучше б он изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его простить!" Тогда он взмолился к ней, к первенькой — и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания — и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви.

Наде отозвалось, как при этом рассказе жена гравёра с горечью предсказывала: должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то вернее всего — изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать — мы никому не были нужны это время, нас просто никто не взял. Отозвалось, потому что сама Надя думала так иногда.

Пришедшая и сейчас повернула разговор за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консультации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась „Образцовой". Адвокаты её брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем положении. Наконец в чём-то они где-то не угодили. Их всех арестовали, всем нарезали по десять лет, сняли вывеску „Образцовая", но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами, и те опять начали брать многие тысячи, и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут *не только себе,* что дела проходят через много рук. Перед

бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили как перед четырёхростовой стеной Бутырок — взлететь и перепорхнуть через неё не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход судебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой — вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и государства, могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.

Жена гравёра неуклонно верила в конечный успех. Из её слов было понятно, что она собрала тысяч сорок за продажу комнаты и пожертвований от родственников, и все эти деньги переплатила адвокатам; адвокатов сменилось уже четверо, подано было три просьбы о помиловании и пять обжалований по существу, она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилиям знала всех дежурных прокуроров трёх главных прокуратур и дышала атмосферой приёмных Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадёживающего замечания и каждого невраждебного взгляда.

— Надо *писать!* Надо всем писать! — энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по её пути.— Мужья наши страдают. Свобода не придёт сама. Надо писать!

И этот рассказ тоже отвлёк Надю от её настроения и тоже больно задел. Стареющая жена гравёра говорила так воодушевлённо, что верилось: она опередила и обхитрила их всех, она непременно добудет своего мужа из тюрьмы! — И рождался упрёк: а я? почему я́ не смогла так? почему я не оказалась такой же верной подругой?

Надя только один раз имела дело с „образцовой“ консультацией, составила с адвокатом только одну просьбу, заплатила ему только две с половиной тысячи — и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.

— Да,— сказала она негромко, как бы почти про себя,— всё ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?

За столом её не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула её или оскорбила.

— А что можно сделать?— враждебно отчётливо произнесла она.— Ведь это всё бред! Пятьдесят Восьмая это — *хранить вечно!* Пятьдесят Восьмая это — не преступник, а *враг!* Пятьдесят Восьмую не выкупишь и за миллион!

Лицо её было в морщинах. В голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание.

Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тоном, извинительным за возвышенность своих слов, она возразила:

— Я хотела сказать, что мы не отдаём себя до конца... Ведь жёны декабристов ничего не жалели, бросали, шли... Если не освобождение — может быть, можно выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за Полярный круг — я бы поехала за ним, всё бросила...

Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:

— У вас есть ещё силы ехать в тайгу?? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись меня взять замуж — и я бы пошла.

— И вы могли бы бросить?.. За решёткой?..

Женщина взяла Надю за рукав:

— Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жёны декабристов — разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров — вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать своё замужество как заразу?— чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сёстры — толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества! Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик, и нет кастрюли, и чёрного хлеба нет!.. Это красиво сказать — в тайгу! Вы, наверно, ещё очень недолго ждёте!

Её голос готов был надорваться. Слёзы наполнили надины глаза от страстных сравнений соседки.

— Скоро пять лет, как муж в тюрьме,— оправдывалась Надя.— Да на фронте...

— Эт-то не считайте!— живо возразила женщина.— На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут — все. Тогда можно открыто *говорить,* читать письма! Но если ждать, да ещё скрывать, а??

И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснять не надо.

Уже наступила половина двенадцатого. Вошёл, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина. Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчётливо:

— Внимание! Порядок известен? Свидание — тридцать минут. Заключённым ничего в руки не передавать. От заключённых ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключённых о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Кроме того с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении — свидание немедленно прекращается.

Присмиревшие женщины молчали.

— Герасимович Наталья Павловна!— вызвал Климентьев первой.

Соседка Нади встала и, твёрдо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

40

И всё-таки, хотя и всплакнуть пришлось, ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника.

Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг её, но всё взликовало в ней: он показался так же близок! он к ней не изменился!

Отставной гангстер с бычьей шеей в мягком сером костюме приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться.

— Да дайте, я хоть за руку! — возмутился Нержин.

— Не положено, — ответил надзиратель, свою тяжёлую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько.

Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезало мочало. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда сами.

— Ну, так поздравляю тебя! — сказала Надя, стараясь казаться оживлённой.

— Спасибо.

— Такое совпадение — именно сегодня!

— Звезда...

(Они привыкали говорить.)

Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защемляла его.

Маленький столик подследственного был между мужем и женой.

— Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла погрызть немного хвороста, знаешь, как мама делает? Прости, что ничего больше.

— Глупенькая, и этого не нужно! Всё у нас есть.

— Ну, хворосту-то нет? А книг ты не велел... Есенина читаешь?

Лицо Нержина омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещён.

— Читаю.

(Всего полчаса, разве можно уходить в подробности!)

Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее — нетоплено, Надя расстегнула и распахнула воротник — ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубки, о которой он почему-то молчал, ещё и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки оживил её лицо, наверно землистое в здешнем тусклом освещении.

Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену — лицо, и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом — самым важным в свидании, и как бы выдвинулась навстречу ему.

— На тебе кофточка новая. Покажи больше.

— А шубка?— состроила она огорчённую гримасу.

— Что шубка?

— Шубка — новая.

— Да, в самом деле,— понял, наконец, Глеб.— Шуба-то новая!— И он обежал взглядом чёрные завитушки, не ведая даже, что это — каракуль, там уж поддельный или истинный, и будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублёвую шубу от пятитысячной.

Она полусбросила шубку теперь. Он увидел её шею, по-прежнему девически-точёную, неширокие слабые плечи, и, под сборками блузки,— грудь, уныло опавшую за эти годы.

И короткая укорная мысль, что у неё своей чередой идут новые наряды, новые знакомства,— при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалостью, что скаты серого тюремного воронка раздавили и её жизнь.

— Ты — худенькая,— с состраданием сказал он.— Питайся лучше. Не можешь — лучше?

„Я — некрасивая?"— спросили её глаза.

„Ты — всё та же чудная!"— ответили глаза мужа.

(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом...)

— Я питаюсь,— солгала она.— Просто жизнь беспокойная, дёрганая.

— В чём же, расскажи.

— Нет, ты сперва.

— Да я — что?— улыбнулся Глеб.— Я — ничего.

— Ну, видишь...— начала она со стеснением.

Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъездов изваяния каменных львов смотрят на прохожих.

Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамёков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон.

— А костюм — твой?— перепрыгнула она.

Нержин прижмурился и комично потряс головой.

— Где мой? Потёмкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.

— Не могу,— по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу.

— Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.

Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула.

— А мы — нет.

Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, чтобы подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал:

— Вот так — всюду препоны.

„Ты — моя? Моя?“— спрашивал его взгляд.

„Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь!“— лучились её серые глаза.

— А на работе с препонами — как? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?

— Нет.

— Так защитила диссертацию?

— Тоже нет.

— Как же это может быть?

— Вот так...— И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло.— Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например одна аспирантка два года писала диссертацию „Проблемы общественного питания“, а ей тему отменили...

(Ах зачем? Это совсем не важно!..)

— ...У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные...

(*Борьба с низкопоклонством* — но разве тут объяснишь?..)

— ...и потом светокопии, фотографии... Ещё как с переплётом будет — не знаю. Очень много хлопот...

— Но стипендию тебе платят?

— Нет.

— На что ж ты живёшь?!

— На зарплату.

— Так ты работаешь? Где?

— Там же, в университете.

— Кем?

— Внештатная, призрачная должность, понимаешь? Вообще, всюду птичьи права... У меня и в общежитии птичьи права. Я, собственно...

Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции её давно должны были выписать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили прописку ещё на полгода. Это могло обнаружиться в любой день! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МГБ...

— ...Я ведь и сегодняшнее свидание получила... это случилось так...

(Ах, да в полчаса не расскажешь!..)

— Подожди, об этом потом. Я хочу спросить — препон, связанных со мной,— нет?

— И очень жёсткие, милый... Мне дают... хотят дать спецтему... Я пытаюсь не взять.

— Это как — спецтему?

Она вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц.

Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивалась вся наука сверху донизу. Засекречивание же значило: новая, ещё более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: „муж осуждён по пятьдесят восьмой статье", то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать — „муж пропал без вести", всё равно надо будет написать его фамилию — и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения её будут судить. И Надя выбрала третью возможность, но убегая сейчас от неё под внимательным взором Глеба, стала оживлённо рассказывать:

— Ты знаешь, я — в университетской самодеятельности. Посылают всё время играть в концертах. Недавно играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковом Заком.

Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить.

— В общем, был вечер профсоюза, так случайно получилось,— ну, а всё-таки... И ты знаешь, смех какой — моё лучшее платье забраковали, говорят на сцену нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое, чу́дное, до пят.

— Поиграла — и сняли?

— У-гм. Вообще, девчёнки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться *чем*-нибудь, чем *кем*-нибудь...

Это — не между прочим было, это звонко она сказала, это — был удачно сформулированный её новый принцип! — И она выставила голову, ожидая похвалы.

Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно. Но этой похвалы, этого подбодрения тут не нашёлся сказать.

— Подожди, так насчёт спецтемы...

Надя сразу потупилась, обвисла головой.

— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr! — ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись...— совсем тихо закончила она.

(Это и была та третья возможность,— одна, дающая путь в жизни!..— чтобы в анкете стояло не „разведена", потому что анкета всё равно требовала фамилию бывшего мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже *их* годы рождения, занятия и адрес,— а чтоб стояло „не замужем". А для этого — провести развод, и тоже таясь, в другом городе.)

Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на её пальце нет.

— Да, конечно,— очень решительно подтвердил он.

Этой самой рукою, без кольца, Надя втирала ладонь в стол, как бы раскатывала в лепёшку чёрствое тесто.

— Так вот... ты не будешь против... если... придётся... это сделать?..— Она подняла голову. Её глаза расширились. Серая игольчатая радуга её глаз светилась просьбой о прощении и понимании.— Это — псевдо,— одним дыханием, без голоса добавила она.

— Молодец. Давно пора! — убеждённо твёрдо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убеждённости, ни твёрдости — отталкивая на после свидания всё осмысление происшедшего.

— Может быть и не придётся! — умоляюще говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту выглядела усталой, замученной.— Я — на всякий случай, чтобы договориться. Может быть не придётся.

— Нет, почему же, ты права, молодец,— затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь было в пору опрокинуть на неё.— Важно, родная, чтобы ты отдавала

себе ясный отчёт. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!

Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чём нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас.

Но на лице Нади появилось боязливое выражение.

— Срок — это условность,— объяснял Глеб жёстко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать.— Он может быть повторён по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится — не надо думать, что мы вернёмся с тобой в наш город к нашей прежней жизни. Вообще, пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я — не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таёжном посёлке, в красноярской тайге, в низовьях Ангары! К этой жизни одной только и надо готовиться.

Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся фразам.

Но Глеб забыл — нет, не забыл, он не понимал (как все они не понимали), что привыкшим ходить по тёплой серой земле — нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощрённо, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был — светлая холодная бесконечность, для неё же — оставалось двести шестьдесят четыре недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим — уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушёл на войну и не вернулся.

По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в пепельный страх.

— Нет, нет!— скороговоркой воскликнула она.— Не говори мне этого, милый!— (Она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась.) — Не отнимай у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты подумал, что я действительно тебя брошу?!

Её верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.

— Я верю, я верю, Надюшенька!— переменился в голосе Глеб.— Я так и понял.

Она смолкла и осела после напряжения.

В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый чёрный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.

Гангстер с шеей пикадора нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырёх шагах от надиной спины, они обменялись фразой-двумя, но Глеб за это время, приглуша голос, успел спросить:

— Сологдину, жену — знаешь?

Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:

— Да.

— И где живёт?

— Да.

— Ему свиданий не дают, скажи ей: он...

Гангстер вернулся.

— ...любит!— преклоняется!— боготворит!— очень раздельно уже при нём сказал Глеб. Почему-то именно при гангстере слова Сологдина не показались слишком приподнятыми.

— Любит-преклоняется-боготворит,— с печальным вздохом повторила Надя. И пристально посмотрела на мужа. Когда-то наблюдённого с женским тщанием, ещё по молодости не полным, когда-то как будто известного — она увидела его совсем новым, совсем незнакомым.

— Тебе — идёт,— грустно кивнула она.

— Что — идёт?

— Вообще. Здесь. Всё это. Быть здесь,— говорила она, маскируя разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель: этому человеку идёт быть в тюрьме.

Но такой ореол не приближал его к ней. Отчуждал.

Она тоже оставляла всё узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что́ выведется изо всего, но опережающим сердцем искала в нём сейчас — слабости, усталости, болезни, мольбы о помощи,— того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, прождать хоть ещё вторые десять лет и приехать к нему в тайгу.

Но он улыбался! Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне! Он всегда был полон, никогда не нуждался ни в чьём сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удоб-

но, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы для истории. Он выглядел здоровым, глаза его искрились насмешкой над тюремщиками. Нужна ли была ему вообще преданность женщины?

Впрочем, Надя ещё не подумала этого всего.

А Глеб не догадался, близ какой мысли она проходила.

— Пора кончать!— сказал в дверях Климентьев.

— Уже?— изумилась Надя.

Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же ещё было самого важного в том списке „сказать", который он вытвердил наизусть к свиданию.

— Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.

— А могут? Куда??— вскричала Надя.

Такую новость — и только сейчас!!

— Бог знает,— пожав плечами, как-то значительно произнёс он.

— Да ты уж не стал ли верить в бога??!

(Они ни о чём не поговорили!!)

Глеб улыбнулся:

— А почему бы и нет? Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...

— Кому было сказано — фамилий не называть!— гаркнул надзиратель.— Кончаем, кончаем!

Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве ещё через год, чтобы их ещё раз поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:

— Делай во всём, как тебе лучше. А я...

Не договорил.

Они смотрелись глаза в глаза.

— Ну, что это? что это? Лишаю свидания!— мычал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.

Нержин оторвался.

— Да лишай, будь ты неладен,— еле слышно пробормотал он.

Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.

И так скрылась за дверным косяком.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень.

Надзиратель им попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.

Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свиданцы поцеловались, он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдёт. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключённых: кой-кто из них состоял на осведомительной службе и мог на Климентьева же *капнуть*.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха — бледный поцелуй, каким может наградить умерший, привидевшийся нам во сне.

И — сели, разделённые столиком подследственного с покоробленной фанерной столешницей.

Этот неуклюжий маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали и млели от ужаса, боролись с опустошающей бессонницей, говорили гордые слова или подписывали маленькие доносы на ближних арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев — разве только для редких собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покоробленной поверхности стола свои метки — те странные волнистые или угольчатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души.

Герасимович смотрел на жену.

Первая мысль была — какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ — морщины, кожа лица — дряблая, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была ещё довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника

проредился, полёг, а платок — платок был с незапамятных времён, кажется ещё в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру — и в Ленинграде она ходила в нём к Невке по воду.

Но подлую мысль, что жена некрасива, исподнюю мысль существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, со своими короткими воспоминаниями, поверхностным опытом — могла бы заслонить жену?

Наташе ещё не было восемнадцати лет, когда они познакомились в одном доме на Средней Подъяческой, у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать лет с тех пор. Теперь, обернувшись, ясно видно, что́ были для России год Девятнадцатый или Тридцатый. Но всякий Новый год видишь в розовой маске, не представляешь, что́ свяжет народная память со звучаньем его числа. Так верили и в Тридцатый.

А в тот-то год Герасимовича первый раз и арестовали. За — *вредительство*...

Началом своей инженерной работы Илларион Павлович застиг то время, когда слово „инженер" равнялось слову „враг" и когда пролетарской славой было подозревать в инженере — вредителя. А тут ещё воспитание заставляло молодого Герасимовича кому надо и кому не надо предупредительно кланяться и говорить „извините, пожалуйста" очень мягким голосом. А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.

Но как ни выкраивали ему де́ла, едва-едва натянули на пять лет. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой.

Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград. И вот они собрались уже вернуться — в тридцать пятом. А тут как раз повалили навстречу, кировский поток...

Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На её глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, а то и жестокие вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить „извините". Его всё время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на

должность не по образованию — и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына. И, уже на всё рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это — в июне сорок первого года...

Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем. Но, призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал — могильщиком.

Зловещая эта профессия в осаждённом городе была самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в последний раз уходящих, осталые в живых отдавали нищий кубик хлеба.

Нельзя было без содрогания есть этот хлеб! Но оправданье Илларион видел такое: сограждане нас не жалели — не будем жалеть и мы!

Супруги выжили. Чтобы ещё до конца блокады Иллариона арестовали за *намерение* изменить родине. В Ленинграде и многих брали так — за намерение, потому что нельзя было прямо дать измену тому, кто не был даже под оккупацией. А уж Герасимович, в прошлом лагерник, да приехал в Ленинград в начале войны — значит, с намерением попасть к немцам. Арестовали бы и жену, да она при смерти была тогда.

Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа — но, странно, не видела на нём следов тяжёлых лет. С обычной умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щёки были не впалые, морщин — никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно повязан.

Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.

И первая её недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живётся, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.

Но она подавила в себе эту злую мысль.

И слабым голосом спросила:

— Ну, как там у тебя?

Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить:

— Ну, как там у тебя?

И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам его ума распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:

— Ничего...

Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струёй просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб,— а Наталья Павловна спросила:

— Ты о свидании — когда узнал?

— Позавчера. А ты?

— Во вторник... Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.

— По отчеству?

— Да.

Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже,— их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами.

Илларион Павлович спросил:

— Как на работе?

— Почему ты спрашиваешь?— встрепенулась она.— Ты знаешь?

— А что?

Он кое-что знал, но не знал, тó ли он знал, что знала она.

Он знал, что вообще на воле арестантских жён притесняют.

Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три дня, уже извещённая о свидании, она не искала новой работы — ждала встречи, будто могло совершиться чудо, и свидание светом бы озарило её жизнь, указав, как поступать.

Но как он мог дать ей дельный совет — он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам?

И решать-то надо было: отрекаться или не отрекаться...

В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна — свидание проходило, и надежда на чудо погасала.

И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью — и всё равно ничего не поймёт, и лучше даже его не расстраивать.

А надзиратель отошёл в сторону и рассматривал штукатурку на стене.

— Расскажи, расскажи о себе,— говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для неё и в самые ожесточённые месяцы блокады.

— Ларик! у тебя... зачётов... не предвидится?

Она имела в виду зачёты, как в приамурском лагере — проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

— Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное — ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние...— он покосился на полуотвернувшегося надзирателя,— ...свойства... весьма нежелательного...

Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка тёрся о них.

Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам будет нуждаться в похоронах.

А теперь бы вот — не мог...

— Грустно тебе одной? Очень грустно, да?— ласково спрашивал он у жены и тёрся щекою о её руку.

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвётся, она выйдет ничем не обогащённая на Лефортовский вал, на безрадостные улицы — одна, одна, одна... Отупляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького,— жизнь как серая вата.

— Наталочка!— гладил он её руки.— Если посчитать, сколько прошло за два срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

— Только три?! — с негодованием перебила она и почувствовала, как голос её задрожал, и она уже не владела им.— Только три?! Для тебя — т о л ь к о! Для тебя прямое освобождение —„свойства нежелательного"! Ты живёшь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за чёрной кожей! А я — у в о л е н а! Мне не на что больше жить!

Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше — умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали — они знают, что я слова не смею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сёстрам, к тёте Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой — я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрети им что-нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спа-си ме-ня!!

Она совсем не хотела этого говорить, сокрушённое сердце!.. Трясясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, видавшему много этих слёз.

— Ну, успокойтесь, гражданочка,— виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.

Лицо Герасимовича перекошенно застыло и слишком заблистало пенсне.

Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.

По прямому тексту инструкции слёзы не запрещались, но в высшем смысле её — не могли иметь места.

42

— Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведёшь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только знать надо, сколько минут держать — и смывай.

— Ну, а потом?

— А высохнет — ни следа не остаётся, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай — Сидоров или там Петюшин, уроженец села Криуши.

— И ни разу не попадались?

— На этом деле? Клара Петровна... Или может быть... вы разрешите..?

— ?

— ...звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой?

— ...Зовите...

— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но второй раз — хо-го! И держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок пятого по конец сорок седьмого,— это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину! И ещё я лишние хлебные карточки по поддельным справкам получал — и продавал их, и на то жил.

— Но это же... очень нехорошо!

— Кто говорит, что хорошо? Меня заставили, не я это выдумал.

— Но вы могли просто работать.

— „Просто" много не наработаешь. От трудов праведных — палат каменных, знаете? И кем бы я работал? Специальности получить мне не дали... Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка... только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, знаете, эти ЖЩ, ЛХ — скрыто указывается, что я был под оккупацией.

— Но вы же не были!

— Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! И пришлось из-за этого новый покупать.

— Где??

— Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я ещё и орден Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он упёрся — двадцать и двадцать.

— А зачем вам орден?

— А зачем всем ордена? Так просто, дурак, пофорсить хотел. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас...

— Откуда вы взяли, что у меня холодная?

— Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.

— Ну, вот!..

— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.

— За-чем?

— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.

— Ну, рассказывайте, прошу вас.

— Так на чём я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки — меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват — десять в зубы, пять по рогам — и в лагерь.

— Что значит — *по рогам*?

— Ну, намордник пять лет.

— А что значит — *намордник*?

— Боже мой, какая вы необразованная. А ещё дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? „Намордник" значит — кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным.

— Подождите, кто-то подходит...

— Где? Не бойтесь, зто Земеля. Сидите, как сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки — с кем из ребят буду встречаться, не поеду ли опять к американцам на дачу, да вообще жизни не будет, посадят всё равно. И я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушёл — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все зти подделки. И два года за Ростиславом Барониным гнали всесоюзный розыск! А я под чужими именами — в Среднюю Азию, на Иссык-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток... Потом — по маме очень соскучился. Но домой являться — никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод каким-то петрушкой, подсобником, мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там недель несколько — проспал, на работу опоздал. В суд! Судили меня!

— Открылось?!

— Ничего не открылось! Под чужой фамилией осудили на три месяца, сижу в колонии, стриженый, а всесоюзный розыск гудит: Ростислав Доронин! волосы русые пышные, глаза голубые, нос прямой, на левом плече родинка. В копеечку им розыск обошёлся! Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальничка паспорт — и жиманул на Кавказ!

— Опять путешествовать?

— Хм! Не знаю, можно ли вам всё...

— Можно!

— Как это вы уверенно говорите... Вообще-то нельзя. Вы — совсем из другого общества, не поймёте.

— Пойму! У меня жизнь была нелёгкая, не думайте!

— Да, вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите... Правда, хочется вам всё рассказать... В общем, я удрапать хотел. Совсем из этой лавочки.

— Какой лавочки?..

— Ну, из этого, как его, социализма! Уже у меня изжога от него, не могу!

— От социализма?!..

— Да раз справедливости нет — на кой мне этот социализм?

— Ну это с вами так получилось, обидно очень. Но куда ж бы вы поехали? Ведь там — реакция, там — империализм, как бы вы там жили?!

— Да, верно, конечно. Конечно, верно! Да я серьёзно и не собирался. Да это и уметь надо.

— И как же вы опять..?

— Сел? Учиться захотел!

— Вот видите, значит — вас тянуло к честной жизни! Учиться — надо, это — важно. Это — благородно.

— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом в тюрьмах, в лагерях я обдумал. Чему эти профессора могут научить, если они за зарплату держатся и ждут последней газеты? На гуманитарном-то факультете? Не учат, а мозги затемняют. Вы ведь на техническом учились?

— Я и на гуманитарном...

— Ушли? Расскажете потом. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не трудно его и купить, но — беспечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на своё имя аттестат — и подал в университет, только уже в ленинградский, и на факультет — географический.

— А в Москве были на историческом?

— К географии от этих скитаний привязался. Чёртовски интересно! Наездишься — насмотришься... Ну, и что ж? Только походил на лекции с неделю, меня — хоп!— и опять на Лубянку! И теперь — двадцать пять лет! И — в тундру, я ещё не был — практику проходить!

— И вы об этом рассказываете — смеясь?

— А чего ж плакать? Обо всём, Клара, плакать — слёз не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту — а там уж таких молодчиков! уголь долбят! Вся Воркута на зэках стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.

— Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.

— Томаса Мора, дедушки, который „Утопию" написал. Он имел совесть признать, что при социализме неизбежно останутся разные унизительные и особо-тяжёлые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить? Подумал Мор и догадался: да ведь и при социализме будут нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим! Таким образом современный ГУЛаг придуман Томасом Мором, очень старая идея!..

— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус... Людей, подобных вам, я нигде в жизни не видела.

— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас чёрта! Вы же знаете — бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова „Луч света в тёмном царстве". Если милиционер манил меня пальцем — во мне падало сердце. Во всё это врастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику — пока меня второй раз возьмут?

— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я представляю, как это тягостно: вы — постоянно вне общества! вы — какой-то лишний гонимый человек...

— Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно. Потому что как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена продают и к ним удостоверения незаполненные, так это — где продажный человек работает, а? В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам — только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? — чтобы все до одного!

— Но если все будут ждать от других, так никогда и не начнётся. Каждый должен...

— Каждый должен, но не каждый делает! Слушайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произошла революция? Против привилегий! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом — другие на фа-

этонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?

— Конечно.

— Правильно. Но почему же теперь люди не отталкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жёны местных начальников бывают в магазине? Да никогда! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день...

— Да, это ужасно! Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите?

— Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить? Скорей поверю, чем книжке в миллион экземпляров... И вот эти привилегии — они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все — обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике — обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине — обязательно поедет. Если только где-нибудь мёдом помазано и туда по пропускам — обязательно будет этот пропуск выхлопатывать.

— Это — да! Это ужасно!

— Если забором может отгородиться — обязательно отгородится. И сам же сукин сын был мальчишкой — лазил через купеческий забор, яблоки рвал — и тогда был прав! А теперь ставит забор в два роста, да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно оказывается!— и думает, что опять же он прав! А в Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в решку — медалью Победы. Бросят вверх и кричат: „Морда — или Победа?“

— Как это?

— Ну, там с одной стороны написано „победа“, а с другой — Изображение. Посмотрите у отца.

— Ростислав Вадимыч...

— Какой я к чертям Вадимыч? Просто — Руся.

— Мне трудно вас так называть...

— Ну, я тогда встану и уйду. Вон, на обед звонят. Я для всех — Руся, а для вас... особенно... Не хочу иначе.

— Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно — бороться! Но не вашим способом, конечно.

— Да я же ещё и не боролся! Я просто так рассуждал: если равенство — так всем равенство, а если нет — так к ядреней Фене... Ох, простите меня, пожалуйста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с детских лет такое дело: в школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата, а нигде нельзя без лапы — так и мы растём продувные, нахальство — второе счастье!

— Нет! Нет! Так нельзя! В нашем обществе много справедливого. Вы берёте через край! Так нельзя! Вы много видели, правильно, много пережили, но „нахальство второе счастье"— это же не жизненная философия! Так нельзя!

— Руська! На обед звонили, слышал?

— Ладно, Земеля, иди, я сейчас... Клара! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был друг... с холодной головой... подруга... Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. В общем я — это ведь только внешне, что я — как будто арестант и на двадцать пять лет. Я... О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую!.. Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца... Но это потом... Клара! Я хочу сказать: во мне — вулканические запасы энергии! Двадцать пять лет — ерунда, я могу шутя когти оторвать...

— Ка-ак?

— Ну, это... умахнуть. Я даже сегодня утром присматривал, как бы я это из Марфина сделал. От того дня, когда невеста моя — если б только она у меня появилась — сказала бы: Руся! Убеги! Я жду тебя!— клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал — не подкопаешься! Увёз бы её в Читу, в Одессу, в Великий Устюг! И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь!

— Хорошенькая жизнь!

— Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот через двадцать лет! через тридцать лет! через двести лет! Наработаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему! О чём мечтали!.. Нет, это я всё шучу! Я вполне серьёзно! Я совершенно серьёзно хочу учиться, хочу трудиться! Только не один! Клара! Посмотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг — хо-

тите? Это — памятник седой старины. Я там ещё не был.

— Какой вы поразительный человек.

— Я искал её в ленинградском университете. Но не думал, где найду.

— Кого?..

— Кларочка! Из меня ещё кого угодно можно вылепить женскими руками — великого проходимца, гениального картёжника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите — стану?

— Диплом подделаете?

— Нет, правда стану! Кем назначите, тем и стану. Мне только — вы нужны! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите...

43

Генерал-майор Пётр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по *спецделам*, то есть, делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому производились скрытно. (Все миллионы политических дел были такими.) К этим делам, наблюдать за правильностью следствия и всего хода и поддерживать обвинение,— не всякие прокуроры допускались, и допускались самим следствием, то есть ревизуемым МГБ. Но Макарыгин всегда был допущен: помимо давних там знакомств он ещё с большим тактом умел совмещать свою неуклонную преданность законам и понимание специфики работы Органов.

У него было три дочери — все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется хорошая мать.

Дочерей звали: Диня́ра, Дотна́ра и Клара. Динэра значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара — ДОчь Трудового НАРода.

Дочери шли ступеньками по два года. Средняя, Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динэру, на месяц раньше её вышла замуж. Отец посердился, что рановато, но, правда, зять попался хороший — выпускник Высшей Дипшколы, способный и покровительствуемый молодой человек, сын известно-

го отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя — Иннокентий Володин.

Старшая дочь Динэра, пока мать ездила в школу улаживать её двойки по математике, болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актёрский факультет института кинематографии, со второго курса вышла замуж за довольно известного режиссёра, эвакуировалась с ним в Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на фронт — не на фронт, а в тот самый *третий* эшелон, лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают тяжести тыла. Там Динэра познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, вернула генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву.

Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара.

Две старших сестры разобрали на себя всю красоту, и Кларе не осталось ни красивости, ни даже миловидности. Она надеялась, что это с годами исправится — нет, не исправилось. У неё было чистое прямое лицо, но слишком мужественное. По углам лба, по углам подбородка сложилась какая-то твёрдость — и Клара не могла её изгнать, да уж и не следила за этим, примирилась. И руками она двигала тяжеловато. И смех у неё был какой-то твёрдый. Оттого она не любила смеяться. И танцевать не любила.

Клара кончала девятый класс, когда посыпались все события сразу: замужество обеих сестёр, начало войны, отъезд её с мачехой в эвакуацию в Ташкент (отец отправил их уже двадцать пятого июня) — и уход отца в армию прокурором дивизии.

Три года они прожили в Ташкенте, в доме старого приятеля их отца — заместителя одного из Главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около окружного дома офицеров, на втором этаже, с надёжно зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но вдесятеро наехало их сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было неконтролируемое

ощущение, будто сток нечистот омывал её здесь, чистота же подвига и вершина духа — вся ушла за пять тысяч вёрст. Действовал извечный закон войны: хотя не по волеизъявлению люди уходили на фронт, а всё же все горячие и все лучшие находили дорогу туда, да и там, по тому же отбору, их же больше всего и погибало.

В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно её не тянуло, ничто не определилось в ней ясно. Но из такой семьи нельзя же было не поступать! Решила выбор Динэра: она очень, очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом,— чтобы Кларёныш поступала на литературный.

Так и пошла, хотя по школе знала, что скучная эта литература: очень правильный Горький, но какой-то неувлекательный; очень правильный Маяковский, но непроворотливый какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерёшь, пока дочитаешь; потом ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства (романов Толстого учительница не советовала им читать, так как они очень длинные и только затемняют ясные критические статьи о нём); и ещё потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухово-Кобылина, правда у них и названий запоминать не надо было. Во всём этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял как солнышко.

И вся-то литература состояла в школе из усиленного изучения, что́ хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли все писатели эти и ещё потом советские русские и братских народов. И до самого конца Кларе и её подругам так и непонятно осталось, за что вообще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики, и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуждые влияния — и всё-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать.

Вот у Динэры с литературой получалось как-то всё иначе — остро, весело. Уверяла Динэра, что в институте

такая и будет литература. Но Кларе не оказалось веселей и в университете. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологическая, сравнительно-историческая и всё это вроде бы пальцами по воде, и на кружках толковали о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара всё ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

Брата Клариной соученицы по десятому классу зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел стащить на ходу ящик... В коридоре университета Клара как-то выбросила в урну недоеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошёл студент её же курса и этого же самого арагоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман... Одна студентка водила Клару советоваться о покупке на знаменитый Тезиков базар — первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ и особенно много было калек, уже этой войны — они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали, безногие, на дощечках, они продавали, гадали, просили, требовали — и Клара раздавала им что-то, и сердце её разрывалось. Самый страшный инвалид был *самовар*, как его там звали: без обеих рук и без обеих ног, жена-пропойца носила его в корзине за спиной, и туда ему бросали деньги. Набрав, они покупали водку, пили и громко поносили всё, что есть в государстве. К центру базара — гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекуляток. И никого не удивляли, всем были понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины города, но всё можно было достать здесь, всё, что можно проглотить, что можно надеть на верхнюю или нижнюю часть тела, всё, что можно изобрести — до американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников чёрной и белой магии.

Но нет, об этой жизни на литфаке не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто всё было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами.

И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдёт в школу и будет задавать

девчёнкам нелюбимые сочинения и педантично выискивать в них запятые и буквы,— Клара стала больше всего играть в теннис: в городе были хорошие корты, а у неё развился верный сильный удар.

Теннис оказался для неё счастливым занятием: он приносил радость движения телу; уверенность удара отдавалась уверенностью и других поступков; теннис отвлёк её и от всех этих институтских разочарований и тыловых запутанностей — ясные границы корта, ясный полёт мяча.

Но ещё важнее — теннис принёс ей радость внимания и похвал окружающих, которые совершенно необходимы девушке, особенно некрасивой. У тебя, оказывается, есть ловкость! реакция! глазомер! У тебя многое есть, а ты думала — нет ничего. Часами можно прыгать по корту неутомимо, если хоть несколько зрителей сидят и смотрят за твоими движениями. И белый теннисный костюм с короткой юбочкой наверняка Кларе шёл.

Вообще это в страдание для неё превратилось: что надевать? Несколько раз в день приходится переодеваться и каждый раз мучительная головоломка: что надеть на твои крупные ноги? и какая шляпка тебе не смешна? и какие цвета тебе идут? и какой рисунок ткани? и какой воротник к твоему твёрдому подбородку? Клара была обделена способностью это знать, и при средствах одеваться — всегда была одета дурно.

Вообще: как это — нравятся? как это — нравиться? почему ты — не нравишься? Ведь с ума сойдёшь, никто тебе не поможет и не выручит никто. В чём это ты не такая? Что это в тебе не то? Один, два, три эпизода можно объяснять случайностями, несовпадениями, неопытностью — но наконец этот невидимый горький стебель всё время попадается тебе между зубами, в каждом глотке. Как побороть эту несправедливость? Ты же не виновата, что такая уродилась!

А тут ещё эта литературная трепотня так надоела Кларе, что на втором году Клара забросила литфак, просто перестала ходить.

А со следующей весны фронт пошёл уже в Белоруссию, все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в Москву.

Но и тут не сумела Клара верно решить, в какой же ей институт идти. Искала она, где меньше говорят, а больше делают, значит — технический. Но чтобы не

с тяжёлыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи.

Никем не руководимая, она опять совершила ошибку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придётся. Впрочем, среди однокурсниц (мальчиков было мало) не одна она оказалась случайная, век такой начинался: ловили синюю птицу высшего образования, и не попавшие в авиационный институт переносили документы в ветеринарный, забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами.

В конце войны у отца Клары было много работы в Восточной Европе. Он демобилизовался осенью сорок пятого и сразу получил квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повёз жену и дочь смотреть квартиру.

Автомобиль прокатил их мимо последней решётки Нескучного сада и остановился, не доезжая моста через окружную железную дорогу. Было предполуденное время тёплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета. И мать и дочь были в лёгких плащах, отец — в генеральской шинели с распахнутой грудью, с орденами и медалями.

Дом строился полукруглый на Калужскую заставу, с двумя крылами: одно — по Большой Калужской, другое — вдоль окружной. Всё делалось в восемь этажей, и ещё предполагалась шестнадцатиэтажная башня с солярием на крыше и с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был ещё в лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости заказчика (Госбезопасности), строительная контора скороспешно сдавала со стороны окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами.

Строительство было обнесено, как это всегда бывает на людных улицах, сплошным деревянным забором,— а что сверх забора была ещё колючая проволока в несколько рядов и кое-где высились безобразные охранные вышки, из проносившихся машин замечать не успевали, а жившим через улицу было привычно и тоже как будто незаметно.

Семья прокурора обошла забор вокруг. Там уже снята была колючая проволока, и сдаваемая секция выгорожена из строительства. Внизу, у входа в парадное, их встретил любезный прораб, и ещё стоял солдат, ко-

торому Клара не придала внимания. Всё уже было окончено: высохла краска на перилах, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протёрты оконные стёкла, и только грязно одетая женщина, наклонённого лица которой не было видно, мыла ступени лестницы.

— Э! Алё! — коротко окликнул прораб, — и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.

Прошёл прокурор.

Прошёл прораб.

Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

И женщина, не выдержав ли этого шёлка и этих духов, — оставаясь низко склонённой, подняла голову посмотреть, много ли *их* ещё.

Её жгучий презирающий взгляд опалил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо.

Не только стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол, — но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то ещё высший стыд и страх! — и замерла — и открыла сумочку — и хотела вывернуть её всю, отдать этой женщине — и не посмела.

— Ну, проходите же! — зло сказала женщина.

И придерживая подол своего модного платья, и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх.

В квартире не мыли полов — там был паркет.

Квартира понравилась. Мачеха Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была недовольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трёх клёпках и обещал устранить.

— А кто здесь всё это делает? строит? — резко спросила Клара.

Прораб улыбнулся и промолчал. Отец буркнул:

— Заключённые, кто!

На обратном пути женщины на лестнице уже не было.

И солдата не было снаружи.

Через несколько дней они переехали.

Но шли месяцы, и годы шли, а Клара почему-то всё не могла забыть той женщины. Она помнила точно её место на предпоследней ступеньке отметного удлинённого марша, и каждый раз, если не в лифте, вспоминала

на этом месте её серую нагнутую фигуру и вывернутое ненавидящее лицо.

И всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку. Это было непонятно и — непобедимо.

Однако ни с отцом, ни с матерью она никогда этим не поделилась, не напомнила им, не могла. С отцом после войны её отношения вообще установились нескладистые, недобрые. Он сердился и кричал, что она выросла с испорченной головой, если вдумчивая — то навыворот. Её ташкентские воспоминания, её московские будние наблюдения он находил нетипичными, вредными, а манеру искать из этих случаев вывод — возмутительной.

О том, что поломойка и сегодня стоит на их лестнице — никак нельзя было ему признаться. Да и мачехе. Да и вообще — кому?

Вдруг однажды, в прошлом году, спускаясь по лестнице с младшим зятем, Иннокентием, она не удержалась — невольно отвела его за рукав в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий спросил, в чём дело. Клара замялась, могло показаться, что она сумасшедшая. К тому же Иннокентия она видела очень редко, он постоянно жил в Париже, франтовски одевался, держался с постоянной насмешечкой и снисходительно к ней, как к девочке.

Но решилась, остановилась — и тут же рассказала, всё руками развела, как было тогда.

И без всякого франтовства, без этого ореола вечной европейской жизни, он стоял всё на той же ступеньке, где их застигло, и слушал — совсем попростевший, даже потерянный, почему-то шляпу сняв.

Он всё понял!

С этой минуты у них началась дружба.

44

До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя, знаменитого Галахова, Клара привычно называла Колей и на „ты“,— а Иннокентия стеснялась, сбивалась.

Прошлым летом они приехали надольше, стала часто Нара бывать у родных и жаловаться приёмной матери на мужа, на порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор такой счастливой. С Алевтиной Никаноровной они долгие вели об этом разговоры, Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаённо слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни эта и была: отчего любят и отчего не любят?

Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчётах Иннокентия, что он переменился, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры она оказывалась во всём права, и во всём неправ муж. Но Клара сделала для себя противоположный вывод: что Нара не умела ценить своего счастья; что, пожалуй, она сейчас Иннокентия не любила, а любила себя; она любила не работу его, а своё положение в связи с его работой; не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а своё владенье им, утверждённое в глазах всех. Клару удивляло, что главные обиды её были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчёркивал её особое значение и важность для себя.

Неволею младшей незамужней сестры мысленно примеряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела. Как же можно удовлетворяться чем-то, отдельным от *его* счастья?.. Тут ещё запутывалось и обострялось, что не было у них детей.

После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видеться ещё, обязательно. И, главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить!

Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому.

И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денёк за город, она толчком сердца сразу же согласилась, ещё и подумать, ещё и понять не успев.

— Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин,— слабо улыбнулся Иннокентий.

— Я тоже не люблю!— определённо отвела Клара.

Оттого что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала её сочувствием.

— Обалдеешь от этих Швейцарий,— извинялся он,— хоть по России простенькой побродить. Найдём такую, а?

— Попробуем!— энергично кивнула Клара.— Найдём!

Всё-таки прямо не договорились — втроём или вдвоём они едут.

Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только, что — вдвоём, но и родителям, пожалуй, знать не нужно.

По отношению к сестре Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили — это был законный родственный налог. А так, как жили они — была виновата Нара.

Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня Кларе — но и самые мучительные приготовления: как же одеться?! Если верить подругам, ей не шёл ни один цвет — но какой-то цвет надо же выбрать! Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой. А больше всего промучалась с вуалеткой — два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала... Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить. Кларе отчаянно нравились вуалетки, особенно в кино: они делают женщину загадочной, поднимают её выше критического разглядывания. Но всё ж она отказалась: Иннокентию надоели всякие французские выдумки, да и будет солнечный день. А чёрные сетчатые перчатки всё же надела, сетчатые перчатки очень красиво.

Им сразу попался дальний малоярославецкий поезд, паровичок, вот и хорошо, они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было и станций они не знали.

До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию Н а р а! Иннокентий, если бы знал, может выбрал бы другой вокзал? А Клара совсем забыла.

И ещё много раз в пути повторяли эту Нару. Так и висела над ними...

Августовское утро было прохладное. Они встретились оба бодрые, весёлые. Сразу установился разговор несвязный, оживлённый, только несколько раз ошиба-

лись оба на „вы“, и тут же смеялись, и от этого ещё проще становилось.

Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из „рабочей одежды“.

Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его расспрашивать, сбивчиво — то о Европе, то — как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять. Но что-то нужно было! Ей искренне хотелось поумнеть! Ей так необходимо было разобраться!

Иннокентий шутливо крутил головой:

— Вы думаете... ты думаешь, я сам что-нибудь понимаю?

— Но вы же дипломаты, вы нас всех ведёте — и вдруг ничего не понимаете?

— Да нет, все мои коллеги понимают, это только я ничего не понимаю. И даже я всё понимал примерно до прошлого, до позапрошлого года.

— Что же случилось?

— И вот этого — тоже не понимаю,— смеялся Иннокентий.— И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойди научись грамоте. Потом — арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там ещё?

— Ну, не знаю... магнетизму...

— Вот, и ты не знаешь; а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе всё за пять минут и объясню, да ты и сам уже будешь знать.

— Ну, хорошо, я готова учиться, но где учиться? С чего начинать?

— Ну... хоть с наших газет.

По вагону шёл с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него „Правду“.

Ещё при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неуютную двухместную скамью у двери: Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней.

— Ну, давай учиться читать,— развернул газету Иннокентий.— Вот заголовок: „Женщины полны тру-

дового энтузиазма и перевыполняют нормы". Подумай: а зачем им эти нормы? Что у них, дома дела нет? Это значит: соединённой зарплаты мужа и жены не хватает на семью. А должно хватать — одной мужской.

— Во Франции так?

— Везде так. Вот дальше, смотри: „во всех капиталистических странах, вместе взятых, нет столько детских садов, сколько у нас". Правда? Да, наверно правда. Только не объяснена самая малость: во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны.

Дребезжали. Ехали. Останавливались.

Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при грохоте объяснял к уху:

— Бери дальше, самые ничтожные заметки: „Член французского парламента имярек заявил..." и дальше о ненависти французского народа к американцам. Сказал так? Да наверно сказал, мы правду пишем! Только пропущено: от какой партии член парламента? Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценней его высказывание! Значит, коммунист. Но — не написано! И так всё, Клярэт. Напишут о небывалых снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие! А хитрость в том, что автомобилей так много, что для них даже гаражей не строят... Всё это — свобода *от* информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста: „встреча принесла заслуженную победу...", дальше не читай, ясно: нашему. „Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем..." — ясно: не нашего.

Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест! И так уж на них оглядывались. Клара отняла газету и держала.

— Вообще, спорт — опиум для народа,— заключил Иннокентий.

Это было неожиданно и очень обидно. И совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека.

— Я — в теннис много играю и очень его люблю!— тряхнула головой Клара.

— Играть — ничего,— сразу исправился Иннокентий.— Страшно — на зрелища кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков.

Дребезжали. Ехали. Смотрели в окно.

— Значит, у них там — хорошо?— спросила Клара.— Лучше?

— Лучше,— кивнул Иннокентий.— Но не хорошо. Это разные вещи.

— Чего ж не хватает?

Иннокентий серьёзно на неё посмотрел. Того первого оживления не стало в нём, очень спокойно смотрел.

— Так просто не скажешь. Сам удивляюсь. Чего-то нет. И даже многого нет.

А Кларе так с ним было хорошо, по-человечески хорошо, не от какой-нибудь игры прикосновений, пожатий или тона, их не было,— и хотелось отблагодарить, чтоб ему тоже было хорошо, крепче.

— У вас... у тебя такая интересная работа,— утешала она.

— У меня?— поразился Иннокентий, и притом, что он был худ, ещё впали его щёки, он показался замученным, будто недоедающим.— Служить нашим дипломатом, Кларочка, это иметь две стенки в груди. Два лба в голове. Две разных памяти.

Больше не пояснял. Вздохнул, смотрел в окно.

А понимала ли это его жена? А чем она его укрепила, утешила?

Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица: отдельно верх его лица выглядел довольно жёстко, отдельно низ — мягко. От лба, свободно развёрнутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности.

Разгорался день, весело мелькали леса, много лесу было по дороге.

Чем дальше шёл поезд, тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее средь всех — они оба, будто разряженные для сцены. Клара сняла перчатки.

На лесном полустанке они выскочили. Кроме них ещё несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего вагона, больше никого не осталось на перроне.

Молодые люди собирались в лес. И по ту и по другую сторону тут был лес, правда густой, тёмный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Иннокентием тоже пошли за ними.

Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо. Потом тропка ныряла сквозь несколько рядов берёзовой посадки. Там дальше было выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной верёвкой к колышку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правей, прямо на солнце, где ещё за рядами кустов открывался обширный простор.

И молодые люди согласно решили, что в лес — успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти.

Туда выводила полевая дорога — плотная, травяная. От неё ближе к линии золотилось хлебное поле — тяжёлые колосья на коротких крепких стеблях, а что за хлеб — они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше — и на таком большом пространстве ничего не росло.

Их полустанок был в углу, теперь только они выходили на этот простор — такой объёмный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. И далеко вокруг и тут за линией сразу, всё обмыкалось лесом сплошным с мелко зазубристым издали верхом.

Вот кажется этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долготой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности тёмно-кирпичная церковь с колокольней. И ещё бабы удалялись впереди, а больше на всём просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего — тёплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.

В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот.

— Так это — Россия? Вот это и есть — Россия? — счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел на Клару.— Слушай, я ведь *представляю* Россию, но я ведь её не-пред-став-ляю! — каламбурил он.— Я никогда по ней

вот так просто не ходил, только самолёты, поезда, столицы...

Он взял её вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у неё сумочка.

— Слушай, сестра! — говорил он. — Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. И чтоб дышалось легко!

— А тебе — неужели не видно? — Его жалоба так тронула её — свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.

— Нет, — качал он, — нет. Было когда-то видно, а сейчас всё запуталось.

Что запуталось? Если уж *так* запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если б он ещё немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться, и открыла бы, как она за него, и как он прав, и не надо отчаиваться!

— Так надо бывает поговорить! — отзывалась она.

Но он на том и кончил. Он уже смолк.

Жарчело. Сняли плащи.

Никто больше не появлялся во всём окоёме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движеньи.

Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой: по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.

Тропа шла к той деревне с церковью, но ещё раньше в середине простора она подходила к удивительно тесной, особной кучке деревьев. Куща стояла посреди полей, далеко отступая от всякого леса, и от деревни изрядно — странная бодрая свежая куща крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть? Отчего и зачем среди полей?

Свернули туда и они.

Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шёл позади Клары.

Идёт позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры. То ли брат тебе. То ли...

Теперь чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:

— А как ты будешь меня звать? Не зови „Клярэт".

— Не буду. Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.

— Я буду тебя „Инк" звать, ладно?

— Ладно. Очень хорошо.

— Тебя так никто не зовёт?

Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять.

Теперь уже видно было, что это — берёзы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине ещё. Как удивительно стояла эта куща, ни к чему не относясь, сама по себе.

— А у тебя когда это всё началось? — спрашивала Клара.

Что — *это*? Тут много вкладывалось.

Но он не затруднился:

— Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а всё-таки, когда я стал разбирать шкафы.

— Это уже после смерти?

— Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает...

(А я пойму!.. Больше, больше о Дотти, мы так разговоримся сейчас! Тебе будет легко!..)

— ...Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на её похороны... Слушай, а это не кладбище?

Остановились. И вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! И как же они раньше..? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень.

Хотя ещё не было видно крестов, ни могил. Они ещё переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть). Ещё поднимались, и неожиданно круто.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом,— ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровну́ эти старые берёзы, соединясь в верхах, а земля поля ровно и открыто, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хоть не топтанную и не стриженную. Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.

Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всём охвате распланированной местности!

Вокруг иных могилок были ограды. А то — просто безымянные пирамидальные травяные холмики. И даже свежие.

— Как просторно!— удивлялся Иннокентий.— Тут сто могил, не больше, и можно ещё пятьдесят разместить свободно. И, наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и ещё перекапывают старые под новые.

Вот эти старые берёзы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.

Сами плащи на землю бросились, само как-то селось — лицом к Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далёкая, будка полустанка. И поверх линейной посадки переползал дымок.

Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восставленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. И Кларе открылся его затылок: как у мальчика слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.

— Какое чистое кладбище!— удивлялась Клара.— Скотом не загажено, мазута не налито.

— Да,— с наслаждением выдохнул Иннокентий.— Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолёт совать, потом в автобусе куда-нибудь...

— Рано об этом думать, Инк!

— Когда, Клaронька, всё ложь — очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрей.— Он и говорил слабым усталым голосом.

Это могло быть о его работе. А может — обо всей жизни. А может — только о жене.

Доспрашивать Клара не могла.

— И что же — в шкафу?

— В шкафу? — сосредоточил Иннокентий свой всегда не беспечный, всегда озабоченный взгляд. — В шкафу вот что... — Но, кажется, только представив этот подробный рассказ, он уже устал от него. — Да нет, это долго... Я как-нибудь потом...

Если уж сейчас — долго, то когда ж и рассказывать?.. Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз?

На каком же тогда лету у него всё перехватывать?

— Значит, у тебя никого родных не осталось?

— Представь себе — дядя, мамин брат! Причём я о нём тоже ничего не знал до прошлого года.

— Никогда не видел?

— То есть, видел маленьким, но совершенно не запомнил.

— Где же он?

— В Твери.

— Где?

— В Калинине. Два часа езды — а никак не соберусь. Да когда мне, если я и в России не бываю?.. Написал ему, старик обрадовался.

— Слушай, Инк, надо поехать! Ведь потом тоже будешь жалеть!

— Да я и думаю поехать, думаю! Да просто вот на днях поеду. Вот слово даю.

Уже отошёл Иннокентий в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей.

Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища — подсолнухи, за другим — свёкла. Только и оставалась им тропка — та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.

Иннокентий снял и куртку, остался в лёгкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, негладкой спины. А шляпу снова надел от солнца.

— Ты знаешь, на кого похож? — смеялась Клара. — Есенин, воротясь в родную деревню после Европы.

Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:

— Ах, родина, и что ж я тут нашёл?.. Какой я стал чужой... Косить разучился, пахать разучился...

Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков изрыта, искромсана гусеница-

ми и скатами, местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета,— что двум сторонам улицы сноситься было как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.

По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетёной кошёлкой.

— Дево...— начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше,— девушка!— Но она быстро приближалась, и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться.— Эта деревня — как называется?

— Рождество,— мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.

— Рождество?— удивились между собой молодые люди.— Необычное какое название.— Вдогонку крикнули:— А почему?

— Назвали. Откуда я знаю?— отозвалась та через плечо. И спешила дальше.

И куда растеклись все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких оконок тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла, развешенные в одном дворе на верёвках доказывали, что кто-то здесь утром был.

Солнце полно наливало собой тишину.

В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посуху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.

— Мамаша!

Не слышала.

— Мамаша!

Подняла голову.

— Слышу плохо,— высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза её совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.

— Нельзя ли молока у вас купить?— спросила Клара.

Молоко им не нужно было, а — лучший способ разговориться, как она знала по поездкам в колхоз.

— Коров — нету,— с достоинством ответила старуха.

В руке у неё был покойный жёлто-белый цыплёночек, он не выбивался и не дёргался.

— Мамаша, эта церковь как называлась?— спросил Иннокентий.

— Что это — *называлась*? — посмотрела она на него через плёнку. В обвисшем лице её была самистая важность.

— Ну, у каждой церкви... название же есть?

— Только что звание,— сказала старуха.— А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была — пленные разобрали.

— Какие пленные?

— Немцы.

— А зачем?

— Кирпичи в Нару отправляли. Вот цыплята у меня дохнут. Четвёртый уже. Отчего это?

Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.

— Или приминает она их?— размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.

И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха — кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперед, на главную улицу, такую же мёртвую, куда упиралась эта.

На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его — колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или ещё даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только рёбра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было нико-

го. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках — и тоже не было никого.

Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось — а с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней всё было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрять как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада — и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.

Церковь была — вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко вбок пришлось отойти и там ещё повилять и попрыгать.

В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки — белого, розового и жёлтого мрамора.

Иннокентий разогрелся от солнца, но не разрумянился, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы.

Подошли к церкви. Тяжёлой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе — от застойной ли воды, или от скотьих трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью, был спуск, а внизу — много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, убег.

Но их окликнули:

— Закурить не будет, граждане?

Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.

Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто всё же имел надежду найти там пачку:

— Не курю, товарищ.

— Жа-аль,— огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.

— Эта церковь — как называлась?

— Рождества,— уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову и так же быстро ушёл за угол, как и появился.

Но там, куда идти им, ниже, они заметили ещё и одноногого, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубахе с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.

— Откуда мрамор?— спросил Иннокентий.

— Чего?— отозвался латаный мужик.

— Ну вот, камень цветной.

— А-а-а... Алтарь разбили.— Думал.— Иконостас.

— А зачем?

Думал.

— Дорогу гáтить.

— Отчего это у вас так... пахнет?— спросила Клара.

— Чего?— удивился одноногий. Думал.— А-а, это вам наверно от скотного. Скотный вон у нас, рядом.

Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться — туда, к ивам, вниз.

— А что там?— спросили они.

— Там? Ничего нет.— Думал.— А, речка.

Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегáть, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.

— После такой деревни действительно на то кладбище потянет,— крутила она головой.— А ты — хромаешь?

— Да что-то трёт.

В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зелёная влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки метались и плавали вокруг колокольни — смотреть отсюда было приятно.

— Ты очень устал!— тревожилась Клара.— Тебе надо отдохнуть. И ногу посмотреть.

Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыл глаза. Откинутый, смотрел вверх, на церковь.

— Вот тебе, Кларочка, два Рождества...

— Почему — два?

— Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное — всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах, подарки — каждый каж-

дому. И на какой-нибудь захудалой затёртой витринке — ясли и Иосиф с ослом.

— А какой Иосиф с ослом?

Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип — пропущенную ими могилу с обелиском.

— Жалко, не посмотрели.

— Давай я сбегаю!— взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала. Она бежала как весёлая, но совсем не весело было ей.

Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.

— Ну, кто ты думаешь?

— Священник?

— „Вечная слава воинам Четвёртой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее... от министерства финансов."

— Финансов?— поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах.— Даже и финансов! Бедные клерки... Сколько ж их тут легло?.. И на сколько человек была одна винтовка? Четвёртая дивизия ополчения?

— Да.

— Дивизия безоружных!— и четвёртая... Вот дикость этой войны — народное ополчение...

— А почему — дикость?— онедоумела Клара.

Иннокентий вздохнул и свесил голову.

— Тебе плохо?.. Инк, может вернёмся? Не надо дальше?

Он ещё вздохнул.

— Да нет, ничего. Жару я плохо переношу. И обулся неудачно, не сообразил.

— Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трёт? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.

Мастерили.

А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.

— Ну что ж, Инк, пойдём дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдём вдоль реки, там тоже тень будет.

Он уже отошёл и улыбался:

— Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях... А ты молодец. Пойдём, пойдём. По какому берегу?

Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой прикрученный от наводнения к низам ив.

Перейти? Не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговоры будут разные, и вся прогулка. Перейти?.. Не перейти?..

Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъёме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, ещё были посажены берёзы рядком и ели. И заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями — наверно вырытый, такой правильный. Что это было всё? Заброшенное ли именье? Не у кого спросить.

Отсюда, между шарами ив, ещё красивее казалась церковь, почти на горе — и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку.

Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки.

Тут очень бы приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду — беготня водопеших стрекоз, а наверно есть и рыба и раки. Тут надо бы разуться по колено и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк.

Толстенная причудливая ива вырастала на их берегу, а гнутым стволом перекидывалась на тот берег — как мост, и с поручнями таких же кручёных изогнутых ветвей.

— Баобаб!— всплеснула Клара.— Вот красавец! А давай по нему на тот берег! Там, кажется, лучше идти.

Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косой ствол и протянула ему сильную руку:

— Пойдём!

Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка.

Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть.

Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут ещё ветка, за которую он держался, пересекала их путь, надо было через неё же и перелезть. Всё это делал он с лицом сосредоточенного думанья, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода Инк не получил.

И ничто не стало лучше на новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарахтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды. И пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий всё явнее хромал.

И вышли они — на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг: „Вперёд, к победе коммунизма!", всё же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зелёных машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с подпёртыми или опущенными дышлами — всё было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе всё бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.

Да на холме работал один трактор.

И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пересекли они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.

А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе.

— Подловим попутную?— сказал Иннокентий.— Не возвращаться ж на станцию опять.

День был в середине, а прогулка при конце.

Отчего натягивается между людьми вот эта препонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг другу.

Но не дано было этому быть. Этого быть не могло.

Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть.

Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу.

По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками „огнеопасно“ или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать — и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофёром ещё сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные: в откидные окошки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.

От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло.

И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.

Иннокентий опустился на камень у родничка и сказал потерянно:

— Жизнь — распалась.

— Но в чём? но в чём распалась, Инк?— с отчаянием вырвалось у Клары.— Но ты же всё обещал мне объяснить — и ничего не объясняешь!

Он посмотрел на неё больными глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

— Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй.— Он захватил шире.— Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...

Чуть ли не в те самые дни спецчасть предложила Кларе анкеты. Она с лёгкостью заполнила их: происхождение её было безупречно, жизнь — не протяжённа, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков, порочащих гражданина.

Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены. Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Марфина.

С другими своими подругами, выпускницами института связи, Клара прошла пугающий инструктаж у тёмнолицего майора Шикина.

Она узнала, что работать будет среди крупнейших агентов — псов мирового империализма и американской разведки, нипочём продававших свою родину.

Клара была назначена в Вакуумную лабораторию. Так называлась лаборатория, изготовлявшая множество электронных трубок по заказам остальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в соседней маленькой стеклодувной; а затем в собственно-вакуумной, большой полутёмной комнате, обращённой на север, откачивались тремя гудящими вакуумными насосами. Насосы, как шкафы, перегораживали комнату. Даже днём здесь горели электрические лампы. Пол был выложен каменной плиткой — и постоянно стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У каждого насоса сидел или похаживал свой вакуумщик, заключённый. В двух-трёх местах за столиками ещё сидели заключённые. А из вольных были только одна девушка Тамара да начальник лаборатории, капитан.

Этому своему начальнику Клара была представлена в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой еврей с каким-то налётом равнодушия. Ничем уже больше не стращая Клару, он кивнул ей идти за собой, а на лестнице спросил:

— Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете?

Клара ответила невнятно. Ещё ко всему страху не хватало позора — сейчас разоблачат, что она невежда, и будут над ней смеяться.

Как в клетку со зверьми, она вступила в лабораторию, где обитали чудовища в синих комбинезонах. Она даже глаза поднять боялась.

Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов — у них был срочный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но у среднего насоса арестант лет за сорок, с плешиной, запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыбке и сказал:

— Во-о! Пополнение!

И сразу страх сняло. Столько доброты и простоты было в этом восклицании, что Клара только усилием лица удержалась от ответной улыбки.

Младший вакуумщик — у него был самый маленький из насосов, тоже остановился. Это был совсем юноша с весёлым, чуть плутоватым лицом и невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох. Таким взглядом ещё никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел.

Зато старший вакуумщик Двоетёсов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел,— высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушёл за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости.

Позже Клара узнала, что это не обидно, что таков он бывал со всеми вольными, при входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, ещё висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить:

— А я — у себя на Родине! В своём отечестве — чего мне стесняться?

Среднего вакуумщика заключённые, даже и молодые, звали просто Земеля, на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют „солнечными натурами", а в народе говорят —„рот до ушей, хоть завязки пришей". В последующие недели наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чём пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был всамделишный хороший инженер, только моторист-авиационник, в Марфино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше.

Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь:

— Бывало, возьми пятачок и иди, чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют,— широко улыбался он.— Дерьмом никто не торговал. Сапоги — так сапоги, десять лет без починки носишь, а с почин-

кой — пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтобы под ногой вкруговую сходилась. Ещё эти были... как они назывались?.. красные расписные на спиртовой подошве — это ж не сапоги, это душа вторая!— Весь он растаивал в улыбке и жмурился как на слабое тёплое солнышко.— Или, например, на станциях... Никогда на полу не лежали, по суткам никогда за билетами не душились. Приходи за минуту, покупай, садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли — не экономили... Вообще — п р о с т о, очень просто жилось...

Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из тёмного угла, где его письменный стол был надёжно укрыт от начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глазами, а очки были спущены на нос:

— Земеля! Да ты разве царя помнишь?

— Помню немножко,— извинялся улыбкой Земеля.

— На-прас-но,— качал головой Двоетёсов.— Забывай. А то социализм нужно качать.

— Да ведь, Костя,— робко возражал Земеля.— Социализм-то вроде построен, говорят.

— Ну-у-у?— вылупливался старший вакуумщик.

— Да-а. Ещё с тридцать третьего, что ль, года.

— Это когда на Украине голод был? Так подожди, подожди, а что ж мы теперь вот день и ночь откачиваем?

— Теперь? Коммунизм наверно,— сиял Земеля.

— Да-а?! Вон она-а!..— придурковато гундосил старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой угол.

Для себя или для Клары они такой разговор вели,— но Клара докладывать не ходила.

Обязанности Клары оказались несложны: ей надо было, чередуясь с Тамарой, приходить один день с утра и быть до шести вечера, а другой день после обеда и — до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днём его могло требовать начальство; вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была — дежурство, то есть, слежка за заключёнными. Помимо того, „для развития", начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего часа два в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключёнными непринуждённо. Кларе даже показалось, что с одним из них она доволь-

но коротка и носит ему книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода) — заключённые. Тамара быстро рассеяла страхи Клары, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное.

Наконец, и сама Клара разговорилась с одним из заключённых. Правда, это был преступник не государственный, а всего-навсего бытовик, каких в Марфине содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув, великий мастер, на свою беду. Старуха тёща говорила о нём, что работник он золотой, а пьяница ещё золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но всё было бы ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом три тысячи рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответственный собеседник добавил двести, Иван упёрся на своём. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буянить во дворе, но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же начальнику без знаков, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь.

Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась, и, чтоб не выслали из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на полутора тысячах.

Никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом — на шарашке были люди, по пятьдесят суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие папу римского и Альберта Эйнштейна. Но Клару эта история потрясла. Получалось, как сказал Иван, — „что хотят, то и делают".

Политических она дичилась, держала их от себя в осторожно-официальном отдалении. Но и от рассказа стеклодува вдруг осветилась подозрением её голова, что среди этих синих комбинезонов могут встретиться и другие вовсе невинные. А если так — то не осудил ли и её отец когда-нибудь тоже невиновного человека?..

Однако опять же некому было задать этот вопрос: в семье — некому, и на работе — некому. Та дружба с Иннокентием и та прогулка не получили продолжения — может быть потому, что вскоре они с Нарой опять уехали за границу.

Однако в этом году у Клары появился, наконец, друг — Эрнст Голованов. Тоже не на работе она его нашла, он был литературный критик, и как-то Динэра привезла его к ним в дом. Не ахти какой он был кавалер, ростом только-только не ниже Клары (а когда отдельно стоял, то казался и ниже), прямоугольные у него были лоб и голова на прямоугольном туловище. Лишь немного старше Клары, он выглядел уже как будто средних лет, с брюшком и спортивно совсем не развит. (Откровенно говоря, и фамилия его была по паспорту Саунькин, а Голованов — псевдоним.) Зато человек начитанный, развитый, интересный, и уже кандидат Союза Писателей.

Как-то была она с ним в Малом театре. Шла „Васса Железнова“. Спектакль производил унылое впечатление. Он шёл при зале, заполненном меньше, чем наполовину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение, и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, и роли казались забавой, не достойной взрослого человека. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: „Ну, милые, ладно, хватит кривляться!“ — и спектакль разрушится. Унижение актёров передалось и зрителям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полушёпотом и беззвучно ходили по фойе.

Клара с Эрнстом тоже прошагали так первый антракт. Эрнст оправдывался за Горького и возмущался за Горького, что недостойно так его играть, бранил откровенно-халтурившего сегодня народного артиста Жа-

рова, но ещё смелее — общую рутину в министерстве культуры, которая подрывала и наш театр с его замечательными реалистическими традициями и доверие к нему зрителя. Эрнст не только писал складно, но и правильно, складно говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился.

Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Она сказала:

— Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения, старый женится на молодой. Мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят лет, уже сто лет прошло, а мы всё машем руками, всё разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть — пьесы не увидишь.

— Отчасти верно.— Эрнст с благожелательной улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта никак не поражала наружностью, но с ней не соскучишься.— О чём же, например?

Никого не было ни в соседних ложах, ни под ними в партере. Снизив голос и стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, Клара рассказала Эрнсту, что работает с заключёнными, разрисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими. И мучил её вопрос, пусть скажет Эрнст — ведь среди них есть и невиновные?

Эрнст обстоятельно выслушал и ответил солидно, как об думанном уже:

— Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе.

Клара не поняла, какая система, и в ответ не вдумалась, а хотелось ей кончить выводом стеклодува:

— Но тогда, Эрнст! Ведь это получается — что хотят, то и делают! Это же ужасно!

Сильная рука теннисистки сжалась в кулак на красном бархате барьера. Свою коротколапую кисть Голованов плоско положил на барьер точно рядом, но не поверх клариной руки, этих вольностей невзначай он не применял.

— Нет,— мягко, но уверенно объяснил он,— не „что хотят, то и делают". Кто это —„делает"? Кто это —„хочет"? История. Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон

больших чисел. Чем на большем материале развёртывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок — судебных ли, тактических, идеологических, экономических. Мы охватываем процесс только в его основных определяющих чертах, и главное — убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает. Не всегда по заслугам. А убитые на фронте? А совсем бессмысленно погибшие от Ашхабадского землетрясения? от уличного движения? Растёт уличное движение — должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать её в её развитии и с её неизбежными ступеньками жертв.

Что ж, в этом объяснении был резон. Клара задумалась.

Уже дали два звонка, и зрители сходились в зал.

В третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы, и стала вытягивать весь спектакль.

По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал её не какой-то где-то невиновный человек, который, может быть, уже давно сгнил за Полярным Кругом по Закону больших чисел,— а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смугло-золотистым отливом щёк, почти мальчишка, несмотря на двадцать три года. С первой же встречи в его взгляде не гасло радостное преклонение перед Кларой, постоянно её будоражившее. Она не могла расчесть и сопоставить, что Ростислав приехал из лагеря, где два года не видел женщин. Она только первый раз в жизни чувствовала себя предметом восхищения.

Впрочем, восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролёт при электрическом свете, в полутёмной лаборатории, какой-то своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то мастерил; то украдкой учил в служебное время английский язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто и всегда, в каждую минуту, а особенно в сию минуту казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение

Кларой было одним из таких бурно интересных его занятий.

При этом он не забывал следить и за своей наружностью, из-под комбинезона у него под пестроватым галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно белое. (Клара не знала, что это и была манишка — изобретение Ростислава, шестнадцатая часть казённой простыни.)

Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, и особенно Эрнст Голованов, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что легчает, что и ей хочется озорнуть. Всё с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушный Земеля есть те самые цепные псы империализма, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать именно о Ростиславе — за какое злодейство он наказан? долго ли ему ещё сидеть? (Что он не женат — было ясно.) Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны травмировать человека, возрождая перед ним его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться.

Прошло ещё месяца два. Клара уже вполне обвыклась со всеми, множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключённых Клара оставалась в лаборатории одна, и неизменно стал приходить в это время — то за оставленными вещами, то позаниматься в тишине.

В эти его вечерние приходы Клара забыла все предупреждения оперуполномоченного...

Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.

Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать. У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел.

Оказалось, он жил с матерью в подмосковной деревне, у канала. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу.

Всё сошло как будто благополучно, Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали — тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Оказывается, МГБ всегда старается арестовать человека так, чтоб он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак.) Его посадили на Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине). Началось следствие. От Ростислава добивались — какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был ещё телёнок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво: с Лубянки, откуда никого добром не выпускают,— Руську выпустили.

Это было ещё в сорок пятом году. На этом он остановился вчера.

Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днём, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса — и беседа их возобновилась.

К обеденному перерыву они были уже как дети, по очереди кусающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая её в нетерпеньи, он уже касался её рук — и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв — вдруг новый смысл снизошёл на то, что плечо у них было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в неё ярко-голубые глаза.

Срывающимся голосом Ростислав говорил:

— Клара! Кто знает — когда ещё мы будем так сидеть? Для меня это — чудо! Я поклоняюсь вам! (Он уже сжимал и ласкал её руки.) — Клара! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреваться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!

Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Ростислав притянул её и отпечатлел на её губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему...

Наконец, она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясённая...

— Уйдите...— попросила она.

Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.

— Сейчас пока — уйдите! — требовала Клара.

Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.

Вскоре все вернулись с перерыва.

Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем, а если радость — то не покойная.

Она услышала разговоры, что арестантам разрешена ёлка.

Она недвижно просидела три часа, шевеля только пальцами: плела из разноцветных хлорвиниловых проводков — корзиночку, подарок на ёлку.

А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул двух смешных стеклянных чёртиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позвенивающий ясный месяц.

46

Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро заключённых ступили из голубого автобуса на прогулочный дворик шарашки,— первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной.

Такая снеговинка, шестигранная правильная звёздочка, упала и Нержину на рукав старой фронтовой порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и глубоко заглатывал воздух.

Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.

Это было досадно. Не хотелось, да просто невозможно было никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничьего участия. Ни говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя всё это внутреннее, что он привёз, пока оно ещё не расплылось, не стало воспоминанием.

Но именно одиночества — не было на шарашке, как и во всяком лагере. Всегда везде были камеры, и купе

вагон-заков, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больниц — и всюду люди, люди, чужие и близкие, тонкие и грубые, но всегда люди, люди.

Войдя в здание (для заключёниых был особый вход — деревянный трап вниз и потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался — куда ж идти?

И придумал.

Чёрной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа.

Эта площадка была отведеиа под ателье художнику-ззку Кондрашёву-Ива́нову. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве крепостного живописца: вестибюли и залы Отдела Спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны были собственные квартиры замминистра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним работников, и ещё более настоятельной иеобходимостью было — украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами.

Правда, Кондрашёв-Иванов плохо удовлетворял этим запросам: картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но *не красивые.* Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золочёные рамы, картины эти выигрывали.

Нержин, миновав на всходе большой уже законченный заказ для вестибюля Отдела Спецтехники — „А. С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф“, вывернул на последний марш лестницы и, ещё прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком —„Изувеченный Дуб“, двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.

По стенам лестничного пролёта висели и другие полотна. Кое-какие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна — одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходило решёт-

кой и розовой занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до божьего света.

Ничего более не было здесь, ни даже стула. Вместо того — два чурбачка стойком, повыше и пониже.

Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашёва-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезающий руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнущийся, и как будто не мёрз. Большие очки, укрупнявшие и устрожавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашёва. Взгляд его был упёрт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках.

Услыша осторожные шаги, оглянулся.

Они встретились глазами, ещё продолжая каждый думать о своём.

Художник не был рад посетителю — он нуждался сейчас в одиночестве и молчании.

Но более того — он был рад ему. И, не лицемеря ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:

— Глеб Викентьич?! Милости прошу!

И гостеприимно развёл руками с кистью и палитрой.

Доброта — обоюдное качество для художника: она питает его воображение, но и разрушает его распорядок.

Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шёпотом, будто ещё кого-то третьего боялся здесь разбудить:

— Нет, нет, Ипполит Михалыч! Я пришёл, если можно?.. помолчать здесь...

— Ах, да! ах, да! ну, разумеется!— так же тихо закивал художник, быть может уже по глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок.

Подобрав полы шинели, которые в лагере он уберёг от обрезания, Нержин опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил и — очень ему хотелось закурить!— не закурил.

Художник уставился в то же место картины.

Замолчали...

В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное чувство к жене.

Как будто в драгоценной пыльце были те места пальцев, которыми он на прощанье касался её рук, шеи, волос.

Годами живёшь без того, что отпущено на земле человеку.

Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя). Убеждения (если ты до них созрел). И по самое горлышко — забот об общественном благе. Кажется — афинский гражданин, идеал человека.

А косточки — нет.

И одна эта женская любовь, которой ты лишён, словно перевешивает весь остальной мир.

И простые слова:

— Любишь?

— Люблю! А ты?—

сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном.

Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она казалась сплетённой из одних достоинств. Из верности.

Жаль, не решился поцеловать её ещё в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.

Губы у жены — развыклые, слабые. И как утомлена! И как затравленно сказала о разводе.

Развод перед законом? Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел?

Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот — Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали её за бесценок,— но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу планеты.

Вот и Надя. Разводится, чтоб избежать преследований. А разведётся — и сама не заметит, как выйдет замуж.

Почему от её последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда...

Нержин сидел и сидел в молчании — и избыток послесвиданной радости, который ещё распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.

„Тебе идёт здесь",— сказала она.

Ему идёт быть в тюрьме!

Это правда.

По сути вовсе не жаль пяти просиженных лет. Ещё даже не отдалясь от них, Нержин уже признал их для себя своеродными, необходимыми для его жизни.

Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решётки, вмурованные ею?

Или где лучше узнать людей, чем здесь?

И самого себя?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы!

Как Спиридон говорит: „Своя воля клад, да черти его стерегут".

Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам века,— что потерял он, севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмосковью. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их *устраивать*, и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жильё его, и мастерская была там — узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и посетители спрашивали: „Вы переезжаете?" Стол был у них единственный, и когда на нём разворачивался натюрморт — до окончания картины они с женой обедали на стульях.

В войну не стало масла для красок — он брал пайковое подсолнечное и разводил на нём. За карточки надо было служить, его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну и изводил её долгими сеансами. Однако рисовал её совсем не так, как надо было командованию — и никто потом не хотел брать

этого портрета, названного: „Москва, сорок первый год“.

А сорок первый год на этом портрете — явился. Это была девушка в противоипритном костюме. Медно-рыжие буйные волосы её выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура! Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоипритный чёрно-серый костюм ломался острыми жёсткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости — и виделся как латы рыцарских времён. Благородное, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе не красивой, в которой Кондрашёв-Иванов увидел Орлеанскую Деву!

Очень, кажется, близко это всё получилось к „не забудем! не простим!“, но переходило за край, показывало что-то уже не управляемое — и картины испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде, она годы стояла в комнатёнке художника, отвёрнутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста.

Сын Леонида Андреева Даниил написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот роман обошёлся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашёв-Иванов, правнук декабриста Кондрашёва, приговорённого за восстание к двадцати годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его гувернантки-француженки.

Правда, в лагерь Кондрашёв-Иванов не попал, а прямо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашёв писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли ещё второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других.

Здесь он лишён был встречаться и беседовать с другими художниками. И смотреть картины других. И по

альбомам репродукций, просочившимся через таможню, узнавать, как там и куда растёт западная живопись.

А куда б она ни росла — это никак не могло влиять и отношения не имело к работе Кондрашёва-Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где всё открывалось и создавалось, все пять вершин были заняты раз и навсегда: две вершины — рисунок и цвет, как мог увидеть только он, две вершины — мировое Добро и мировое Зло, а пятая — сам художник.

Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел, и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним и особенно к истинным их цветам он прозрел в камерах, полутёмных от намордников,— и теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи.

Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата, четыре к пяти (Кондрашёв первейшее значение придавал соотношению сторон) и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя, ребром — ярко-начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался он как доблестно горящий щит! И стоял рядом тёмно-металлический кувшин, в мелких углубинах воронёный — не для вина, скорей для свежей воды. А ещё по задней стене спадала жёлто-золотая парча (всеми оттенками жёлтого особенно увлекался сейчас Кондрашёв) и воспринималась как накидка Невидимого. Что-то было в сочетании этих трёх предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать.

(Никто из полковников не брал этого натюрморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз.)

Кондрашёв писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довёл до той ступени, которая даёт мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом всё меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет.

Он оставлял их — отворачивал к стене, задёргивал. Картины от него отделялись, отдалялись,— а когда он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши,— прощаль-

ный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но всё-таки он их написал!

...Уже полный внимания, Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашёва.

Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тёк ручей — почти нельзя было понять: он не тёк вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок — это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в вытаинах между ними торчала жёлкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосязаемо-дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а — в глубине: густою грудью леса стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная берёза. От её жёлтого нежного огня ещё мрачней и сплочённей стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадёжных пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но и не это ещё было главное, а — стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже ещё какое-то другое равновесие.

В эту картину сейчас и уставился автор.

Был неотклонимый закон у творчества, Кондрашёв хорошо и давно его знал, пытался остояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был — что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счёт, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось сегодня, только оно было средоточие всего его жизненного опыта, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.

А оно не удавалось!

Каждое из прежних до того, как удаться, тоже не удавалось, но прежнее отчаяние было всё забыто, а теперь вот это единственное — первое, на котором он учился писать по-настоящему! — оно́ не удавалось — и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого!

Вот эта вода — она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна — но всё это было ничто, если она

не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза — понимания, успокоения, всесоединения — сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашёв никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее успокоение — передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять — передавала или нет?

— А вы знаете, Ипполит Михалыч. Я, кажется, начинаю с вами соглашаться: все эти места — Россия.

— Не Кавказ?— быстро обернулся Кондрашёв-Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые.

Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишён важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашёва: они казались им не русскими, а кавказскими, что ли — слишком величественными, слишком приподнятыми.

— Вполне могут быть такие места в России,— всё увереннней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошёлся, рассматривая „Утро необыкновенного дня" и другие пейзажи.

— Ну, разумеется! ну, разумеется!— волновался художник и крутил головой.— Не только могут быть в России — но и есть! Я бы вас повёз, если бы без конвоя! Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая,— скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый? декабристы? народовольцы?

— У-у,— понравилось Нержину.— Это верно. Но всё-таки, Ипполит Михалыч, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот, изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним конечно — бездна, меньше вы не принимаете. И небо — не только грозовое, но оно вообще никогда не знало солнца, такое небо. И все ураганы, какие за двести лет где-нибудь дули — все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист, вам если злодейство — то самое непомерное. Но это устарело, в статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом...

— Да это слышать невозможно!!— разгневался художник и потрясал длиннючими руками.— Чтó устарело?! Злодейство устарело??? Да только в нашем веке оно

и проявилось впервые, при Шекспире были телячьи забавы! Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над Злом и Добром, и чтоб мигали как маяки! А то мы заблудились в нюансах! Статистически редко? А — каждого из нас? А — сколько нас миллионов?

— Вообще-то да...— покачал головой и Нержин.— Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за двести грамм черняшки... Но это как-то беззвучно делается, как-то непоказно...

Кондрашёв-Иванов ещё выпрямился, ещё воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он ещё вверх и вперёд, как Эгмонт, ведомый на казнь:

— Но никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека!

Нержин усмехнулся со злою трезвостью:

— Не должен, может быть,— но сламывает! Вы ещё не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят — если выходят — неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание.

— Н-нет!!— Кондрашёв-Иванов расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром.— Нет! Нет! Нет! Да это было бы унизительно! Да для чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте — бывают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие требует, чтоб они изменили! А почему бывают разными люди, попавшие в одинаковые условия, хоть и в тот же лагерь? Ещё неизвестно, кто кого формирует: жизнь — человека или сильный благородный человек — жизнь!

Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями:

— В человека от рождения вложена некоторая Сущность! Это как бы — ядро человека, это его я! Никакое внешнее бытие не может его определить! И ещё каждый человек носит в себе Образ Совершенства, который иногда затемнён, а иногда так явно выступает! И напоминает ему его рыцарский долг!

— Да, и вот ещё,— почесал в затылке Нержин, тем временем опять осевший на чурбак.— Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчёнка-зенитчица у вас — рыцарь, медный поднос у вас — рыцарский щит...

— Ка-ак?— изумился Кондрашёв.— Вам это не нравится? Перехожу меру! Ха! ха! ха!— грандиозным хохотом обгремелся он, и по всей лестнице, как по скалам, раздалось эхо от его хохота. И как пикою с коня поражая Нержина, ткнул в его сторону руку, заострённую пальцем:— А к т о изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли! Любители вакхических пиров! А к о г о не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый,— не хватает *рыцарей*!! При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!

И вдруг смолк, и со всей конской высоты мягко снизился на корточки рядом с гостем и, блеща очками, спросил шёпотом:

— Вам — показать?

И так всегда кончаются споры с художниками!

— Конечно, покажите!

Кондрашёв, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полóтенко, набитое на подрамник, и принёс его, держа к Нержину обратной серой стороной.

— Вы — о Парсифале знаете?— глуховато спросил он.

— Что-то связано с Лоэнгрином.

— Его отец. Хранитель чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно впервые увидит Образ Совершенства...

Кондрашёв закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам.

Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит.

Художник открыл веки:

— Это — только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я её, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок! святого!! Грааля!!!

И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего *оттуда*. И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся.

Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обры-

вах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по воле всадника, и попятиться и перенестись — ей по силам и крылато перенестись.

Но всадник не смотрел на бездну перед лошадью. Растерянный, изумлённый, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на всё верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита,— не чётко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и всё же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства,— стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля.

47

Звонок обеденного перерыва разнёсся по всем закоулкам здания семинарии-шарашки, достиг и отдалённой лестничной площадки.

Нержин поспешил на воздух.

Как ни ограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все, и как в камере, три шага вперёд и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния.

Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безызносной артиллерийской шинели (неснятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и с прогулки могли прогнать — а идти переодеваться было жалко прогулочного времени),— Нержин быстрыми шагами дошёл и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблевидному дому.

Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре.

Снежинки кружились всё такие же редкие, невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав.

Нержин стал ходить почти ощупью, с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело всё заменялось внутри. А душа сливалась с покоем неба — даже вот такого мутного, зрелого снегом.

Но тут окликнули его:

— Глебка...

Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и зимней шапке (и он был арестован с фронта зимой), не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка: друг как бы ещё продолжал свидание с женой — и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды.

— Глебка! Если я очень нарушаю настроение — скажи, исчезну. Но весьма нужно поговорить.

Нержин посмотрел в просительно-мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип — и опять на Рубина. Сколько бы ни ходить тут, по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя-счастья в душе. Оно уже застывало.

Жизнь продолжалась.

— Ладно, Лёвчик, вали!

И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу без улыбки смекнул Глеб, что случилось важное.

Нельзя было искусить Рубина тяжелей: нагрузить его мировою тайной и потребовать, чтоб он ни с кем не поделился из самых близких! Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки — он не открыл бы им своего сверхзадания! Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину — это было уже сверхчеловеческое требование!

Сказать Глебу — всё равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что — была крайняя необходимость ему сказать и договориться

сейчас, пока есть время, а потом пойдёт горячка, от лент не оторвёшься, а дело расширится, надо брать помощника...

Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны.

Две облезлые фронтовые шапки, и две потёртые шинели, плечами отталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом.

— Дитя моё! Разговор — *три нуля!* Даже в Совете Министров об этом знают пара человек, не больше.

— Вообще-то я — могила. Но если такая заклятая тайна — может, не говори, не надо? Меньше знаешь — больше спишь.

— Дура! Я б и не стал, мне за эту голову отрубят, если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь.

— Ну, бузуй.

Всё время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы.

Как ни мало любопытен стал Нержин в тюрьме — он слушал с густым интересом, раза два останавливался и переспрашивал.

— Пойми, мужичок,— закончил Рубин,— это — новая наука, *фоноскопия*, свои методы, свои горизонты. Мне и скучно и трудно входить в неё одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоём! Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?

— Чего доброго,— промычал Нержин,— а то — науки! Пошла она к кобелю под хвост!

— Ну, правильно, Аркезилай из Антиоха этого бы не одобрил! Ну, а — досрочка тебе не нужна? В случае успеха — добротная досрочка, чистый паспорт. А и без всякого успеха — упрочишь своё положение на шарашке, незаменимый специалист! Никакой Антон тебя пальцем не тронет.

Одна из лип, в которые упиралась тропка, имела ствол, раздвоенный с высоты груди. На этот раз Нержин не пошёл от ствола назад, а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение. Из-под шапки, сдвинутой на лоб, он приобрёл вид полублатной, и так смотрел на Рубина.

Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его.

— Слушай, Лев... Все эти атомные бомбы, ракеты „фау" и новорожденная твоя фоноскопия...— он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить,— ...это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена совета министров, конечно Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то *досрочка* нам будет — из пистолета в затылок. Кстати, почему в ЧК-ГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, это низко. Я предпочитаю — с открытыми глазами и залпом в грудь! Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что! А работы много, берегут нервы палачей...

Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал, всё так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперёк переговорено всё на свете, всё известно — а вот глаза их, тёмно-карие и тёмно-голубые, ещё изучающе смотрели друг на друга.

Переступить ли?..

Рубин вздохнул:

— Но такой телефонный разговор — это узелок мировой истории. Обойти его — нет морального права.

Нержин оживился:

— Так ты и бери дело за жабры! А что ты мне вкручиваешь тут — новая наука да досрочка? У тебя цель — словить этого молодчика, да?

Глаза Рубина сузились, лицо ожесточело.

— Да! Такая цель! Этот подлый московский стиляга, карьерист, стал на пути социализма — и его надо убрать.

— Почему ты думаешь, что — стиляга и карьерист?

— Потому что я слышал его голос. Потому что он спешит выслужиться перед боссами.

— А ты себя не успокаиваешь?

— Не понимаю.

— Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться — через границу, не называя даже своего имени?

— Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную служжбёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу — мировой скандал и миллион в карман.

— М-да-а... Но всё-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трёхсот до двух тысяч четырёхсот герц... А как ты думаешь, он — правду сообщил?

— То есть, относительно радиомагазина?

— Да.

— В какой-то степени очевидно — да.

— „В этом есть рациональное зерно"?— передразнил Нержин.— Ай-ай-ай, Лёвка-Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров?

— Не воров, а — разведчиков!

— Какая разница? Такие же стиляги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман! Или — ты не слышал их голосов?

— Дурень! Ты безнадёжно отравлен испареньями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему?— Лицо Рубина выражало страдание.

Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола:

— Слушай, у кого это я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алёшах... ?

— То было другое время, ещё неотдифференцированных понятий, ещё не прояснившихся идеалов. Тогда — могло быть.

— А теперь прояснились? В виде ГУЛага?

— Нет! В виде нравственных идеалов социализма! А у капитализма их нет, одна жажда наживы!

— Слушай,— уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липы, устраиваясь для длинного разговора,— какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на земле их не видим, ну допустим кто-то испортил эксперимент, но где и когда они обещаны, в чём они состоят? А? Ведь весь и всякий социализм — зто какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путём.

— И зтого мало? А в каком обществе во всю историю это было?

— Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство, и сытость! Вот одолжили — равенство и сытость! Вы нам — нравственное общество дайте!

— И дадим! Только не мешайте! На дороге не стойте!

— Не мешайте бомбы выкрадывать?

— Ах, вывороченные мозги! Но почему ж все умные трезвые люди...

— Кто? Яков Иванович Мамурин? Григорий Борисович Абрамсон?..— смеялся Нержин.

— Все светлые умы! все лучшие мыслители Запада, Сартр!— все за социализм! все против капитализма! Это становится уже трюизмом! А тебе одному неясно! Обезьяна прямоходящая!

Рубин наклонялся на Нержина, корпусом на него наседал и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в грудки:

— Ладно, пусть обезьяна! Но не хочу я разговаривать в твоей терминологии — какой-то „капитализм“! какой-то „социализм“! Я этих слов не понимаю и не могу употреблять!

— Тебе — Язык Предельной Ясности?— рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения.

— Да, если хочешь!

— А что ты понимаешь?

— Я — вот понимаю: своя семья! неприкосновенность личности!

— Неограниченная свобода?

— Нет, моральное самоограничение.

— Ах, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми амёбными понятиями ты проживёшь в двадцатом веке? Ведь все эти понятия классовые! Ведь они зависят от...

— Ни от хрена они не зависят!— отбился и выпрямился из углубления Нержин.— Справедливость — ни от чего не зависит!

— Классовое! Классовое понятие!— тряс Рубин пятерню над его головой.

— Справедливость — это глава угла, это основа мироздания!— замахал и Нержин. Издали можно было подумать, что они сейчас будут драться.— Мы родились со справедливостью в душе, нам жить без неё не хочется и не нужно! Помнишь, как Фёдор Иоаныч говорит: я не умён и не силён, меня обмануть не трудно, но *белое от чёрного* я отличить могу! Давай сюда ключи, Годунов!!

— Никуда ты, никуда не денешься!— грозно толковал Рубин.— Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

— Вот ещё мать твою фанатиков перегрёб,— всю землю нам баррикадами перегородили!— сердился и Нержин.— Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья — так нет же, за ноги дёргают: *кто не с нами, тот против нас*! Оставьте мне простору! Оставьте простору!— отталкивался Нержин.

— Мы тебе оставим — так т е не оставят, с той стороны!

— Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...

— Дитя моё,— смягчился Рубин,— в исторической перспективе...

— Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что́ ты скажешь!— бюрократическое извращение, временный период, переходный строй — но он мне жить не даёт, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй,— и я его защищать не буду, я не полоумный!

— Я ошибся, что затронул тебя после свидания,— совсем мягко сказал Рубин.

— Не причём тут свидание!— не спадало ожесточение Нержина.— Я и всегда так думаю! Над христианами мы издеваемся — мол, ждёте рая, дурачки, а на земле всё терпите,— а мы чего ждём? а мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница — счастье для потомков или счастье на том свете? Обоих не видно.

— Никогда ты не был марксистом!

— К сожалению был.

— Су-бака! Стерьва!.. Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь — одному работать?

— Найдёшь кого-нибудь.

— Ко-го??— нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.

— Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной жёлто-коричневой жидкостью обливать, а я им — добывай атомную бомбу? Нет!

— Да не им — н а м, дура!

— Кому — нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне — не нужна. Я, как и Земеля, к мировому господству не стремлюсь.

— Но шутки в сторону!— спохватился опять Рубин.— Значит, пусть зтот прыщ отдаёт бомбу Западу?..

— Ты спутал, Лёвочка,— нежно коснулся отворота его шинели Глеб.— Бомба — на Западе, её там изобрели, а вы воруете.

— Её там и кинули!— блеснул коричнево Рубин.— А ты согласен мириться? Ты — потворствуешь этому прыщу?

Нержин ответил в той же заботливой форме:

— Лёвочка! Поэзия и жизнь — да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же — твой Алёша Карамазов, он защищает Перекоп. Хочешь — иди бери.

— А ты — не пойдёшь?— ожесточел взгляд Рубина.— Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

— А по-твоему — воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

— Как изолировать?! Идеалистический бред!

— Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали — надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!

Рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке, а Нержин — лицом и увидел быстро подходившего к ним Доронина.

— Тихо, Руська идёт. Не поворачивайся,— шёпотом предупредил он Рубина. И продолжал громко, ровно: — Слушай, а тебе такой не встречался там шестьсот восемьдесят девятый артиллерийский полк?

— А кого ты там знал?— ещё не переключась, нехотя отозвался Рубин.

— Майора Кандыбу. С ним был интересный случай...

— Господа!— сказал Руська Доронин весёлым открытым голосом.

Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро:

— Что скажете, инфант?

Ростислав смотрел на Рубина непритворённым взглядом. Лицо его дышало чистотой:

— Лев Григорьич! Мне очень обидно, что я — с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным? Господа! Я пришёл вам предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебренников?

Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком. Все сердца привлекал его необидчивый нрав, удатливость, быстрота. Немногие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно; если стоящие у сетки пропускали мяч, он от задней черты бросался под него „ласточкой", отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колена и локти. Нравилось и необычное имя его — Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, заросла пышными русыми волосами.

Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что в учётной карточке ГУЛага он числился как фрезеровщик; на самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь Руську спас Двоетёсов, взявший его учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переимчивый Руська быстро научился. За шарашку он держался как за дом отдыха — в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с весёлым азартом: как он *доходил* в сырой шахте, как стал делать себе *мостырку* — ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы два термометра никогда не расходились больше, чем на десятую долю градуса (двумя термометрами его хотели разоблачить).

Но со смехом вспоминая своё прошлое, которое за двадцать пять лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своём главном качестве — донного парня, два года водившего за нос сыскной аппарат МГБ. Достойный крестник этого учреждения, он так же не гнался за славой, как и оно.

И так в пёстрой толпе обитателей шарашки он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошёл до двадцати самых влиятельных зэков шарашки, составлявших её общественное мнение,— и с глазу на глаз каждому из них возбуждённо сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага.

Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено пятью сменёнными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках,— майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счёл, что Доронин — юноша, и потому нестоек, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному.

Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали, например, в секретариат, а там говорили: „да-да, зайдите к майору Шикину"), Ростислав просидел у него три часа. За это время, слушая нудные наставления и разъяснения *кума*, Руська своими зоркими ёмкими глазами изучил не только крупную голову майора, поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиковых ботинках, мраморный настольный прибор и шёлковые оконные шторы; но и, мысленно переворачивая буквы, перечёл заголовки на папках и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за полтора метра, и ещё успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе.

Порою Доронин простодушно уставлял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться.

Руська понимал, что Шикин действительно может услать его на Воркуту, если он откажется стать стукачом.

Не Руську одного, но всё поколение руськино приучили считать „жалость" чувством унизительным, „доброту"— смешным, „совесть"— выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не то, чтоб это всё в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него был сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно — стать стукачом, а — что из этого получится? Уже обогащённый бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлёстких тюремных споров, этот юноша не выпускал из виду и такую ситуацию,

когда все эти архивы МГБ будут раскапывать, и всех тайных сотрудников предавать позорному суду.

Поэтому согласиться на сотрудничество с кумом было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем — отказаться от него.

Но кроме всех этих расчётов Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки!

И для правдоподобия уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился.

После его ухода Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую — такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных зэков и исповедывался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы МГБ и выявить подлинных стукачей.

Другого подобного признания не помнили зэки, даже старые. Руську недоверчиво спрашивали — зачем он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:

— А когда над этой сворой будет Нюрнбергский процесс,— вы за меня выступите свидетелями защиты.

Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал ещё одному-двум,— и никто не пошёл и не донёс куму! Уже одним этим полста́ людей утвердились выше подозрений.

Событие с Руськой долго волновало шарашку. Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал *материалов*. Руське приходилось что-нибудь давать. Он обходил своих доверителей и жаловался:

— Господа! Воображаете, сколько стучат другие, если я вот месяца не служу — а как Шикин жмёт! Ну войдите в положение, подбросьте матерьяльчика!

Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с зэками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять (говорила она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало известно), и сама завалила двоих — одного на связи с де-

вушкой, другого — на изготовлении чемодана из казённых материалов. Руська бессовестно оболгал её, что она берёт от зэков письма на почту и ворует из шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы — полковник МВД, решительно протестовал,— по неотразимой силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная.

Иногда Руська стучал и на зэков — по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чём не признаешься.

Так Руську постигла судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донёс, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к причту стукачей.

Не подозревал и Нержин, любящий Руську со всеми его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга — Нержина собственная, это выяснится, отнять её никто не отнимет,— а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное принесенную ему вольной девушкой.

Ещё сохраняя на губах вкус клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался тёплым, как весной. В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно-тяжело.

Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора о том объявлять (раньше было нельзя, чтоб не сорвалось). И, овеянный восхищением Клары, оттого чувствуя себя втройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора — и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута

набок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с космой волос были доверчиво открыты нехолодному дню.

По строгому лицу Нержина, как видел Руська на подходе, и потом по хмурому обёрнутому лицу Рубина, они говорили о серьёзном. Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно.

Что ж, сглотнув обиду, он толковал им:

— Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд должен быть оплачен? Так вот, завтра каждый Иуда будет получать свои серебренники за третий квартал этого года.

— Резинщики!— возмутился Нержин.— Уже и четвёртый отработали — а они только за третий? Почему такая задержка?

— Очень во многих местах надо подписывать платёжную ведомость,— объяснял Руська извиняющимся тоном.— В том числе буду получать и я.

— И тебе тоже платят за третий?— удивился Рубин.— Ведь ты же там служил только полквартала?

— Ну что ж, я — отличился!— с подкупающей открытой улыбкой оглядел обоих Руська.

— И прямо наличными?

— Боже упаси! Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счёт. Меня спросили — от какого имени вам прислать? Хотите — от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня покоробил. Я попросил — нельзя ли от имени Клавы Кудрявцевой? Всё-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина.

— И по сколько же за квартал?

— Вот тут-то самое остроумное! Осведомителю по ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте, а неумолимая почта берёт три рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлёт,— эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господа?

В этот самый час когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на тёмную мостовую улицы Матросская Тишина, с булыжников которой скаты автомашин слизали последние остатки снега прошлых дней,— в 318-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.

318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна к двери была продолговата, и вдоль стен её, справа и слева, упнулись по три железных кровати гуськом и шатко высились плетёные этажерки с книгами. Средней полосою комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие проходы, один за другим стояли два стола: ближе к окну —„диссертационный", где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописного текста, а дальше — общий, за которым сейчас Оленька гладила, Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папильотки. У дверной стены ещё оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской (умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неуютно, холодно, далеко).

На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался „бразильский флаг". У неё были ещё и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей-коммунисткой в Венгрии.

Следующая в ряду постель Люды была растерзана (Люда не так давно встала), одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шёлковое платье и чулки. И персидский коврик висел над кроватью. Сама же Люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины ещё мальчиком. Она подробно вспоминала ресторанную обстановку, какой был оркестр, какие блюда, гарниры и пили что.

Утюг Оленьки был включён в патрон-„жулик" над столом и оттуда свисал шнур. (Чтобы не расходовали

электричества, утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены, розеток не ставили, а за „жуликами" охотилась вся комендатура.) Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей глажкой. Жакет этот и юбка к нему были её всё. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе двадцати копеек — не доплачивала, стена у её кровати была завешана географической картой — зато вот этот вечерний наряд был весь хорош, никакой части его не приходилось стыдиться.

Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами лица и в очках старше своих тридцати лет, пыталась на столе, качаемом глажкой, и под этот назойливый оскорбляющий её рассказ писать письмо. Попросить другого помолчать она вообще считала неделикатным. Останавливать же Люду было — её распалять, она бы только сдерзила. Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов, да и приехала-то больше для развлечения. Отец её, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа.

Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла ещё особую пикантность. У себя в Воронеже уже бывшая три месяца замужем и сходившаяся потом кой с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у неё прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю, а когда потрясённый поэт вымолил у неё *первый* в её жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению не на русском.

Муза писала письмо своим глубоко-пожилым родителям в далёкий провинциальный город. Папа и мама её до сих пор любили друг друга как молодожёны, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла всё оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И так же любила их дочь, и привыкла писать им часто и подробно о каждом своём переживании.

Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера последней пятницы, с Музой случилось такое, от чего затмилась её неутомимая повседневная работа над Тургеневым — работа, заменявшая ей всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у неё было самое гадкое — будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя ни отмыть, ни скрыть, ни показать — и существовать с этим тоже нельзя.

Случилось, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться, её вызвали в канцелярию общежития, а там сказали: „да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату". А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иваныч и Сергей Иваныч. Мало стесняясь поздним временем, они держали её час, и два, и три. Они начали с расспросов, с кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре (хотя знали, конечно, не хуже её). Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого Муза не нашлась возразить, это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей *помогать* им, то есть в определённое время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете, по уговору,— и там отвечать на определённые вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде.

И с этого — началось долгое, ужасное! Они стали говорить с ней всё грубее, покрикивать, обращаться уже на „ты": „Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностранная разведка вербует!" „Нужна она иностранной разведке, как кобыле пятая нога..." Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут (а у неё шли последние месяцы, и диссертация была почти готова), научную карьеру ей поломают, потому что такие учёные хлюпики Родине не нужны. Это очень её напугало: разве был для них труд выгнать её из аспирантуры? Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и как бы невзначай держали наведенным на Музу. От пистолета у Музы, наоборот, страх миновал. Потому что в конце концов остаться живой, но выгнанной с чёрной характеристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпусти-

ли её думать до вторника, вот до ближайшего вторника, двадцать седьмого декабря,— и взяли подписку о неразглашении.

Они уверяли, что им всё известно, и если она комунибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.

Каким несчастным выбором они остановились именно на ней?.. Теперь обречённо она ждала вторника, не в силах заниматься,— и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего счастья.

Оленька слушала с улыбкой, раз поперхнулась водой от смеха. Оленька, хотя и поздновато из-за войны, в двадцать восемь лет была наконец счастлива-счастлива-счастлива и всем прощала всё, пусть каждый добывает себе счастье как может. У неё был возлюбленный, тоже аспирант, и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увести.

— Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчещена!

Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки.

Худенькая Эржика всё это время, лёжа, читала „Избранное“ Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения — служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны ещё не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг.

И всё-таки она опустила книгу и, перекатясь на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. („Разве в Советском Союзе бывают безработные?“) То, будто, чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. „Но ведь это — явление *момен-*

тальное?"— спрашивала Эржика. (Она хотела сказать — временное.)

Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода — надо правдоподобно изобразить, что она-таки была невинна. И стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь.

Змейка страдания прошла по лбу Музы. Неделикатно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати.

Оленька же весело воскликнула:

— Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?

— Конечно ду-у-уры!— смеялась Люда.— А это так просто!

Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта:

— Он не член ССП, пишет всё на испанском, и как у него будет дальше с гонорарами?— ничего твёрдого!

Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол.

— Как?— спросила она.— И ты... и в Советском Союзе тоже выходят замуж *по счёту*?

— Привыкнешь — поймёшь,— тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на её голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэта.

— Девочки, я делаю такое выведение...— начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Музы на пол близ неё — и ахнула — и вздёрнула ноги на кровать.

— Что? Пробежала?— с искажённым лицом крикнула она.

Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал.

Здесь, в 318-й комнате, иногда даже и днём, а по ночам особенно нахально, отчётливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на её кровать и будут бегать прямо по ней. Днём ещё, при смехе подруг, страх её миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и клялась, что если доживёт до утра — будет уходить со Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за

своё. Две недели назад колебания Эржики решились: не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысёнка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно-примирённую острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в Венгерское посольство и просила поселить её на частной квартире. Посольство запросило министерство иностранных дел СССР, министерство иностранных дел — министерство высшего образования, министерство высшего образования — ректора университета, тот — свою адмхозчасть, и хозчасть ответила, что частных квартир пока нет, жалоба же о якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую. Всё же посольство обнадёживало Эржику, что комнату ей дадут.

Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своём бразильском флаге как экзотическая птица.

— Девочки-девочки,— жалобным распевом говорила она.— Вы мне все так нравитесь! Я бы ни за что не ушла от вас мимо крыс.

Это была и правда и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что-то непонятное творилось на её родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и ещё других венгерских студентов вместе с ним — отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма.

В запертую дверь раздался их условный стук („утюга не прячьте, свои!“). Муза поднялась и, прихромнув (колено ныло у неё от раннего ревматизма), откинула крючок. Быстро вошла Даша — твёрдая, с большим кривоватым ртом.

— Девчёнки! девчёнки!— хохотала она, но всё ж не забыла накинуть за собой крючок.— Еле от кавалера отвязалась! От кого? Догадайтесь!

— У тебя так жирно с кавалерами?— удивилась Люда, роясь в чемодане.

Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и всё какие-то не настоящие.

— Подожди! — Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу.— От Челюстей?

„Челюсти“ был аспирант, заваливший три раза подряд диалектический и исторический материализмы и, как безнадёжный тупица, отчисленный из аспирантуры.

— От Буфетчика! — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно-собранных тёмных волос и повесила её на колок. Она медлила снять дешёвенькое пальтецо с цыгеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери.

— Ах — того??!

— В трамвае еду — он заходит,— смеялась Даша.— Сразу узнал. „Вам до какой остановки?“ Ну, куда денешься, сошли вместе. „Вы теперь в той бане уже не работаете? Я заходил сколько раз — вас нет“.

— А ты б сказала...— смех от Даши перебросился к Оленьке и охватывал её как пламя,— ты б сказала... ты б сказала... ! — Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать, однако не мня разложенного там костюма.

— Да какой буфетчик? Какая баня? — добивалась Эржика.

— Ты б сказала... ! — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли её. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку.

Засмеялись и Люда, и ничего не понявшая Эржика, и сумрачное некрасивое лицо Музы разошлось в улыбке. Она сняла и протирала очки.

— Куда, говорит, идёте? Кто у вас тут, в студенческом городке? — хохотала и давилась Даша.— Я говорю... вахтёрша знакомая!.. рукавички!.. вяжет...

— Ру?-ка?-вички?..

— ...вяжет!!!..

— Но я хочу знать! Но какой буфетчик? — умоляла Эржика.

Оленьку хлопали по хребту. Отсмеялись. Даша сняла пальто. В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе. Отвернув цветистое покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно — с особой взбитостью подушки и подушечки, с кружевной накидкой,

с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике:

— Это ещё осенью было, зáтепло, до тебя... Ну, где жениха искать? Через кого знакомиться? Людка и посоветовала: иди, мол, гулять в Сокольники, только одна! Девушкам всё портит, что они по двое ходят.

— Расчёт без промаха!— отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли.

— Вот я и пошла,— продолжала Даша, но уже без веселья в голосе.— Похожу — сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего по наружности. Кто же? Оказывается, буфетчик, в закусочной работает. А я где?.. Стыдно мне так стало, не сказать же, что аспирантка. Вообще учёная баба — страх для мужчин...

— Ну — тáк не говори! Так можно чёрт знает до чего дойти!— недовольно возразила Оленька.

В мире, таком прореженном и таком опустевшем, после того как вытолкнули из него железное туловище войны; когда зияли только ямки чёрные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на пять-на десять-на пятнадцать лет,— этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами „учёная баба" нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч науки, который оставался их роковому женскому поколению на всякие личные неудачи.

— ...Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал — в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...

Всё оживление покинуло Дашу. Тёмные глаза её смотрели тоскливо.

Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.

Когда-то, ещё в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось отцепиться от колхоза и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать кряду, надоело ей учиться до ломоты в голове — а зачем она училась? Простая бабья радость — ребёнка родить, и вот не от кого, не для кого.

И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку:

— Нет, девчата, жизнь — не роман...

При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, упрашивает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: для чего ж училась девка?— за агронома вышла. Это и любая звеньевая может... А с другой стороны, Даша чувствовала, что и кандидат наук она будет ненастоящий, стреноженный, скованный, что вузовская работа будет ей — неподъёмный заклятый клин; что и кандидатом не посмеет и не сумеет она проникнуть в те высшие свободные круги науки.

Идущих в науку женщин, их целую жизнь хвалили, хвалили, так напевали, так много им обещали — и тем жёстче было теперь упереться в глыбу лбом.

Ревниво досмотрев за развязной удачливой соседкой, Даша сказала:

— Людка! А ты — ноги помой, советую.

Люда осмотрелась:

— Ты думаешь?

В нерешительности вытащила спрятанную электроплитку и включила в „жулик" вместо утюга.

Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у неё новокупка из белья, не того размера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.

Так все стихли, и можно было бы наконец вникнуть по-настоящему в письмо. Но нет, оно не выписывалось! Муза перечитала последние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела...— нет, письмо не удавалось! В письме была ложь, и мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то чёрное — но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжёт?..

Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух — и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила ручку и подперлась ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается!— выбор целой жизни, и ни с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти помощи!— подписка о неразглашении! А во вторник опять предстать перед теми двумя, уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Как хорошо было жить ещё позавчера! А теперь всё погибло. Потому что они ведь не уступят. Но и ты не уступишь. Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке — и всё время помнить, что ты — до-

носчица, что у тебя есть кличка — Ромашка или какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девчёнок или на своего профессора?..

Муза сняла с зажмуренных глаз слёзы, стараясь незаметно.

— А где Надюшка?— спросила Даша.

Никто не отозвался. Никто не знал.

Но у Даши за шитьём пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде:

— Как вы думаете, девочки, сколько можно? Ну, пропал без вести. Ну, пошёл пятый год после войны. Ну, уж кажется, можно бы и отсечь, а?

— Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь!— со страданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава её сероклетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки.— Только так и любят! Истинная любовь перешагивает гробовую доску!

Сочные чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку:

— После гробовой доски? Это, Муза, что-то трансцендентное. Память, нежные воспоминания,— но любовь?

— Вот именно: если человека нет вообще — как же его любить?— вела своё Даша.

— Я б ей, если б могла, честное слово, сама бы похоронное извещение прислала: что убит, убит, убит и в землю закопали!— горячо высказалась Оленька.— Что за проклятая война — пять лет прошло, а она всё на нас дышит!

— Во время войны,— вмешалась Эржика,— очень многие загнались далеко, за океан. Может, и он там, живой.

— Ну, вот это может быть,— согласилась Оля.— Та́к она может надеяться. Но вообще, у Надюши есть такая тяжёлая черта: она любит упиваться своим горем. И только своим. Ей без горя даже чего-то бы в жизни не хватало.

Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала её. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит.

— Так слушайте, девчёнки,— веско сказала она теперь.— Всё это нас Надюшка морочит, врёт. Ничего она не считает мужа мёртвым, ни на какой возврат из без

вести она не надеется. Она просто *знает*, что муж её жив. И даже знает, где он.

Все оживились:

— Откуда ты взяла?

Даша победно смотрела на них. Давно уже за её редкую приглядчивость её прозвали в комнате следователем.

— Слушать надо уметь, девки! Хоть раз обмолвилась она о нём как о мёртвом? Не-а. Она даже „был“ старается не говорить, а как-нибудь так, без „был“ и без „есть“. Ну, если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нём порассуждать как о мёртвом?

— Но что ж тогда с ним?

— Да неужели не ясно? — вскрикнула Даша, вовсе откладывая шитьё.

Нет, им не было ясно.

— Он жив, но бросил её! И ей стыдно в этом признаться! И придумала —„без вести“.

— А вот в это поверю! в это поверю!— поддержала Люда, хлюпая за занавеской.

— Значит, она жертвует собой во имя его счастья!— воскликнула Муза.— Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!

— Тогда чего ей ждать?— не понимала Оленька.

— Да всё правильно, молодец Дашка!— выскочила Люда из-за занавески без халата, в одной сорочке, голоногая, отчего казалась ещё стройней и выше.— Заело её, потому и придумала, что — святоша, что верна мёртвому. Ни черта она не жертвует, дрожит она, чтоб кто-нибудь её приласкал, да никто её не хочет! Вот бывает так, ты будешь идти — на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай — а никому не нужна.

И ушла за занавеску.

— А к ней Щагов ходит,— сказала Эржика, с трудом выговаривая „щ“.

— Ходит — это ещё ничего не значит!— уверенно отбивала невидимая Люда.— Надо, чтобы клюнул!

— Как это —„клюнул“?— не поняла Эржика.

Рассмеялись.

— Нет, вы скажите так,— гнула Даша своё.— Может, она ещё надеется отбить мужа у той назад?..

В дверь раздался тот же условный стук —„утюга не прячьте, свои“.

Все замолчали. Даша откинула крючок.

Вошла Надя — волочащимся шагом, с вытянутым постарелым лицом, как бы желая своим видом подтвердить все худшие насмешки Люды. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом, не сказала „вот и я“ или „ну, что тут нового, девочки?“. Она повесила шубу и молча прошла к своей кровати.

Эржика снова читала. Муза опять убрала лицо в ладони. Оленька укрепляла розовые пуговицы на своей кремовой блузке.

Никто не нашёлся ничего сказать. Желая сгладить неловкость тишины, Даша протянула, будто заканчивая:

— Так что, девчата, жизнь — не роман...

50

После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обречёнными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решёткой. Она поехала из Лефортова через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдина передать ей три заветных слова мужа.

Но Сологдиной она не застала дома (мудрено было её застать, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье). Передать записку через соседей было тоже немыслимо: из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят.

И если Надя поднималась по крутой, совсем тёмной днём лестнице возбуждённая, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей её тайное горе,— то опускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положенной в бесцветный и безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержавшиеся на ней, но до сих пор неявные очертания,— так и в душе Нади после неудачного захода к Сологдиной стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились ещё на свидании, но не сразу дали себя знать.

Он сказал: „не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма“... Он может уехать!.. И даже эти свидания, раз в год — прекратятся?.. А как же тогда Надя?..

И что-то о верховьях Ангары...

И ещё — не стал ли он верить в бога?.. Была какая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уведёт в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Характер его изменится, и он вернётся совсем-совсем незнакомым человеком...

Но, главное, он угрожающе говорил: „не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока", „срок — это условность". На свидании Надя воскликнула: не верю! не может быть! Но вот шёл час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекла всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь эти мысли неотгонно жалили её, и нечем было от них защититься.

Если тюремный срок Глеба никогда не кончится — чего же ждать? Справедливо ли это: превратить свою жизнь в приставку к жизни мужа? Всем даром существа своего пожертвовать — для ожидания пустоты?

Хорошо, хоть у них т а м нет женщин!..

Что-то было в сегодняшнем свидании ещё не названное, не понятое — и непоправимое...

И в студенческую столовую она тоже опоздала. Ещё этого мелкого невезенья не хватало, чтоб довершить её отчаяние! Сразу вспомнилось, как два дня назад её оштрафовали на десять рублей за то, что она сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас порядочные деньги, это — сто рублей дореформенных.

На Стромынке под начинающимся приятным снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами „Казбек" вроссыпь. Надя подошла и купила у него две папиросы.

— А где же — спичек?— спросила она сама себя вслух.

— На, тётя, чиркни!— охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку.— За огонёк денег не берём!

Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же, на улице, со второй спички прикурила папиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала прохаживаться. Курение ещё не стало её привычкой, но и не первая это была её папироса. Горячий дым причинял ей боль и отвращение — и тем отсасывало немного тяжесть от сердца.

Откурив половину папиросы, Надя бросила её и поднялась в 318-ю комнату.

Тут она брезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы её сейчас никто ни о чём не спрашивал.

Она села — и глаза её оказались вровень с четырьмя стопами её диссертации на столе — четырьмя экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией — как-то устраиваться с фотокопиями чертежей, первую переделку, вторую, и вот возврат для третьей.

А вспомнив, как безнадёжно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную спецразработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на восьми страницах. Сдать её в отдел кадров надо было ко вторнику.

Писать всё, как есть — значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы.

Или — тотчас разводиться...

Как она и решила.

Но это было и тяжко, и способ долго-хитрый.

Эржика застелила постель, как могла (у неё это ещё не очень хорошо получалось: и стелиться, и стирать, и гладить она училась впервые на Стромынке, всю прежнюю жизнь такую работу за неё делала прислуга), накрасила перед зеркалом не губы, а щёки, и ушла заниматься в Ленинку.

Муза пробовала читать, но чтение у неё не шло. Она заметила мрачную неподвижность Нади и поглядывала на неё с беспокойством, не решаясь, однако, спросить.

— Да! — вспомнила Даша. — Я сегодня слышала, говорят „книжных" денег за этот год заплатят вдвое больше.

Оленька встрепенулась:

— Шутишь?

— Девчёнкам наш декан сказал.

— Подожди, это сколько же будет? — Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которое деньги способны принести лишь людям, не привыкшим и не жадным к ним. — Триста да триста — шестьсот, семьдесят да семьдесят — сто сорок, пять да пять... Хо-го? — вскричала она и захлопала в ладоши. — Семьсот пятьдесят!! Вот это да!

И она чуть запела. У неё был голосок.

— Теперь ты купишь себе полного Соловьёва!

— Ещё чего! — фыркнула Оленька. — На эти деньги можно сшить платье гранатовое, креп-жоржетовое, воображаешь? — Она подхватила края юбки кончиками пальцев. — И двойные воланы?!

Оленька многим ещё не была обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у неё вернулся к этому интерес. У неё мать очень долго болела, в позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю сорок второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс, год пропустить, работать, потом перевестись на заочное.

Но ничего этого не было сейчас на её пухленьком милом двадцативосьмилетнем личике. Напротив, её задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против неё на своей койке Надя.

И Оля спросила:

— Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла весёлая.

Слова были сочувственные, но смысл их был — раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос выдаёт наше чувство.

Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки. Но и глаза её видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку — рубиновый цветочек, в отворот жакета, как душилась.

И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты.

И ничуть не разгладясь лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила:

— Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?

Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол. Оленька выпрямилась, пухленький подбородок её приобрёл твёрдые очертания. Она сказала чётко:

— Видишь ли, Надя. Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак — не имеем права.

Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода была эта посадка.

— А ты не можешь понять, — тихо, убито выговорила она, — как бывает тяжело на душе?

— Как раз я *очень* могу понять! Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся.

Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого ещё можно заменить, ибо муж заменим,— значил больше, чем убитый отец, и убитый брат, и умершая мать, если этих трёх заменить нам не дано природой?

Она сказала и ещё постояла пряменько, строго глядя на Надю.

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях — своих. Поняла — но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, всё-таки, однократно. Она сотрясает, но — единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-помалу-помалу она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идёшь на свидание.

Неразмычное же Надино горе — всегда вокруг, всегда держит, оно — в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся — не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна.

И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию:

— Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать. Сколько можно?

Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:

— Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не тебе одной, что ты расстраиваешься?

Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте „Лауэ доказал“ на „учёным удалось доказать“, или „как убедительно показал Лангмюр“ на „как было показано“. Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым — нужно было непременно указать полностью его имя-отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой.

— Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Баландина...

— Нашего советского?

— ...и всю его теорию. А я на ней всё строила. А оказалось, что он... что его...

В ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях надин муж, ушёл внезапно и академик Баландин.

— Ну, нельзя же так близко к сердцу! — настаивала Оленька. Было и тут у неё что возразить: — А у меня — с Азербайджаном?..

Ничто никогда не располагало эту среднерусскую девушку стать ирановедом. Поступая на исторический, она и мысли такой не держала. Но её молодой (и женатый) руководитель, у которого она писала курсовую по Киевской Руси, стал за ней пристально ухаживать и очень настаивал, чтобы в аспирантуре она тоже специализировалась по Киевской Руси. Оленька в тревоге перекинулась на итальянский ренессанс, но и Итальянский Ренессанс был не стар и, оставаясь с нею наедине, тоже вёл себя в духе Возрождения. Тогда-то в отчаянии Оленька перепросилась к дряхлому профессору-ирановеду, у него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если б в газетах не всплыл вопрос об Иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость её Ирану, — то диссертацию вернули на переделку.

— Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рассказывает...

Но Муза уже не слышала. На счастье своё она углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг неё не существовало.

— ...на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у неё в диссертации три раза, что „Цвейг — космополит“, и что диссертантка это одобряет. Так её вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть!

— Фу, ещё в химии расстраиваться! — отозвалась и Даша. — Что ж тогда нам, политэкономам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот, Стужайла-Олябышкин, спасибо, выручил!

Действительно, всем было известно, что Даша получила уже третью тему для диссертации. Первая тема у неё была „Проблемы общественного питания при социализме“. Тема эта, очень ясная лет двадцать назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было надёжно известно, что семейные кухни в скором времени ото-

мрут, домашние очаги погаснут и раскрепощённые женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях,— тема эта стала с годами туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что если кто и обедал ещё в столовой, как например сама Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процветали только две формы общественного питания: ресторанная, но в ней недостаточно ярко были выдержаны социалистические принципы, и — самые паршивые забегаловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Вождю Трудящихся эти двадцать лет недосуг был высказаться о питании. И потому опасно было рискнуть сказать что-нибудь своё. Даша помучилась-помучилась, и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по недомыслию не из того списка: „Торговля предметами широкого потребления при социализме". Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно,— но практически эти предметы по сравнению со стальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли лёгкая промышленность всё более развиваться или всё более отмирать — не знал даже учёный совет, вовремя отклонивший тему.

И вот тут добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе: „Русский политэконом XIX века Стужайла-Олябышкин".

— Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь?— со смехом спрашивала Оленька.

— Вот именно, не могу найти!

— С твоей стороны просто неблагодарно!— Оленька старалась теперь развеселить Надю, на самом же деле обдавала её своим предсвиданным оживлением.— Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю: это был благообразный старикашка-помещик с неудовлетворёнными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в домашнем халате у окна, в той, знаешь, глухой провинции ларинских времён, над которой невластны бури истории и, глядя, как девка Палашка кормит поросят, неторопливо рассуждал,

Как государство богатеет,
И чем живёт...

Цыпочка! А вечером играл в карты...— Оленька залилась.

Она рдела. Она вся была — нарастающее счастье.

И Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель веероподобного прикрытия (Надя со страдательным подёргиванием косилась в её сторону). Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.

— И обратите внимание, девочки,— внезапно сказала Муза, как она умела, естественно, будто все только и ждали её замечания.— Чем отличаются русские литературные герои от западно-европейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя не корми, не пои — он ищет справедливости и добра. А?

И опять углубилась в чтение.

— Да ты б хоть свету попросила,— пожалела её Даша. И включила.

Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на её постель и сказала с отвращением:

— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость?

— Да пожалуйста, не убирай!— вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами.— И не смей больше притрагиваться к моей постели!!— Её голос взлетел до крика.— И не читай мне морали!!

— Ты должна понимать!— сорвалась теперь Надя и всё невысказанное кричала ей.— Ты оскорбляешь нас!.. Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия?

— Завидуешь? У тебя не клюёт?

Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении.

Оленька раскрыла рот тоже напасть на Люду, но в „вечерних удовольствиях“ ей послышался обидный намёк. И она остановилась.

— Нечему завидовать!— глухо крикнула Надя оборванным голосом.

— Если ты заблудилась, вместо монастыря в аспирантуру,— всё звончей кричала Люда, чуя победу,— так сиди в углу и не будь свекровью. Надоело! Старая дева!

— Людка! Не смей!— закричала Даша.

— А чего она не в своё дело... ? Старая дева! Старая дева! Неудачница!

Очнулась Муза и, угрожающе в сторону Люды размахивая томиком, тоже стала кричать:

— Мещанство живёт! торжествует! и процветает!

Все они опять стали кричать своё, не слушая других и не соглашаясь с ними.

С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и рыданий, Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.

Люда снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.

Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с неё туфли и завернула углы одеяла ей на ноги.

Потом раздался ещё стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с жёлтым воротником и новой походкой пошла к двери.

(Эта походка была — на радость, но и — на борьбу...)

Так 318-я комната отправила в мир один за другим два прелестных и прелестно одетых соблазна.

Но, потеряв с ними оживление и смех, комната стала совсем унылой.

Москва была огромный город, а идти в ней было — некуда...

Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони.

Даша сказала:

— Глупая Ольга! Ведь поиграет и бросит. Мне говорили, что у него другая где-то есть. И как бы не ребёнок.

Муза выглянула из ладоней:

— Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой — она может оставить его.

— Как не связана!— кривой улыбкой усмехнулась Даша.— Какую же тебе ещё связь...

— Ну, ты всегда всё знаешь! Ну, откуда ты это можешь знать?— возмутилась Муза.

— Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остаётся?

— О! Ничего! Ничего это ещё не доказывает!— отвергла Муза.

— А теперь только так. Иначе не удержишь.

Девушки помолчали, каждая при своём.

Снег за окном усиливался. Там уже темнело.

Тихо переливалась вода в радиаторе под окном.

Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре.

Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый сильный мужчина. Зачем уж так было его отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил её в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бывают. Потискал бы где-нибудь у заборчика.

— Музочка, пойдём в кино!— попросила Даша.

— А что идёт?

— „Индийская гробница".

— Но ведь это — чушь! Коммерческая чушь!

— Да ведь в корпусе, рядом!

Муза не отзывалась.

— Тоскливо же, ну!

— Не пойду. Найди работу.

И вдруг опал электрический свет — остался только багрово-тусклый накалённый в лампочке волосок.

— Ну, этого ещё... ! — простонала Даша.— Фаза выпала. Повесишься тут.

Муза сидела, как статуя.

Не шевелилась Надя на кровати.

— Музочка, пойдём в кино!

Постучали в дверь.

Даша выглянула и вернулась:

— Надюша! Щагов пришёл. Встанешь?

51

Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро.

Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном городе Москве.

Уж не первый раз тут, в общежитии, её хлестали такими словами: свекровь! брюзга! монашенка! старая дева! Всего обиднее была несправедливость этих слов. Какая она была раньше весёлая!..

Но легко ли даётся пятый год лжи — постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос резчает, суждения становятся бесчувственными? Может быть и вправду она сейчас — невыносимая старая дева? Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму — в общежитии, среди равных, только и научаешься узнавать в себе плохое.

Кроме Глеба уже никто-никто не может её понять...

Но и Глеб тоже не может её понять...

Ничего он ей не сказал — ка́к ей быть, ка́к ей жить...

Только, что — сроку конца не будет...

Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло всё, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своём ожидании, в своей недоступности для других.

Сроку — конца не будет!

И значит, она ему — не нужна... И, значит, она губит себя только...

Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой — и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно — и всё же различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки.

И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филёнку двери. И ещё прежде, чем Даша спросила: „Щагов пришёл. Встанешь?“— Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрученную юбку, гребёнкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли.

В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела её поспешность и отшатнулась.

А Даша кинулась к людиной постели, быстро подоткнула и убрала.

Впустили гостя.

Щагов вошёл в старой фронтовой шинели внакидку. В нём всё ещё сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманны.

— Здравствуйте, уважаемые. Я пришёл узнать, чем вы занимаетесь без света,— чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!

(Какое облегчение!— в жёлтом полумраке не были видны опухшие от слёз глаза.)

— Так если б не сутёмки, вы б, значит, не пришли?— в тон Щагову ответила Даша.

— Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды,— (он будто был здесь перед тем!),— морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провёл, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.

Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось — какие-то заученные выражения.

— Разрешите присесть?

— Пожалуйста,— ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слёз.

Ей, наоборот, нравились его самообладание, снисходительная манера, низкий твёрдый голос. От него распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.

— Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?

Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало её.

Ответила Даша.

— Собираемся идти в кино. Не знаем, с кем.

— А — какая картина?

— „Индийская гробница".

— О-о, непременно сходите. Как рассказывала одна медсестра, „много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина!".

Щагов удобно сидел у общего стола:

— Но позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не всё гладко с родителями? Вы удручены последним ре-

шением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.

— Какое решение?— малозвучно спросила Надя.

— Решение? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. Тут — богатые возможности, может быть кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочёл чужое письмо, и всякие такие вещи...

(И ещё будут искать, и ещё копаться! О, как всё надоело! Куда вырваться?..)

— А, Муза Георгиевна? Вы ничего не скрыли?..

— Что за низость!— воскликнула Муза.

— Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на совете мехмата... ?

Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай всё явнее выказывал её намерения.

...То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.

(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!)

То звала послушать, как она будет выступать в концерте.

(Но так естественно!— хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель!)

То однажды у неё оказался „лишний" билет в кино, и она пригласила его.

(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то вдвоём... Опереться на чью-то руку.)

То в день его рождения она подарила ему записную книжечку — но с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за ухватки? почему бежать?

(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!)

Он же догнал её в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил её — а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать.

(Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.)

А теперь этот игривый удар портфелем?

Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно-сдержан и с нею. Он знал, как завязчивы все эти женские истории, как трудно из них потом вылезать. Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи — кто так непреклонен, чтоб ей отказать?

И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошёл в 318-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться.

...Курьёзу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.

— Ну, так будет свет или нет?— нетерпеливо воскликнула уже и Муза.

— Однако я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера её оштрафовали на десять рублей — и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.

Едва Щагов произнёс эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.

— Муза! Последний раз — идёшь?— с болью вскликнула Даша, взявшись за пальто.

— Иду!— глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке.

Щагов и Надя не оглянулись на уходящих.

Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало страшновато.

Щагов поднёс клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки ещё одной десятирублёвки...

Он встал из шинели (она осела на стуле) и беспорывно обходя мебель, подошёл к Наде, много выше её. В свои большие руки свёл её маленькие.

— Надя!— в первый раз назвал её просто по имени.

Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка её, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в её голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чём только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.

Она увидела очень близко его твёрдое прямое лицо, где правая и левая части ни чёрточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица.

Он разнял пальцы и скользнул по её локтям, по шёлку блузки.

— Н-надя!..

— Пу-усти́те! — голосом усталого сожаления отозвалась Надя.

— Как мне понять? — настаивал он, переводя пальцы с её локтей к плечам.

— В чём — понять? — невнятно переспросила она.

Но не старалась освободиться!..

Тогда он сжал её за плечи и притянул.

Жёлтая полумгла скрыла пламя крови в её лице.

Она упёрлась ему в грудь и оттолкнулась.

— Ка-ак вы могли подумать??..

— А шут вас разберёт, что о вас думать! — пробормотал он, отпустил и мимо неё отошёл к окну.

Вода в радиаторе тихо переливалась.

Дрожащими руками Надя поправила волосы.

Он дрожащими руками закурил.

— Вы — знаете? — раздельно спросил он, — как — горит — сухое — сено?

— Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла.

— До небес! — подтвердил он.

— Кучка пепла, — повторила она.

— Так зачем же вы швыряете-швыряете-швыряете огнём в сухое сено?

(Разве она швыряла?.. Да как же он не мог её понять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей.)

— Пойдёмте! Куда-нибудь! — потребовала она.

— Никуда мы не пойдём, мы будем здесь.

Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук — и эта манера тоже нравилась Наде.

— Нет, прошу вас, пойдёмте куда-нибудь? — настаивала она.

— Здесь — или нигде, — безжалостно отрубил он. — Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.

52

Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого „московского патриотизма“, как называли сами они. Надя ходила

среди них, какие ни будь её успехи перед профессором, в существах второго сорта.

Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы:

— А вы, собственно... из какой местности?

Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперёд и назад:

— Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности. Из посёлка Блиндажный.

Давно замечено, что наша жизнь входит в нашу биографию не равномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что́ бы потом ни случалось с человеком даже внешне значительного, всё это чаще — только спад или инерция того толчка: мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем то, что единожды прозвучало в нас. Такой порой у иных бывает даже детство — и тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других — первая любовь, и именно эти люди распространили миф, что любовь даётся только раз. Кому пришлась такой порой пора их наибольшего богатства, почёта, власти — и они до беззубых дёсен шамкают нам о своём отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова — фронт.

Щагов хватанул войны с жарком и с ледком. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на *гражданку* только в сорок шестом году. И за все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживёт до вечера: он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в сорок третьем и даже в сорок четвёртом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожжённых домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще.

Переживания сапёрного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских всё забывших улицах у него сохранилось, что только слово „солдат" — порука искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта.

После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было — на нём, и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданской жизни, им ещё двенадцать месяцев после возвращения платили „оклад по воинскому званию", зарплату ни за что.

Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством. Ещё и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая в далёких тылах.

Эти бывшие солдаты были теперь все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнавали друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь.

Стоило взяться за голову и подумать: за что же дрались? Этот вопрос многие и задавали — но быстро попадали в тюрьму.

Щагов не стал его задавать. Он не был из тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что всё идёт, как идёт, остановить этого нельзя — можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь исполкомовца уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдёт работать на фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке.

Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только — для революционной страны. И обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали права его безразувной службы, права приобщиться к завоёванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь ещё один раз: в бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат — провести своё право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью.

И при всём том — улыбаться.

Щагов так спешил на фронт в сорок первом году, что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была — теоретическая механика, уйти в неё была у него мысль и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке — ко всякой науке, ко всем наукам — после повышения ставок.

Что ж, он размерил свои силы ещё на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре. Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивая, в чём демобилизовался: сапоги, диагоналевые брюки, гимнастёрку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохранённое обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным.

Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. (Но и ему с тем же упорством лгала, что её Глеб без вести пропал на фронте.)

Надя сама не заметила, как и когда она впала во всё это — „лишний" билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошёл в комнату и ещё препирался с Дашей,— она сразу поняла, что пришёл он к ней и что неизбежно случится что-то.

И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь,— порвав червонец, стояла обновлённая, налитая, готовая к живой жизни — сейчас.

И сердце её не ощущало здесь противоречия.

А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться.

Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж.

Услышав о невесте, Надя подломленным шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем.

Было жаль её. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить: бедная аспиранточка, без связей и без будущего — что могла бы она ему дать? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога (он взял бы его иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути). Хотелось поделиться: несмотря на то, что его невеста живёт в праздных условиях, она не очень испорчена. У неё хорошая квартира в богатом закрытом доме, где селят одну знать. На лестнице швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это в Союзе? И, главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше?

Но он только подумал обо всём этом, не сказал.

А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно:

— Вот и хорошо. У вас невеста. А у меня — муж.

— Без вести пропавший?

— Нет, не пропавший,— прошептала Надя.

(Как опрометчиво она выдавала себя!..)

— Вы надеетесь — он жив?

— Я его видела... Сегодня...

(Она выдавала себя, но пусть не считают её девчёнкой, виснущей на шее!)

Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что „без вести пропавший“ почти всегда значило *перемещённое лицо,*— и если такое лицо перемещалось обратно в Союз, то только за решётку.

Он подступил к Наде и взял её за локоть:

— Глеб?

— Да,— почти беззвучно, совсем безразлично проронила она.

— Он что же? Сидит?

— Да.

— Так-так-так!— освобождённо сказал Щагов. Подумал. И быстро вышел из комнаты.

Стыдом и безнадёжностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова.

Пусть — убежал. Она довольна, что всё сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью.

По-прежнему еле тлел волосок лампочки.

Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. В отвратительной горечи папиросы она нашла удовольствие.

От неумения закашлялась.

На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова.

Как он из комнаты бросился! До того испугался, что шинель забыл.

Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.

Ах, и она ведь его играла когда-то в юности — но понимала разве?.. Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово — disperato — отчаянно...

Прислонившись лбом к оконному переплёту, Надя ладонями раскинутых рук касалась холодных стёкол.

Она стояла как распятая на чёрной крестовине окна.

Была в жизни маленькая тёплая точка — и не стало.

Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей.

И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина.

Disperato! Это бессильное отчаяние, в порыве встать с колен и снова падающее! Это настойчивое высокое ре-бемоль — надорванный женский крик! крик, не находящий разрешения!..

Ряд фонарей уводил в чёрную темноту будущего, до которого дожить не хотелось...

Московское время, объявили после этюда, шесть часов вечера.

Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошёл, без стука.

Он нёс два маленьких стаканчика и бутылку.

— Ну, жена солдата!— бодро, грубо сказал он.— Не унывай. Держи стакан. Была б голова — а счастье будет. Выпьем — з а в о с к р е с е н и е м ё р т в ы х!

53

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской

работе, потому что в воскресенье *вольняшки* дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые всё-таки тоже были в известном смысле люди,— и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семёрка работала и по воскресным вечерам,— но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутризонных караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде,— по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткою, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству в эти часы устраивать прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа „баян", „гитара", „балалайка" и „губная гармоника", а тем более прочих укрупнённых типов,— недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте. (Оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключённых каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол.) Тем более не могло быть речи о допущении в общежитии тюрьмы радиоприёмников или самых драненьких патефонов.

Правда, заключённым разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрёпанных разрозненных томов вроде тургеневской „Муму", „Писем" Стасова, „Истории Рима" Моммзена — и велели их обращать среди

арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора — верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что зэкам разрешалось безо всякого ограничения лежать в своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдёж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили „на оправку" дважды в сутки по команде,— могут оценить значение этого вида бессмертной свободы.) Полнота отдыха была в том, что время было *своё,* а не казённое. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжёлые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дёргал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир — Вселенная с её звёздами, планета с её материками, столицы с их блистанием и вся держава с её банкетами одних и производственными вахтами других,— всё это проваливалось в небытие, превращалось в чёрный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при жёлто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот чёрный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп — запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Так же не мог-

ли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребёнка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчётами, интригами, продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто ещё не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей,— здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветлённые головы.

Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

54

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже

стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли ещё, а отаптывались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Каган, чёрно-кудлатый низенький „директор аккумуляторной", как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из тёмной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере „жили лучше, чем на воле").

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений — боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), чтобы резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ёрзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донёс бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей добрых к нему или безразличных.

Однако в Госбезопасности за это упрямство на него затаили. Ото всего на свете не убережёшься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошёл и Каган пять очных ставок, но никто не дока-

зал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас — пункт 12-й той же статьи — *недоносительство.* За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал иа шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудиую минуту, когда его изгнали с поста „заместителя старшего по бараку" и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета мииистров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможиость, ои берётся осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчёт был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очеиь-очень плохо и ои просит его спасти. Но выдающееся военное изобретеиие стоило того, чтобы автора иемедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфиио, и разиые чиины с голубыми и сииими петлицами приезжали к иему и торопили его воплотить дерзкую техиическую идею в готовую коиструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (ззка). Но тут Каган резонио возразил, что сам он — не судовой механик и, естественио, нуждается в таковом. Ещё за два месяца привезли и судового механика (зэка). Кагаи вздохиул и сказал, что ие радио является его специальиостью. Радио-инженеров в Марфине было миого, и одиого тотчас прикомаидировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто ие мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: „Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедиые катера. И ие мие лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать." И, действительио, их троих услали на военио-морскую шарашку, Кагаи же за выиграиное время пристроился в аккумуляториой, и все к нему привыкли.

Сейчас Кагаи задирал лежащего иа кровати Рубииа — но издали, так чтобы Рубин ие мог достать его пииком иоги.

— Лев Григорьич,— говорил ои своею ие вполие разборчивой вязкой речью, зато и ие торопясь.— В вас

заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

— Исаак, идите на́ ...,— отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто „на Маяковского", оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

— Нет, серьёзно, Лев Григорьич! — не отставал вцепчивый Каган.— Всем очень хочется ещё раз послушать вашу талантливую „Ворону и лисицу".

— А кто на меня куму стукнул? Не вы ли? — огрызнулся Рубин.

В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую „Ворону и лисицу", полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на „бис" и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы „речевого лада" и „форманты", пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке зэков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришёл в тюрьму.

Как всегда под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку с едой лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий „рука" и „ручной труд" — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занёс над Марром резак); потом лежали там „Саламандры" Чапека; сборник рассказов весьма прогрессивных (то есть сочувствующих коммунизму) японских писателей; „For Whom

the Bell Tolls" (Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись); роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский; и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы Лоренц.

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о „Вороне и лисице", уснащённой хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, средь них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

— Просим, Лёва! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших всё ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трёпку нервов, допросы у „Шишкина-Мышкина". Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

— Товарищи! Меня поражает ваша несерьёзность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но всё ещё не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым на-

чать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

— Правильно!

— А над кем суд?

— Над кем бы то ни было! Всё равно правильно! — раздавались голоса.

— Забавно! Очень забавно! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку.

— Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства,— объявил Рубин (он сам ещё не придумал).— Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции.— (Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал со Всесоюзной и Главной Военной прокуратурами.) — Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он всё больше отчуждался от утреннего свидания и всё больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашёл в нём поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатою.

— Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шёл — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

— Улыба! Довольно просвещаться! А то потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

— Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову:

— Избранник народа — высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот („Все не умеем! Все учимся!") был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушёл под одеяло и ещё подушкой сверху прикрыл своё счастливое упоённое лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на ёлку и незаметно подарила её Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго.

— Амантай! Амантай! — звал он Булатова.— Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

— Я бы пошёл, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Абрамсона, и ещё двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

— А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане? Катай с одним!

— И то правда,— согласился Нержин.— Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Введите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

— Суд! Суд! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

— Аще взыду на небо — ты та́м еси, аще сниду во ад — ты та́м еси,— снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов.— Аще вселюся в преисподняя моря,— и там десница твоя настигнет мя! — (Потапов прихватил закона божьего в гимназии, и в чёткой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса.)

Снизу же, из-под заседателя, послышался отчётливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

— Валентуля! — грозно крикнул Нержин.— Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой!

— В подсудимые его! — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

— Довольно! — с ожесточением вырывался Прянчиков. — Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда. — Я... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже всё придумал. Его тёмно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова:

— Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казённым адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, взлез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

— Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и весёлость. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке.

Нержин объявил скрипуче:

— Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфино объявляю открытым. Слушается дело... ?

— О́льговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочёл:

— Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно... Чёрт возьми, секретарь, почему приблизительно?.. Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачтёт прокурор.

Рубин заговорил с такой лёгкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

„Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечён в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И. С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне изобличённому хану Кончаку,— и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчётным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся „шеломами испить воды из Дону",— не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

„Братья, сего есмы искали, а потягнем!"
(следственное дело, том 1, лист 36).

Губительное для нашей Родины значение поражения объединённой новгород-северской-курской-путивльской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

„Дал ми Бог притомити поганыя,
но не воздержавши у́ности."
(следственное дело, том 1, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь „уности“, то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идёт о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель *Бородин* Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как *Автор Слова*, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И. С. *Ольговича* не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях

метеорологических:

„Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют...“,

и тактических:

„Ото всех сторон враги подходят,
Обступают наших отовсюду“,
(там же, том 1, листы 123, 124,
показания Автора Слова),

но и ещё более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

„Хочешь, возьми коня любого!“
(там же, том 1, лист 233).

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

„Всё пленником себя ты тут считаешь.
А разве ты живёшь как пленник,
а не гость мой?“
(там же, том 1, лист 281)

и ниже:

„Сознайся, разве пленники та́к живут?“
(там же, том 1, лист 300).

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

„За отвагу твою, да за удаль твою
Ты мне, князь, полюбился.“
(следственное дело, том 2, лист 5).

Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго д о сражения на реке Каяле:

„Ты люб мне был всегда“
(там же, лист 14,
показания свидетеля Бородина),

и даже:

„Не врагом бы твоим, а союзником верным,
А другом надёжным, а братом твоим
Мне хотелось бы быть...“
(там же).

Всё это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется *Ольгович* Игорь Святославич, 1151 года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награждённый орденами Варяга 1-й степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что

он совершил гнусную измену Родине, соединённую с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством,

то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях *Ольгович* виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьёй 208-й УПК РСФСР, настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду".

Рубин перевёл дух и торжествующе оглядел зэков. Увлечённый потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам и у дверей, подстёгивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях, злобно настроенных к власти.

Спиридон под жёсткой седорыжей щёткой волос, растущих у него безо всякой причёски и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времён, попавшем в плен — но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора он переживал ещё раз всё, что произошло с ним самим и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

— Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей,— всё так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин,— переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

„Конечно, конечно",— подкивнул на всё согласный заседатель.

— Товарищи судьи!— мрачно воскликнул Рубин.— Мне мало, что остаётся добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространённое гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдаться в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совсем печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и ещё многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же „измену родине"— за *добровольную* сдачу в плен.

— Далее,— гремел прокурор,— мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

„Ты одна, голубка-лада,
Ты одна...“

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстаёт перед нами как шкурник! А *для кого* плясались половецкие пляски? — спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда...

— Позвольте! — выступил от своей койки кудлатый Каган.— Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

— Комендант! Выведите этого подкупленного агента! — постучал Нержин. Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с лёгкостью принял нападение.

— Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

„Веют стяги к р а с н ы е в Путивле“.

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Ерошку, на защиту родного города,— а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор „любую из красавиц“ — так почему ж он, гад, её не берёт? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый побег из плена и его „добровольное“ возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали „коня любого и злата“ — вдруг добровольно возвращается на родину, а это всё бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

— Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам! Кроме того, в частном определении суда: оперу „Князь Игорь" как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодёжи изменнические настроения — со сцены снять! Свидетеля по данному процессу Бородина А. П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И ещё привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Прянчиков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

— *Тан пи,* господа! *Тан пи*! У нас пещерный век или двадцатый? Что значит — измена? Век ядерного распада! полупроводников! электронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

— Простите, это уже — защита? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону.— Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

— Конечно, конечно, Владимир Эрастович! — поддержал Нержин.— Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Ши-

шачок на его шерстяном колпачке ещё заострял лицо и придавал ему настороженность.

— Я хочу указать,— сказал профессор математики,— что князь Игорь был бы разоблачён ещё до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. „Союзником верным и другом надёжным" для Кончака он у ж е б ы л до похода! В 1180 году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы —„бяшеть серен велик". Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185 году, наконец,— кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем „учинил вельможею". А Кончаковна привезла потом Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности ещё и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, *заметал следы.*

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Всё та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

— Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите!— возмутился Исаак Каган.

— Нечего его, гада, защищать!— крикнул Двоетёсов.— Один Бэ — и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории,— и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок.

— Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту!— сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом

аудиторию.— Товарищи судьи! Как благородный казённый адвокат я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя.— Он тянул и немного шамкал.— Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять её. Однако мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? (Тут надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим мягче смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

— Какое же, Исаак?— кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

— Статья 20-я, пункт „а".

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный!

— Что ж она гласит?— выкрикивали со всех сторон непристойные предположения.— Вырезать ...?

— Почти, почти,— невозмутимо подтверждал Исаак.— Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт „а" — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову набок, маленький, кудлатый, отошёл к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

— Как? Как?— заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки.— Изгнать? И есть такой пункт?

— Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание!— кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

Он хотел, чтоб его ирония коснулась только несправедливых судов, люди же не знали, где остановиться, и насмехались над самым дорогим — над социализмом.

56

А Абрамсон, всё так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал „Монте-Кристо". Он лежал спиной к происходящему в комнате. Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылок, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек Абрамсон, когда-то нехрипнущий, легко будоражимый оратор, стал бесчувственен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящён судьбе *потока* сорок пятого-сорок шестого годов. Абрамсон теоретически мог признать трагичность судьбы пленников, но всё же это был только поток, один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны („живые лжесвидетели", как шутил Потапов), но всё же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путём своей жизни.

Всякий поток зэков в НКВД, как и всякое поколение людей на Земле, имеет свою историю, своих героев.

И трудно одному поколению понять другое.

Абрамсону казалось, что эти люди не шли ни в какое сравнение с теми — с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избирали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии — такой выбор давался каждому из них. Те люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения её. Но это „племя младое незнакомое" через тридцать лет после Октября входило в камеру и с мужицким матом запросто повторяло то самое, за что ЧОНовцы стреляли, жгли и топили в гражданскую войну.

И потому Абрамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Абрамсон (как он сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях. Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если испытывал он в молодости, то потерял давно. Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были ещё писавшими их невольно обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах: смысл всякой газеты становился ему ясен, едва он пробегал её заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передач, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь,— наружно он воспитал себя в полном пренебрежении окружающим. Так вовремя не дострелянный, вовремя не доморенный, вовремя не дотравленный троцкист Абрамсон любил теперь из книг не те, которые жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

...Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали „Монте-Кристо"... На Ангару, в далёкое глухое село Дощаны, куда вёл через тайгу трёхсотвёрстный санный путь, они из мест, ещё на сотню вёрст глуше, собирались под видом встречи Нового года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная „буржуйка" из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзали насквозь. Среди ночной тишины время от времени брёвна сруба издавали гулкий треск — как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял шапку, освободив колышащийся чёрный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских идиом („врага надо знать"). Сатаневич вообще играл под лидера. Расстреляли его потом кажется на Воркуте во время забастовки.

В том докладе Сатаневич признавал, что в обуздании консервативного класса крестьянства посредством драконовских сталинских методов — есть рациональное зерно: без такого обуздания эта реакционная стихия хлынет на город и затопит революцию. (Сегодня можно признать, что и несмотря на обуздание, крестьянство всё равно хлынуло на город, затопило его мещанством, затопило даже сам партийный аппарат, подорванный чистками,— и так погубило революцию.)

Но увы, чем страстнее обсуждались доклады, тем больше расстраивалось единство утлой кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казённой посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбинам и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, кололи руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Политической бури в Советском Союзе они ожидали с месяца на месяц!

Потом пели славные революционные песни: „Варшавянку", „Над миром наше знамя реет", „Чёрного барона".

Ещё спорили о чём попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезла её в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стрижеными кудрями: „Терпеть не могу интеллигенции! Она отвратительна мне во всех своих „тонкостях" и „сложностях". Человеческая психология гораздо проще, чем её хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача — освободить человечество от духовной перегрузки!"

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных — Патрушев, бывший крымский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызывающе воскликнул: „Зачем вы обедняете будущее общество? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы?"

Какой поднялся шум! С какой яростью захлестали цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество!.. О нём говорили так легко!..

Взошло солнце Нового Девятьсот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядрёное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре к обсаженной ёлками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было — их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия... Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был твёрд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Абрамсона, уцелевшей под оранжерейным колпаком шарашек, выросло никому не видимым древом пониманье и память тех лет...

Так глаза Абрамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Абрамсон познакомились года три назад в бутырской камере — той же, где сидел и Потапов. Абрамсон кончал тогда свою первую тюремную десятку, поражал однокамерников ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же, скрыто, жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Абрамсона вскоре-таки по недосмотру освободили — но ровно на столько времени, чтобы семья стронулась с места и переехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Абрамсона. И как только семья переехала,— его посадили, учинили ему единственный допрос: действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он уже полностью отсидел и отбыл и даже намного пересидел всё приговорённое,— Особое Совещание присудило ему за это ещё десять лет. Руководство же шарашек по большой всесоюзной арестантской картотеке узнало о посадке своего старого работника и охотно *выдернуло* его вновь на шарашки. Абрамсон был привезен в Марфино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Абрамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время ещё до-

черью, что это был сон, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность — тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Абрамсона к именинному столу — решено было праздновать день рождения. Абрамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков,— кто будет. От сознания, что придётся натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведенное воскресенье, что нужно покидать забавную книгу и идти на какие-то именины, Абрамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведёт там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он как всегда бесплоден, необогащающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязываться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорблённые мысли так же невозможно открыть „молодым" арестантам, как показать им свою жену обнажённой.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке по-настоящему близок Абрамсону, хотя ещё предстояло отчитать его за сегодняшний не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологдина и Прянчикова Абрамсон не любил. Но как ни странно, Рубин и Сологдин считались друзьями — из-за того ли, что вместе лежали на бутырских нарах. Администрация тюрьмы тоже не очень их различала и под ноябрьские праздники вместе гребла на „праздничную изоляцию" в Лефортово.

Делать было нечего, Абрамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнётся между кроватями Потапова и Прянчикова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что́ читает Абрамсон, и сказал:

— Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть „Монте-Кристо", не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параши из камеры, о чём Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает,— разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в камерах шмонов, тогда как их полагается производить каждонедельно, и вот результат: под-

коп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из опыта Лубянки, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил чётко-разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Абрамсон знал за ним эту тяжёлую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

— Так я приду,— ответил он и, улегшись поудобнее, продолжил чтение.

57

Нержин пошёл помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

...Люблю я час
Определять обе-дом, ча-ем
И у-жи-ном...—

цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква.

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlage он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашках сосредоточился и усовершился по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутёмном проходе между своей кроватью и кроватью Прянчикова — приятный полумрак создавался от того, что верхние матрасы загораживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по радиусам) проход был в начале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым: там были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки и миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущённого молока, сгущённого какао и двух яиц (часть даров принёс и всучил Рубин, постоянно получавший из дому передачи и всегда делившийся ими) — нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была — колпачок от термоса, две — лабораторные химические стаканчики, а две Потапов склеил из промасленной бумаги). Ещё на два бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати к своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Всё смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Землея нежился: на верхней койке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлобной улыбкой, повествовал мордвину Мишке через два воздушных пролёта:

— Если хочешь знать — всё началось с полкопейки.

— Почему с полкопейки?

— Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом,— ты маленький был,— над каждой кассой висела табличка: „Требуйте сдачу полкопейки!“ И монета такая была — полкопейки. Кассирши её без слова отдавали. Вообще на дворе был НЭП, всё равно, что мирное время.

— Войны не было?

— Да не войны, вот чушка! Это до советской власти было, значит,— *мирное время.* Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов работали, не как сейчас. И ничего,

справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут — уже сверхурочные выписывают. И вот, что́, ты думаешь, сперва исчезло? Полкопейки! С неё и началось. Потом — медь исчезла. Потом, в тридцатом году,— серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет — стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейки Христа ради просит, а требует —„граждане, дайте рубль!". В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано — даже не спрашивай, смеются: мелочник! А сами — дураки! Полкопейки — это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают — это значит, накакать тебе на голову. За полкопейки не постояли — вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, тоже наверху, один арестант отвлёкся от книжки и сказал соседу:

— А дурное было царское правительство! Слышь,— Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился — и он, остолоп, извинился. А ну пойди потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился!

— У нас бы её, дуру, через кишку на третий день накормили, да ещё второй срок бы намотали за провокацию. Где это ты вычитал?

— У Горького.

Лежавший неподалеку Двоетёсов встрепенулся:

— Кто тут Горького читает?— грозным басом спросил он.

— Я.

— На кой?

— А чего читать-то?

— Да пойди лучше в клозет, посиди с душой! Вот грамотеи, гуманисты развелись, драть вашу впрегрёб.

Внизу под ними шёл извечный камерный спор: *когда лучше садиться.* Постановка вопроса уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому. (В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключённых, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать-пятнадцать миллионов человек, зэки были уверены, что их — двадцать и даже тридцать миллионов. Зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин, кроме власти и МВД.) „Когда лучше садиться" — имелось в виду: в молодости или в преклонные годы? Одни (обычно — молодые) жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы:

здесь успеваешь понять, что значит жить, что́ в жизни дорого, а что — дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, отбухав десятку, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, садящийся к старости, только рвёт на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь — цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно — пожилые) в таких случаях не менее жизнерадостно доказывают напротив, что садящийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни всё (в воспоминаниях зэков это „всё" суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он „и на бабу не захочет".

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто — утешая себя, кто — растравляя, но истина никак не вышелушивалась из их аргументов и живых примеров. В воскресенье вечером получалось, что садиться всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром — ясно было, что садиться — всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор „когда лучше садиться" принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью. Этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину „сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам" лилась бы кровь, если бы та истина задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шёл как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришёл токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла сперва почему-то о Сестрорецке, а потом — о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик сам никогда там не был, но шурин его был печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз всё обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошёл до дрожи голоса, до личных оскорблений, он уже гром-

костью затоплял все разговоры в комнате — спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда у окружающих — и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то, что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь — и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор — когда правильно встречать вторую половину XX столетия — 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и упёрся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

— Когда *наши* будут начинать первый полёт на Луну, то перед стартом, около ракеты будет, конечно, митинг. Экипаж ракеты возьмёт на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полёте максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на „хорошо" и на „отлично". Из трёх членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Прянчиков, который с полотенцем и мылом пробегал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

— Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

— А как?

Прянчиков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

— Первыми на Луну полетят — американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравёр сидел на кровати у Сологдина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравёр был сорока лет, но при ещё молодом лице почти совсем седой. Это очень красило его.

Сегодня гравёр находился на взлёте. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести её через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям и все они — в восторге. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятье! — где ж было добыть справедливые? Худо ли, хорошо ли, но гравёр сохранял для вечности правду — крики души о том, что сделал Сталин с миллионами русских *пленников*. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твёрдо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само сегодняшнее свидание прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, и скоро должны были выявиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вёл длинный рассказ этому не глупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине врастяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древне-русского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он был на взлёте. В себе он слышал пение как бы вселенской победы — своей победы над целым миром, своего всесилия. Освобождение его было теперь вопросом одного года. Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, вызорено от муки.

И, ища выход своему торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извивам чьей-то чужой безразличной для него истории, рассказываемой этим вовсе не глупым, но совершенно средним человеком, у которого ничего подобного не могло случиться, как у Сологдина.

Он часто слушал людей так: будто покровительствуя и лишь из вежливости стараясь не подать в том виду.

Сперва гравёр рассказывал о двух своих жёнах в России, потом стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провёл новое для Сологдина сравнение между жен-

щинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек: что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они всё время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нём недостаточное благородство, то недостаточное мужество,— русскую возлюбленную всё время ощущаешь как равную тебе, и это неудобно; наоборот, немка в руках любимого гнётся как тростиночка, её возлюбленный для неё — бог, он — первый и лучший на земле, вся она отдаётся на его милость, она не смеет мечтать ни о чём, кроме как угодить ему,— и от этого с немками гравёр чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его в шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки ухватил его за брюки и спросил:

— Лев Григорьич! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок? Это — прогрессивно?

Рубин вырвался, пошёл дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

— Лев Григорьич! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились быть надсмотрщиками, „руководителями“, партийными главарями. Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна. Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье!— вот при таком социализме я согласился бы жить!

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лёг на живот, снова к словарям.

58

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трёх составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зелёной трофейной бумаги, тоже фирмы „Лоренц“. Сологдин

и Рубин сели на кровать к Потапову, Абрамсон и Кондрашёв — к Прянчикову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними уже дремал Земеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был надин хворост — не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Ещё была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущённого молока. А за спиной Нержина в тёмной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спиртного, вымененная у ззков химической лаборатории на кусок „классного" гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырём, а потом закрашен сгущённым какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

— А что, господа?— картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин.— Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом.

— Я — вчера, с немцами,— буркнул Рубин, не любя пафоса.

Что Сологдин называл иногда общество *господами,* Рубин понимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. Нельзя ж было подумать, что человек на тридцать третьем году революции может произносить это слово серьёзно. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращённые во многом. Рубин старался зто всегда помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

(А для Абрамсона, кстати, так же дико было и то, что Рубин пировал с немцами. У всякого интернационализма есть же разумный предел!)

— Не-ет,— настаивал Сологдин.— Я имею в виду настоящий стол, господа!— Он радовался всякому поводу употребить это гордое обращение. Он полагал, что гораздо большие земельные пространства предоставлены „товарищам", а на узком клочке тюремной земли проглотят „господ" и те, кому это не нравится.— Его

признаки — тяжёлая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрусталя, ну, и нарядные женщины, конечно!

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

— Вы ж понимаете, хлопцы, пока

Гроза полуночных дозоров

не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Все же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

— Давно,— вздохнул Нержин.

— Вообще, не при-по-ми-на-ю!— отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу,— не мог точно сказать, была ли эта женитьба его собственная или то было в гостях.

— Нет, почему же?— оживился Прянчиков.— *Авэк плезир!* Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я...

— Подождите, Валентуля,— придержал Потапов.— Итак... ?

— За виновника нашего сборища!— громче, чем нужно, произнёс Кондрашёв-Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо.— Да будет...

Но гости ещё не потянулись к бокалам, как Нержин привстал — у него было чуть простора у окна — и предупредил их тихо:

— Друзья мои! Простите, я нарушу традицию! Я...

Он перевёл дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

— ...Будем справедливы! Не всё так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле?

— Да, собственно, самой-то воли частенько не было,— усмехнулся Абрамсон. Если не считать детства, он-таки провёл на воле меньшую часть жизни.

— Друзья! — увлёкся Нержин. — Мне тридцать один год. Уже меня жизнь и баловала и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня, может быть, и ещё всплески пустого успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми. Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

— Ви-тий-ством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Ни-ки-ты,
У осторожного И-льи.

Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата.

— А градус — есть! — одобрил Рубин. — Браво, Андреич!

— Градус есть, — подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении всё хвалить.

Нержин засмеялся:

— Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях! Не упомню другого.

— Нет, почему, Глебчик? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?

Абрамсон устало усмехнулся:

— Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдётся?

— А вот этот экземпляр, — Рубин показал на Нержина, — утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

— Вы говорили так? — быстро спросил Кондрашёв.

— Ой, пижон! — звонко рассмеялся Прянчиков. — Как же можно сравнивать?

— Само устройство тела и способ соединения доказывают, что разница здесь огромная! — воскликнул Сологдин.

— Нет, тут глубже, — опротестовал Рубин. — Тут

великий замысел природы. Мужчина довольно равнодушен к качеству женщин, но необъяснимо стремится к количеству. Благодаря этому мало остаётся совсем обойденных женщин.

— И в этом — благодетельность дон-жуанизма! — приветственно, элегантно поднял руку Сологдин.

— А женщины стремятся к качеству, если хотите! — потряс длинным пальцем Кондрашёв.— Их измена есть поиск качества! — и так улучшается потомство!

— Не вините меня, друзья,— оправдывался Нержин,— ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Равенство! С тех пор, конечно...

— Вот ещё это равенство! — буркнул Сологдин.

— А чем вам не угодило равенство? — напрягся Абрамсон.

— Да потому что нет его во всей живой природе! Ничто и никто не рождается равными, придумали эти дураки... *всезнайки*.— (Надо было догадаться: энциклопедисты.) — Они ж о наследственности понятия не имели! Люди рождаются с духовным — неравенством, волевым — неравенством, способностей — неравенством...

— Имущественным — неравенством, сословным — неравенством,— в тон ему толкал Абрамсон.

— А где вы видели имущественное равенство? А где вы его создали? — уже раскалялся Сологдин.— Никогда его и не будет! Оно достижимо только для нищих и для святых!

— С тех пор, конечно,— настаивал Нержин, преграждая огонь спора,— жизнь достаточно била дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной — во всём?

— Вас никто и не винит! — метнул словами и глазами Кондрашёв.— Не спешите сдаваться!

— Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст,— присудил Сологдин. (Он был на шесть лет старше.)

— Теоретически Глебка прав,— стеснённо сказал Рубин.— Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины. Но обнять свою жену после того, как её обнимал другой? — бр-р! биологически не могу!

— Да господа, просто смешно обсуждать!— выкрикнул Прянчиков, но ему, как всегда, не дали договорить.

— Лев Григорьич, есть простой выход,— твёрдо возразил Потапов.— Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены!

— Ну, знаете...— беспомощно развёл Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошёл. Потапов и Абрамсон оглянулись. Нет, это был не надзиратель.

— А Карфаген должен быть уничтожен?— кивнул Абрамсон на литровую банку.

— И чем быстрей, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентьич, разливайте!

Нержин разлил остаток, скрупулёзно соблюдая равенство объёмов.

— Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника?— спросил Абрамсон.

— Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушить традицию. Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жён, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда,— а они? Выпьем — за них, приковавших себя к...

— Да! Какой святой подвиг!— воскликнул Кондрашёв.

Выпили.

И немного помолчали.

— А снег-то!— заметил Потапов.

Все оглянулись. За спиною Нержина, за отуманенными стёклами, не было видно самого снега, но мелькало много чёрных хлопьев — теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

— Даже снег нам суждено видеть не белым, а чёрным!— воскликнул Кондрашёв.

— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо,— похвалил Рубин.

— В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете... „жизнь свою за други своя". Как-то в обычной жизни — семья есть, а дружбе нет места, а?

— Это распространённое мнение,— отозвался Абрамсон.— Вот часто заказывают по радио песню „Среди долины ровныя". А вслушайтесь в её текст!— гнусное скуление, жалоба мелкой души:

Все други, все приятели
До чёрного лишь дня.

— Возмутительно!!— отпрянул художник.— Как можно один день прожить с такими мыслями? Повеситься надо!

— Верно было бы сказать наоборот: только с чёрного дня и начинаются други.

— Кто ж это написал?

— Мерзляков.

— И фамильица-то! Лёвка, кто такой Мерзляков?

— Поэт. Лет на двадцать старше Пушкина.

— Его биографию ты, конечно, знаешь?

— Профессор московского университета. Перевёл „Освобождённый Иерусалим".

— Скажи, чего Лёвка не знает? Только высшей математики.

— И низшей тоже.

— Но обязательно говорит: „вынесем за скобки", „эти недостатки в квадрате", полагая, что минус в квадрате...

— Господа! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав! — захлёбываясь и торопясь, как ребёнок за столом у взрослых, вступил Прянчиков. Он ни в чем не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нём мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались как с подростком.— Ведь это же проверено: нас предаёт именно тот, кто с нами ест из одного котелка! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек... Потом я вошёл в семью крупного бизнесмена, а его познакомили с одной французской графиней...

— Да-а-а?— поразился Сологдин. Графские и княжеские титулы сохраняли для него неотразимое очарование.

— Ничего удивительного! Русские пленники женились и на маркизах!

— Да-а-а?

— А когда генерал-полковник Голиков начал свою мошенническую репатриацию, и я, конечно, не только сам не поехал, но и отговаривал всех наших идиотов,— вдруг встречаю этого моего лучшего друга. И представьте: именно он и предал меня! отдал в руки гебистов!

— Какое злодейство!— воскликнул художник.

— А дело было так.

Почти все уже слышали эту историю Прянчикова. Но Сологдин стал расспрашивать, как это пленники женились на графинях.

Рубину было ясно, что весёлый симпатичный Валентуля, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Прянчикову против силы вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

История потянула за собой историю. Потапов вспомнил книжечку, которую вручали каждому репатрианту: „Родина простила — Родина зовёт". В ней прямо было напечатано, что есть распоряжение президиума Верховного Совета не подвергать судебным преследованиям даже тех репатриантов, кто служил в немецкой полиции. Книжечки эти, изящно изданные, со многими иллюстрациями, с туманными намёками на какие-то перестройки в колхозной системе и в общественном строе Союза, отбирались потом во время обыска на границе, а самих репатриантов сажали в воронки и отправляли в контрразведку. Потапов своими глазами читал такую книжечку, и хотя сам он вернулся независимо от всякой книжечки, его особенно надсаждало это мелкое гадкое жульничество огромного государства.

Абрамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварились в потоке пленников, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, и теперь они мало интересовались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своём конце стола они натолкнули Кондрашёва на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашёва художником малозначительным, человеком не очень серьёзным, утверждения его — слишком внеэкономи-

ческими и внеисторическими, но в разговорах с ним сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашёва не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить. Всё, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска,— всё звучало в одной из двадцати четырёх тональностей, и без колебаний Кондрашёв называл эту тональность (Рубину был присвоен „до минор"). Всё, что струилось вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность — имели цвет, и без колебаний Кондрашёв называл этот цвет (фа-диез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашёв — равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютый враг передвижников. Ничего не умел он воспроизводить наполовину, а только безгранично восхищаться или безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь („он душит меня! он отнимает надежду и жизнь!"),— но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроден был, будто сам их и занёс первый на ноты.

Сейчас Кондрашёва втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

— Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад,— отвечал Кондрашёв. Голос его был молод, в волнении переливался и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша.— Если, честно следуя природе, вы изобразите всё так, как видите,— разве это будет в с ё? А пение птиц? А свежесть утра? А эта невидимая, но обливающая вас чистота? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра — как же их сохранить и в картине? как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить!— композицией, цветом, ничего другого в вашем распоряжении нет.

— Значит, не просто копировать?

— Конечно, нет! Да вообще,— начинал увлекаться Кондрашёв,— всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любуешься натурой и думаешь: ах, как хорошо! ах, как здорово! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть! Но углубляешься в работу

и вдруг замечаешь: позвольте! позвольте! Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие! — вот в этом месте, и ещё вот в этом! А должно быть вот как! вот как!! И так пишешь! — задорно и победно Кондрашёв смотрел на собеседников.

— Но, батенька, „должно быть“ — это опаснейший путь! — запротестовал Рубин. — Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, что вы, кстати, и делаете. Все-таки, если пишешь портрет Андрей Андреича Потапова, то это должен быть Потапов.

— А что значит — показать таким, какой он есть? — бунтовал художник. — Внешне — да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такою, какова она есть? А особенно — действительность духовную? Кто это — знает и видит??.. И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нём душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни — почему мне не осмелиться изобразить их? Помочь человеку найти себя — и возвыситься?!

— Да вы — стопроцентный соцреалист, слушайте! — хлопнул в ладоши Нержин. — Фома просто не знает, с кем он имеет дело!

— Почему я должен преуменьшать его душу?! — грозно блеснул в полутьме Кондрашёв никогда не сдвигающимися с носа очками. — Да я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое общение людей, может быть, всего-то и важней этой целью: то, что увидит и назовёт один в другом — в этом другом вызывается к жизни!! А?

— Одним словом, — отмахнулся Рубин, — понятия объективности для вас и здесь, как нигде, не существует.

— Да!! Я — необъективен и горжусь этим! — гремел Кондрашёв-Иванов.

— Что-о?? Позвольте, как это? — ошеломился Рубин.

— Так! Так! Горжусь необъективностью! — словно наносил удары Кондрашёв, и только верхняя койка над ним не давала ему размаха. — А вы, Лев Григорьич, а вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже! Моё преимущество перед вами в том, что я необъективен — и знаю это! И ставлю себе в заслугу! И в этом моё „я“!

— Я — не объективен?— поражался Рубин.— Даже я? Кто же тогда объективен?

— Да никто!!— ликовал художник.— Никто!! Никогда никто не был и никогда никто не будет! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску — разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований,— разве эта сумеречная истина не носится перед нами ещё до всяких исследований? Мы берём в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичен,— и мы ещё до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится — и, конечно, она нам не нравится! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам ещё на сорок лет работы — но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова „рука". Это — объективность?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже — как было сердиться на этого чистейшего человека!

Кондрашёв не касался политики, но Нержин поспешил её коснуться:

— Ещё один шаг, Ипполит Михалыч! Умоляю вас — ещё один шаг! А — Маркс? Я уверен, что он ещё не начинал никаких экономических анализов, ещё не собрал никаких статистических таблиц, а уже знал, что при капитализме рабочий класс есть абсолютно нищающий, и самая лучшая часть человечества и, значит, ему принадлежит будущее. Руку на сердце, Лёвка, скажешь — не так?

— Дитя моё,— вздохнул Рубин.— Если б нельзя было заранее предвидеть результат...

— Ипполит Михалыч! И на этом они строят свой *прогресс*! Как я ненавижу это бессмысленное слово „прогресс"!

— А вот в искусстве — никакого „прогресса" нет! И быть не может!

— В самом деле! В самом деле, вот здорово!— обрадовался Нержин.— Был в семнадцатом веке Рембрандт — и сегодня Рембрандт, пойди перепрыгни! А техника семнадцатого века? Она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в семидесятых годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана „Анна Каренина". И что ты мне можешь предложить выше?

— Позвольте, позвольте, магистр,— уцепился Рубин.— Так по пущей-то мере в инженерии вы нам прогресс оставляете? Не бессмысленный?

— Паразит!— рассмеялся Глеб.— Это подножка называется.

— Ваш аргумент, Глеб Викентьич,— вмешался Абрамсон,— можно вывернуть и иначе. Это означает, что учёные и инженеры все эти века делали большие дела — и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели...

— Продавались!— воскликнул Сологдин почему-то с радостью.

И такие полюсы, как они с Абрамсоном, поддавались объединению одной мыслью!

— Браво, браво!— кричал и Прянчиков.— Парниши! Пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической!— (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Абрамсон выражает именно его мысли.)

— Я, кажется, вас помирю!— лукаво усмехнулся Потапов.— За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоём художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной — у них не было карандаша.

— Андреич!— вскричал Нержин.— И вы могли бы её воссоздать?

— Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

— Занятно, занятно, господа!— оживился и удобнее уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

— Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и *социального заказа.*

— Вы делаете успехи, Андреич.

— А вы, добрые господа, доедайте пирожное, для кого готовили! История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатория Бу-тюр (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУтырская ТЮРьма), мы лежали с Викентьичем рядышком сперва под нарами, потом на нарах, задыхались

от недостатка воздуха, постанывали от голодухи — и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый спросил: — А что, если бы... ?

— Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы... ? Основной образ, вошедший в название, во всяком случае принадлежал вам.

— А что, если бы... ? — сказали мы с Глебом Викентьевичем, — а что вдруг да если бы в нашу камеру...

— Да не томите! Как же вы назвали?

— Ну что ж,

Не мысля гордый свет забавить,

попробуем припомнить вдвоём этот старинный рассказ, а? — глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завзятого чтеца запылённых фолиантов. — Название это было: „Улыбка Будды".

59

УЛЫБКА БУДДЫ

Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные *сорок бочек*, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно-известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны.

После смерти просвещённой корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать там равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу.

Мастерок каменщика и тёрка штукатура помогли разделить зти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойдённое искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решётки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днём. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка: ткачи ткали холщёвые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестянщики клепали вместительные четырёх- и шестиведерные *параши* с ручками и даже крышками; плотники прорезали в дверях *кормушки*; стекольщики вставляли *глазки*; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутностекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своём роде *намордники*, закрывшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригодившейся под тюрьму, и клочок синего неба.

Соображения удобства — иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвигнули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчёта: четыре камеры — сто голов, один коридор — двести.

И так долгие десятилетия процветало зто целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах „Биржевых ведомостей" и полному отсутствию в „Известиях рабочих и крестьянских депутатов".)

Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру сперва по пятьдесят человек, а после всемирно-исторической победы над гитлеризмом и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших,

что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их всё равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пáйка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачёвская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили всё новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещённые книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная окрошка — арестанты забирались с ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись ещё передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлёбова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись,—„от параши к окну“ и „от окна к радиатору“, после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей жвакали живительною баландою — и только один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете „Труд“ и в „Вестнике московской патриархии“— жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под её нарами и матюгавшиеся на её нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахивались от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда де-

журный вертухай промычит им в кормушку: „Ну, ложись, отбой был!“

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков! Распахнулась дверь — и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, чрез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели *с вещами* в коридор. (Шёпотом зэки тут же родили промеж собой *парашу*, что их ведут на расстрел.) В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры,— была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щёлканье пальцами (то были принятые в Бутырках надзирательские сигналы „веду зэка!“) повели через многие внутренние стальные двери и спускаясь по многим лестницам,— в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зелёной метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь гласит: „Дают — хватай!“), зэки разобрали раскалённые крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, полинявшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от ежедекадных прожарок,— и разгорячённые служанки ада — две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба всё же сохранила ещё тонкий слой дублёного мяса в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром *сидеть* — те счастливчики сидели на

тёплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши оформления далеко оставляют позади себя Сандуновские, и, говорят, некоторые любознательные иностранцы специально предавали себя в руки ЧеКа, чтобы только помыться в этих банях.)

Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком,— ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытаясь проникнуть за завесу происходящего.

Давно уж их воображенье
Алкало пи-щи роковой.

Однако, их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решётки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь — и всё переменилось! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти,— нет!— четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колёсиках четыре зеркальные стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места,— но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полётом бритв касались измождённых арестантских ланит и щекотали в ухо шёпотом: „Не беспокоит?“ Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростёртые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял

сержант и под расписку выдавал каждому губку, дщерь коралловых островов, и полновесный кусок туалетного мыла „Фея сирени“.

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католичество, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное Собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани — и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось мохнатое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений проглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести ещё по миске каши. Съели и ещё по миске. Что было после — никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не чёрную — да просто, можно сказать, съедобную картошку.

— Это исключено! — запротестовали слушатели.— Это уже неправдоподобно!

— Но это было именно так! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы её есть,— но дьявольское коварство состояло в том, что принесли её не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточённым воем, нанося тяжёлые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру — и через минуту, уже пустое, оно с бренчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли ещё соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

— Дорогие братья! — сказал он.— Все вы — честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения,

несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталииа, руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьёзные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам! — нагло решили арестанты.) Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. (Остаёмся сидеть! — поникли они.) Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается:

а) молиться своим богам;

б) лежать иа койках хоть днём, хоть иочью;

в) беспрепятственно выходить из камеры в уборииую;

г) писать мемуары.

Дополнительио к тому, что вам запрещалось, вам запрещается:

а) сморкаться в казённые простыни и занавески;

б) просить по второй тарелке еды;

в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него;

г) брать без спросу со стола папиросы „Казбек“.

Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослаи в дальиие лагеря без права переписки. Понятио?

И едва лишь майор окоичил речь — ие гремящие вагонетки выкатили из прожарки бельё и драные телогрейки арестантов, иет! — ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их! — но вошли четыре молодеиькие кастелянши, потупясь, краснея, милыми улыбками подбодряя арестаитов, что не всё ещё для них потеряно, как для мужчии, — и стали раздавать голубое шёлковое бельё. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-жёлтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведеиы вновь в свою 72-ю камеру. Но, Боже, как оиа преобразилась!

Ещё в коридоре ноги их ступили иа ворсистую ковровую дорожку, замаичиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овеиули струи свежего воздуха, и бессмертиое солице сверкнуло прямо в их глаза (за хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро). Оказалось, что за ночь решётки покрашены в голубой цвет, намордники с окои сняты, а на бывшей бутырской цер-

кви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркальце, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтоб отражённый солнечный поток всё время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, ещё вечером оливково-тёмные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью: „Мы — за мир!" и „Миру — мир!"

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщёвые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки, а из-за кокетливо-отвёрнутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нём — ваза с цветами, пепельница и нераспечатанная пачка „Казбека". (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию и только сорт папирос „Казбек" нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикну́ть „Казбеком" на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая.)

Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта добела и выкрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической мадонны, а в неглубокой нише, оставленной ещё строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая тёмная статуэтка Будды — по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбается.

Сытые кашей и картошкой и потрясённые невместимым обилием впечатлений, зэки разделись и сразу заснули. Лёгкий Эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворённых дверях и следил, чтобы никто не спёр „Казбека".

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрез-вы-чайно разгорячённый капитан в белых перчатках и объявил подъём. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру ещё втолкнули круг-

лый столик под белым чехлом, на нём разложили „Огонёк“, „СССР на стройке“ и журнал „Америка“, вкатили на колёсиках два старинных кресла, тоже под чехлами — и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом „Америка“.

В томительной тишине арестанты слушали. Как нам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознаётся, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донёс начало разгадки: со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

— А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант.

И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошёл в сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа), а также — не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых партработников и чинов МГБ), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединённые Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтоб её провели в тюрьму. Желание её исполнилось. Она уселась

в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала всё так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавески.

Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.

Заключённые поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевёл вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключённых даже не курит,— один из них с развязным видом встал, распечатал коробку „Казбека", закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

— Мы *боремся* с курением,— выразительно сказал он,— ибо табак — это яд.

Ещё один заключённый пересел к столу и стал просматривать журнал „Америка", почему-то очень торопливо.

— За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал?— спросила высокая гостья.

(„Этот господин" получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом.)

Генерал-майор ответил:

— Этот человек — активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжёг русскую деревню и, простите, изнасиловал трёх русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддаётся учёту.

— Он приговорён к повешению?— воскликнула госпожа Рузвельт.

— Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорён к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком вошёл русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди — очевидно, с очередным обходом, и очень был смущён, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выпол-

нять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать ещё к одному и сказал окаменевшему от удивления:

— Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключённым вопрос — нет ли у когонибудь из них жалоб на имя Организации Объединённых Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

— Внимание, заключённые! А кому было сказано про „Казбек"? Строгача́ захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущённо загалдели:

— Гражданин начальник, так курева нет!

— Уши пухнут!

— Махорка-то в тех брюках осталась!

— Мы ж-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключённых, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

— Они единодушно протестуют против тяжёлого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внеся в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать её по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись ещё руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь свя-

щенник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе — блюдо для сбрасывания костей,— единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей — и всё, наложенное в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

— Может быть, они голодны?— высказала нелепое предположение встревоженная гостья.— Может быть, они хотят ещё?

— Добавки никто не хочет?— хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение „прокурор добавит".

Однако тефтели с рисом зэки проглотили с той же неописуемой быстротой.

Компота же в тот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала:

— Но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

— Вста-ать!— закричал он.— Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он ещё подошвою сапога дополнительно разъяснил отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы: „Как меня пытали" и „Мои лефортовские встречи".

Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощёлкиванием и позвякиванием „веду зэка" их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, всё так же переливавшийся своею вечной малахитово-рубинной красотою. Там с них снято было

всё, вплоть до шёлкового голубого белья, и произведен был особо-тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Ещё отобрали у них коралловые губки и „Фею сирени“, в чём опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками — щеки и темени. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты ещё раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскалённых крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопиных щитах лежали пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки́ закрашены тёмно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

60

В то время, как рассказывалась эта новелла, Щагов, наблестив не новые, но ещё приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное бывшее своё парадное обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Щагову вступить в нелёгкое состязание по костюмам и ботинкам) — поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомца Эрика Саунькина-Голованова на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодёжи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил орден Трудового

Красного Знамени. Собственно, молодёжь попадала туда довольно отдалённая, но папаша отпускал деньжат. Должна была там быть и та девушка, которую Щагов назвал Наде своей невестой, но с которой ещё окончательно не было решено и надо было дожимать. Из-за того Щагов и звонил Эрику, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе всё виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жену.

Домá тоже имеют свою судьбу...

Помимо того, что надо было держать и приблизить свою намеченную невесту, главной надеждой и желанием Щагова в этот вечер было — вкусно, разнообразно и досыта поесть. Он знал, что будет приготовлено всё лучшее и расставлено в непоглотимых количествах, но по заклятью званых пиршеств гости зададутся не тем, чтобы с полным вниманием и наслаждением есть, а — забавлять друг друга, мешать, выказывая пище мнимое пренебрежение. Щагову надо было суметь, занимая свою соседку и сохраняя равномерно-любезное выражение, успевая шутить и отвечать на шутки — тем временем утолять и утолять свой желудок, иссыхающий в студенческой столовой.

Там, на вечере, он не предполагал увидеть ни одного подлинного фронтовика, своего брата по минным проходам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепаханным полем — трусце, оглушительно именуемой атакою. От своих товарищей — рассеянных, канувших и убитых на конопельных задах деревни, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках,— он шёл один сюда, в тёплый благополучный мир — не для того, чтобы спросить: „сволочи! а где вы были?", но — примкнуть самому, но — наесться.

Да не устаревает ли он с этим делением людей: солдат — не солдат? Ведь вот уже стесняются люди носить и фронтовые ордена, которые так стоили и горели когда-то. Не будешь каждого трясти: „А где ты был?" Кто воевал, кто прятался — это теперь смешивается, уравнивается. Есть закон времени, закон забытья. Мёртвым — слава, живым — жизнь.

Щагов надавил кнопку звонка. Открыла ему Клара, как он догадался.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских пальто. Уже сюда достигал весь тёплый дух сборища: весёлый гул голосов, и радиола, и позвякивание посуды и смешанные радостные запахи кухни.

Клара ещё не успела пригласить гостя раздеться, как зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтоб он раздевался.

— Инк?.. Здравствуй... Как? Ты ещё не выехал?.. Сейчас же!.. Инк, ну папа обидится... Да у тебя и голос вялый... Ну что ж делать, а ты через „не могу"!.. Тогда подожди, я Нару позову... Нара! — крикнула она в комнату. — Твой благоверный звонит, иди! Раздевайтесь! — (Щагов уже снял шинель.) — Снимайте галоши! — (Он пришёл без них.) — ...Слушай, он ехать не хочет.

Вея духами не нашего небосклона, в коридор вошла сестра Клары — Дотнара, жена дипломата, как предварял Щагова Голованов. Не красотой поражала она, но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, который создал славу русского женского типа. Притом не была она толста или дородна, а просто — не пигалица, которая жмётся, вертится и подбирается, неуверенная в себе. Эта женщина ступала так, что равно ей принадлежали прежний и новый кусок пола под ногами, прежний и новый объём пространства, занятый её фигурой.

Она взяла трубку и стала ласково говорить с мужем. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, но он не спешил миновать это ароматное препятствие, он рассматривал. От отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех женщин теперь, Дотнара казалась особенно женственной: её плечи спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя. Ещё что-то странное было в её наряде: платье без рукавов, но зато полунакидка, отороченная мехом, — с рукавами, туготой обливающими у кистей, а выше разрезанными.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной чёрной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мёртвого коня.

С тех пор, как сегодня днём Рубин заказал записать ещё телефонных разговоров каждого из подозреваемых,— трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим — и в центральном узле связи министерства госбезопасности зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Иннокентию не звонить эти дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Вчера — да разве вчера? как давно-давно-давно...— после звонка в посольство в нём стало накручиваться, накручиваться. Он и не ждал, что так разволнуется, он не предполагал, что так боится за себя. Ночью его охватил страх верного ареста — и он не знал, как дождаться утра, чтобы было куда уехать из дому. Целый день он прожил в смятении, не понимал и не слышал тех людей, с которыми разговаривал. Досада на свой порыв и гадкий расслабляющий страх слоились в нём — а к вечеру выродились в безразличие: будь, что будет.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы этот бесконечный день был не воскресным, а будним. Он бы тогда на службе мог догадываться по разным признакам, продвигается или отменена его отправка в Нью-Йорк, в главную квартиру ООН. Но о чём можно судить в воскресенье — покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что его звонок был безрассудство, самоубийство — к тому же и не принесшее никому пользы. Да судя по этому растяпе атташе — и вообще недостойны были т е, чтобы их защищать.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее предчувствие, недоведомо вложенное в нас, щемило Володина, в нём росло предощущение беды — от него-то никуда и не хотелось ехать веселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала,— и отчётливые „форманты" его „индивидуального речевого лада" ложились на узкую коричневую магнитную плёнку, чтобы к утру быть превращёнными в звуковиды и мокрою лентою распростереться перед Рубиным.

Дотти не говорила в категорическом тоне, усвоенном последние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мягко просила, чтоб он приехал хоть на часик.

Иннокентий уступил, что приедет.

Однако, положа трубку, он не сразу отнял руку от неё, а замер, ещё как бы пальцами себя на ней отпечатывая, замер, чего-то не досказав.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас и которую через несколько дней собирался покинуть навсегда,— а ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, которую он водил в „Метрополь" танцевать между столиками, ту девочку, с кем они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда раззарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело (но какая мать не сопротивляется женитьбе сына?), сопротивлялся и прокурор (но какой отец с лёгким сердцем отдаст восемнадцатилетнюю прелестную дочурку?). Однако всем пришлось уступить! Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где ещё до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолёт, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте — под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском побережьи или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодожёнов совпали. Взгляд их был, что от желания до исполнения не должно быть запретов, преград. „Мы — естественные человеки,— говорила Дотнара.— Мы не притворяемся и не скрываемся: чего хотим — к тому и руку тянем!" Взгляд их был: „нам жизнь даётся только раз!" Поэтому от жизни надо было взять всё, что она могла дать, кроме пожалуй рождения ребёнка, потому что ребёнок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и ещё от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец. Искупаться на каждом курорте. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу всё, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были — те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей корки хлеба. И горе мира никак не овеяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь даётся нам только раз!..

Однако на шестом году их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая чёрной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь даётся нам только раз,— в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять — ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебарывал его в себе, как болезнь, ждал, что пройдёт — но оно не проходило. Главное — он не мог разобраться в этом чувстве — в чём оно? Как будто всё было доступно ему, а чего-то не было совсем. В двадцать восемь лет, ничем не больной, Иннокентий ощутил во всей своей и окружающей жизни какую-то тупую безвыходность.

И весёлые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали разнравливаться ему, один показался не умным, другой грубым, третий — слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару,— от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь отделил себя и отличил.

Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не пресыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении,— других таких губ он никогда не знал, не встречал, и потому Дотти

была единственная среди всех красивых и умных,— эта женщина вдруг обнаружилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью суждений.

Особенно о литературе, о живописи, о театре замечания её все теперь оказывались невпопад, драли ухо своей грубостью, непониманием — а произносились при этом так уверенно. Только молчать с ней оставалось по-прежнему хорошо, а говорить — всё трудней.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменять. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших,— то теперь в ней возникла ненасыть удержать в своём постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтобы отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами. Иннокентию было это неприятно, он говорил ей — но чем явнее расходились их намерения, тем категоричнее она была убеждена в своей правоте. Появилась ли в ней теперь?— или была, да он не замечал?— манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца — так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедовал *учитель*? И он стал искать в шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу — разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, перекладывать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но всё же совладал с собой — и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашёл он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочёл её, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни своей покойной матери, которой он никогда не понимал,

да и привязан был только в детстве. Даже смерть её он перенёс почти равнодушно.

С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со „Взвейтесь кострами, синие ночи!“ слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, тот погиб в двадцать первом году в Тамбовской губернии при подавлении мятежа, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце — о знаменитом герое, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. Ото всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно озабоченной, о чём-то грустящей, всегда обложенной книжками и грелками матери он относился почти свысока и, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и ещё какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти не пришлось жить вместе. Но мальчишке и об этом не было повода задуматься, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это всё разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как всё в те годы. Грубо и коротко их столкнули внезапные обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видеться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, но — отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться. Что может быть только из-за карьеры сына она до смерти носила чужое ей имя.

Перевязанные разноцветными тесёмками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадях с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминым почерком — как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспо-

минания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц. Сейчас не знал Иннокентий такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая её, кто-то не спал бы ночь, кроме тех, кого погонит Отдел Культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж конечно никому не придёт в голову плакать при встрече.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: „Этические записи".

„Жалость — первое движение доброй души",— говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость? Это чувство постыдное и унизительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют,— так вынес он из школы, из жизни.

„Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе мнения".

Довольно старомодно было и это. Если я обладаю правильным мировоззрением, то разве можно уважать тех, кто спорит со мной?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, её ломкий голос:

„Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что т ы не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя".

Шесть лет назад Иннокентий если б и открыл дневники,— даже не заметил бы этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто такого уж сокровенного, и даже прямо неверное было — а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражалась мама и её подруги. Они всерьёз писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремлённость.

Но хотя Иннокентий был безусловно идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлён (целеустремлённость больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как подступает что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с чёткой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программки Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета „Зритель“. И „Вестник кинематографии“ — как? это уже всё было в то время? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: „Апполон“, „Золотое Руно“, „Гиперборей“, „Пегас“, „Мир искусства“. Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов. Бесчисленные книжечки журнальных приложений — с десятками имён европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писатели! — здесь были целые издательства, никому не известные, как провалившиеся в тартарары: „Гриф“, „Шиповник“, „Скорпион“, „Мусагет“, „Альциона“, „Сирин“, „Сполохи“, „Логос“.

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в чёрном дождевике, вошёл по ордеру ЧК на обыск.

В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия Десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России — таким безнадёжным, что не протяни большевики руку помощи — и Россия сама собой сгнила бы и развалилась.

Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей! но какое расколосье мыслей!

Иннокентий понял, что был обокраден до сих пор.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то прикремлёвский вечер. Иннокентий посмотрел на неё бессмысленно, потом собрал лоб, вообразил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к жене глазами — и попросил её ехать одну. Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего — его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. Если его обманули в одном — то, может, и ещё в чём-нибудь? и ещё?

За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (лёгкость во французском, который вёз его карьеру, он приобрёл ещё в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение. Все пресыщенные и притупленные страсти заменились в нём одною: читать! читать!

Но оказалось, что и читать — это тоже умение, это не просто бегать глазами по строчкам. Иннокентий открыл, что он — дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая. Он с юности был ограждён от книг неправильных, и читал только заведомо правильные, оттого укоренилась в нём привычка: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Теперь же, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему. Трудней всего было научиться — отложивши книгу, размыслить самому.

...Почему даже выпала из советских календарей как незначительная подробность Семнадцатого года эта революция, её и революцией стесняются называть — Февральская? Лишь потому, что не работала гильотина? Свалился царь, свалился шестисотлетний режим от единого толчка — и никто не бросился поднимать корону, и все пели, смеялись, поздравляли друг друга — и этому дню нет места в календаре, где тщательно размечены дни рождения жирных свиней Жданова и Щербакова?

Напротив, вознесён в величайшую революцию человечества — Октябрь, ещё в двадцатые годы во всех наших книгах называемый *переворотом.* Однако, в октяб-

ре Семнадцатого, в чём были обвинены Каменев и Зиновьев? В том, что они предали буржуазии *тайну революции*! Но разве извержение вулкана остановишь, увидевши в кратере? разве перегородишь ураган, получив сводку погоды? Можно выдать *тайну?* только узкого заговора! Именно стихийности всенародной вспышки не было в Октябре, а собрались заговорщики по сигналу...

Тут вскоре назначили Иннокентия в Париж. Ко всем оттенкам мировых мнений и ко всей эмигрантской русской литературе у него здесь был доступ (только всё же оглядываясь около книжных киосков). Он мог читать, читать и читать! — если б не надобно было прежде того служить.

Свою службу, свою работу, которую он до сих пор считал наилучшим, наиудачным жизненным жребием, — он впервые ощутил как нечто гадкое.

Служить советским дипломатом — это значило не только каждый день декламировать убогие вещи, над которыми смеялись люди со здравым мозгом, это значило ещё иметь те две грудные стенки и два лба, о которых он сказал Кларе. Главная-то работа была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег.

В весёлой молодости, до своего кризиса, Иннокентий не находил эту заднюю деятельность предосудительной, а даже — забавной, легко её выполнял. Теперь она стала ему — против души, постылой.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь даётся нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже даётся нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.

Но не было, не было вокруг Иннокентия, кому он мог бы всё издуманное рассказать, ни даже жене. Как не поняла и не разделила она его вернувшейся нежности к умершей матери, так не понимала дальше, зачем можно интересоваться событиями, которые, пройдя однажды, уже не вернутся больше. А что он стал презирать свою службу — это в ужас бы её привело, ведь именно на этой службе была основана вся их сверкающая успешливая жизнь.

Отчуждённость с женою дошла в прошлом году до того угла, когда открывать себя становилось уже опасно.

Но и в Союзе, в отпуске, тоже не было близких у Иннокентия. Тронутый наивным рассказом Клары о поломойке на лестнице, он порывом понадеялся, что, может быть, хоть с нею будет хорошо говорить. Однако, с первых же фраз и шагов той прогулки, Иннокентий увидел, что — невозможно, непродёрные заросли, слишком многое расплетать, разрывать. И даже к тому, что вполне естественно, что сблизило бы их — сестре жены пожаловаться на жену — он почему-то не расположился.

Вот почему. Тут ещё обнаружился странный закон: бесплодно пытаться развивать отношения с женщиной, если она тебе не нравится телесно — почему-то замыкаются уста, охватывает бессилие всё просказать, проговорить, не находятся самые открытые откровенные слова.

А к дяде он в тот раз так и не поехал, не собрался, да и что?— одна потеря времени. Будут пустые надоедливые расспросы о загранице, аханье.

Прошёл ещё год — в Париже и в Риме. В Рим он устроился ехать без жены, она была в Москве. Зато вернувшись, узнал, что уже делил её с одним офицером генштаба. С упрямой убеждённостью она и не отрекалась, а всю вину перекладывала на Иннокентия: зачем он оставлял её одну?

Но не ощутил он боли потери, скорей — облегчение. С тех пор четыре месяца он служил в министерстве, всё время в Москве, но жили они как чужие. Однако о разводе не могло быть речи — развод губителен для дипломата. Иннокентия же предполагалось переводить в сотрудники ООН, в Нью-Йорк.

Новое назначение нравилось ему — и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН — не устав, а какой она могла бы быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы или бирманцы или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак — не для того. Его и туда толкали с тайным заданием, задней мыслью, второй памятью, ядовитой внутренней инструкцией.

В эти московские месяцы нашлось время и поехать к дяде в Тверь.

Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий,— искать не пришлось. Это оказался в мощёном переулке без деревьев и палисадников одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных. Что́ не так ветхо, что́ здесь открывается — калитка при воротах или скособоченная, с узорными филёнками, дверь дома — не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда. Но не открывали и не отзывались. Потряс калитку — заколочено, толкнул дверь — не подалась. И никто не выходил.

Убогий вид дома ещё раз убеждал его, что зря он приехал.

Он обернулся, ища, кого бы спросить в переулке — но весь квартал в полуденном солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, из-за угла с двумя полными вёдрами вышел старик. Он нёс напряжённо, однажды приспоткнулся, но не остановился. Одно плечо у него было приподнято.

Вслед за своей тенью, наискосок, как раз он сюда и шёл и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана, ещё шагнул:

— Дядя Авенир?

Не столько нагнувшись спиною, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплеска, поставил вёдра. Распрямился. Снял блин желто-грязной кепчёнки со стриженой седой головы, тем же кулаком вытер пот. Хотел — сказать, не сказал, развёл руки, и вот уже Иннокентий, склонясь (дядя на полголовы ниже), уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы, а ладонью попал как раз на угловато-выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое.

Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал.

Он собирался торжественно.

А сказал:

— Ты... что-то худенек...

— Да и ты...

Он не только худ, он был, конечно, со многими немочами и недомогами, но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешённостью. Он усмехнулся, больше правой стороною губ:

— Я-то!.. У меня банкетов не бывает... А ты — почему?

Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбас и копчёной рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вздохнул:

— Беспокойства, дядя...

Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу:

— Смотря — от чего. А то так — и ничего.

— И далеко воду носишь?

— Квартал, квартал, ещё половинка. Да небольшие.

Иннокентий нагнулся донести вёдра, оказались тяжёлые, будто донья из чугуна.

— Хе-е-е...— шёл дядя сзади,— из тебя работничек! Непривычка...

Обогнал, отпер дверь. В коридорце, подхватывая за дужки, помог вёдрам на лавку. А щегольский синий чемодан опустился на косой пол из шатких несогнанных половиц. Тут же заложена была дверь засовом, как будто дядя ждал, что ворвутся.

Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать.

И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трёх небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелёгкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а „коврами“ были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоёв зачем-то навешенные повсюду: ими закрывались стёкла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью водил его и показывал угодья: домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник, и как улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей.

Ещё какая придёт жена! И что за бельё у них на постелях, можно заранее вообразить!

А с другой стороны это был родной мамин брат, он знал жизнь мамы с детства, это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия — и сорваться сейчас же, значит не доузнать, не додумать даже о себе.

Да самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия. С первых же слов что-то почувствовалось в нём больше, чем было в двух коротких письмах.

В годы всеобщего недоверия и проданности кровное родство даёт уже ту первую надёжность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе — естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и тёмным.

Дядя был не то, что худ, но — сух, только то и оставалось на его костях, безо чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго.

— Тебе точно сколько ж лет, дядя?

(Иннокентий и неточно не знал.)

Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно:

— Я — ровесничек.

И всё смотрел, не отрываясь.

— Кому?

— Са-мо-му.

И смотрел.

Иннокентий со свободою улыбнулся, это-то было для него пройденное: даже в годы восторгов кряду всем, *Сам* оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью.

И не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутливо:

— Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться.

Засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче.

Одет дядя был ужасно: рубаха под пиджаком непоказуемая; у пиджака облохмачены, обшиты и снова обтёрты воротник, лацканы, обшлага; на брюках больше латок, чем главного материала, и цвета различались —

просто серый, клетчатый и в полоску; ботинки столько раз чинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм — его рабочий, и дальше водяной колонки и хлебного магазина он так не выходит. Впрочем, и переодеться он не спешил.

Не задерживаясь в комнатах, дядя повёл Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно.

Двор был метров тридцать на десять, но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики да заборцы со щелями отделяли его от соседей, но — отделяли. В этом дворе было место и мощёной площадке, мощёной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту, и дровяному, и летней печке, было место и саду. Дядя вёл и знакомил с каждым стволом и корнем, кого Иннокентий по одним листьям, уже без цветов и плодов, не узнал бы. Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста чёрной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили — из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня, с ветвями, подпёртыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось — те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Всё же он понял:

— А тяжело тебе, дядя! Это сколько ж нагибаться, копать, таскать?

— Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру — нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом.

— С кем это?

— С пролетариатом.— Ещё раз проверяюще примерился старик.— Кто домино как гвозди бьёт, радио не выключает от гимна до гимна. Пять часов пятьдесят минут остаётся спать. Бутылки бьют прохожим под ноги, мусор высыпают вон посреди улицы. Почему они — передовой класс, ты задумывался?

— Да-а-а,— покачал Иннокентий.— Почему передовой — этого и я никогда не понимал.

— Самый дикий! — сердился дядя. — Крестьяне с землёй, с природой общаются, оттуда нравственное берут. Интеллигенты — с высшей работой мысли. А эти — всю жизнь в мёртвых стенах мёртвыми станками мёртвые вещи делают — откуда им что придёт?

Шли дальше, приседали, разглядывали.

— Это — не тяжело. Здесь все работы мне — по совести. Помои выливаю — по совести. Пол скребу — по совести. Золу выгребать, печку топить — ничего дурного нет. Вот на службах — на службах так не поживёшь. Там надо гнуться, подличать. Я отовсюду отступал. Не говорю учителем — библиотекарем, и то не мог.

— А что так трудно библиотекарем?

— Пойди попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить. Незрелые мозги обманывать. А какую ты назовёшь работу по совести?

Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная — была против.

А дом этот — Раисы Тимофеевны, давио уже. И работает — только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У неё взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо — и душевно, и телесно, и в нищете. Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках. Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду и все женские домашиие работы. Это — не тяжело.

За кустами, у самого забора, как полагается иастоящему саду, была врыта укромная скамья, дядя с племянником сели.

Это не тяжело, вёл и вёл своё дядя, с упрямством яснорассудочной старости. Это — естественно, жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате, пусть весь клочок — три лопаты на две. Ои уже десять лет так живёт, и рад, и лучшего жребия ему не иадо. Какие б заборы ни хилые, ни щелястые — а это крепость, оборона. Снаружи входит только вредное — или радио, или повестка о налоге, или распоряжеиие о повииностях. Каждый чужой стук в дверь — всегда иеприятиость, с приятиым ещё ие приходили.

Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо.

Что же?

В своём перелатаниом, в кепчёнке-блине, дядя с выдержкой и с последним ещё недовереньем косился на Иннокеития. Ни за два часа, ни за два года иельзя было

доступиться до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал, и свой был, и — вытяни, вытяни, мальчик!

— Тяжелей всего,— завершил дядя с нагоревшим, накалённым чувством,— вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг.— (Дальше всё будет открыто или всё закрыто!) — Принудительная верность правительству, которое ты, может быть... не уважаешь.

Вот тут и имей глаза!— безумец или мудрец заикается перед тобой в затёрханном истощённом обличьи. Когда он откормлен, в академической мантии и говорить не торопится — тогда все согласятся, что мудрец.

Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но всё же дядя вильнул за проверенную широкую спину:

— Ты — Герцена сколько-нибудь читал? По-настоящему?

— Да что-то... вообще... да.

— Герцен спрашивает,— набросился дядя, наклонился со своим косым плечом (ещё в молодости позвоночник искривил над книгами),— *где границы патриотизма*? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?

Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил:

— Почему любовь к родине надо распро... ?

Но это уже было у другого забора, там дядя оглядывался на щели, соседи могут подслушать.

Хорошо они стали с дядей говорить, Иннокентий уже и в комнатах не задыхался, и не собирался уезжать. Странно, шли часы — и незаметно, и всё интересно. Дядя даже бегал живо — в кухню и назад, в кухню и назад. Вспоминали и маму, и старые карточки смотрели, и дядя дарил. Но он был намного старше мамы, и общей юности не было у них.

Пришла с работы Раиса Тимофеевна, крутая женщина лет пятидесяти, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди, и он тоже ощутил странную робость, что она сейчас всё развалит им. За стол под тёмной клеёнкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что́ б они тут ели, если б Иннокентий не привёз полчемодана с собой и ещё не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они помидоров только. Да картошку.

Но щедрость родственника и редкостная еда зызвали радость в глазах Раисы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины — своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмочке, по другой. Раиса Тимофеевна стала высказывать обиду, как неправильно живёт её непутёвый: не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел! Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты, а то „Новое время", а оно дорогое — и газеты ведь не для удовольствия, а бесится над ними, потом ночами сидит, строчит ответы на статьи, но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже и сжигает, потому что и хранить их немыслимо. Этим пустописательством у него полдня занято. Ещё ходит слушать заезжих лекторов по международному положению — и каждый раз страх, что домой не вернётся, что подымется и задаст вопрос. Но нет, не задаёт, ворочается цел.

Дядя почти не возражал молодой жене, посмеивался виновато. Но и надежды на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Раиса Тимофеевна будто и жалилась не всерьёз, отчаялась давно. И двугривенных последних не лишала.

Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни — успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от неё болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров зто надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе: тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие как в комнату входили всякий раз своим топотом, говором и руганью.

Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою тайну: зти жёлтые газеты, во много слоёв навешенные будто от солнца или от пыли — зто был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. („А почему вы *именно эту* газету храните, гражданин?" — „А я её не храню, какая попалась!") Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что́

в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку.

Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: „Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!" А в газете 1924 года на окне Сталин защищал „верных ленинцев Каменева и Зиновьева" от обвинений в саботаже октябрьского переворота.

Иннокентий увлёкся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сороковаттной лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблекшие полустёртые строчки, но по укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал:

— Ещё завтра день будет, ты ж не уедешь? А сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим электростанций — не дешевеет.

Погасили. Но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для воркотни.

— Только обманом, только обманом!— настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика.— Никакое правительство, ответственное за свои слова... „Мир народам, штык в землю!"— а через год уже „Губдезертир" ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так не делал... „Рабочий контроль над производством"— а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу всё зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться — кто б тогда за ними пошёл? „Конец тайной дипломатии, тайных назначений"— и сразу гриф „секретно" и „совсекретно". Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?

В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы, и вот уже толковал дядя, что всю войну 41-го года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол, внутренних войск против революции не имел. А бестолковое Временное и вовсе никакими войсками не владело.

И — ещё об этой последней, советско-германской. Как ты её понимаешь?

Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:

— Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли — и мы её потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.

— Мы уложили, конечно, не семь миллионов! — торопился и дядя. — И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...

И опять — о Втором съезде советов: он был от трёхсот совдепов из девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.

— Да что ты говоришь?..

Уже по два раза „спокойной ночи" сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, — но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:

— Ни за что сами не сделают!

— Могут и сделать, — чмокал Иннокентий. — Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.

— Брехня! — уверенно говорил дядя. — Объявят, а — кто проверит?.. Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.

Уходил и ещё возвращался:

— Но если сделают — пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.

Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.

— Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.

— Но и никакая война — не выход, — возвращался дядя. — Война — гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбёжками — война прежде всего страшна тем, что отдаёт всё мыслящее в законную власть тупоумия... Да впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи.

Домашние дела не терпят небрежения: на завтра к своим чередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, и Иннокентий, уже зная, что вечером не почитаешь, спешил смотреть их при дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осязались, противный

налёт оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налёт, как перестал замечать все недостатки дома, кривые полы, малый свет оконок и дядину обтрёпанность. Чем давнее год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет.

Поздно к вечеру опять пообедали втроём, дядя подбодрел, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и весёлое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством.

Вперебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую ожесточённую жизнь.

Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане и оттуда, при керосиновой лампе — сюда проводки не было, вынимал пронафталиненные тёплые вещи, и просто тряпьё. И, подняв лампу, показал племяннику своё сокровище на дне: крашеное гладкое дно устилала „Правда" второго дня октябрьского переворота. Шапка была: „Товарищи! Вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской — Учредительного Собрания!"

— Ведь голосования ещё не было тогда, понимаешь? Ещё не знали, как мало их выберут.

Снова долго, аккуратно укладывал сундук.

На Учредительном Собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия: отец его Артём был средь главных сухопутных матросов, разогнавших поганую *учредилку*, а дядя Авенир — манифестант в поддержку заветного Учредительного.

Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень. Почтовики, телеграфисты, чиновники. И просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги — красные, флаги социалистов и революции, одиндва кадетских бело-зелёных. А другая манифестация, от заводов Невской стороны — та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами.

Этот рассказ опять пришёлся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно тёмен, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щёлки ставен, если была луна.

Но сейчас не было луны, и уличный фонарь неблизко, и ставенные доски сплочены — и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы, а иногда лишь её движения. Не поддержанный блистаньем глаз, ни мукой лицевых складок, тем безвозрастней и убеждённей внедрялся дядин голос:

— Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня, но если хочешь даже и не понимали: что это будет единственный день единственного русского свободного парламента — на пятьсот лет назад, на сто лет вперёд. И кому ж этот парламент был нужен? — сколько нас изо всей России набралось? Тысяч пять... Стали по нас стрелять — из подворотен, с крыш, там уже и с тротуаров — и не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди... С упавшим выходило двое-трое, остальные шли... От нас никто не отвечал, и револьвера ни у кого не было... До Таврического нас и не допустили, там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу, что́ с Латвией будет — они не догадывались... На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу: „Расходитесь! На панель!“ И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали... ещё тебе о тех красногвардейцах бы рассказать... древко сломали, знамя топтали... Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так ещё в спину стреляли и убивали. Как легко этим красногвардейцам стрелялось — по мирным людям и в спину, ты подумай — ведь ещё никакой гражданской войны не было! А нравы — уже были готовы.

Дядя подышал громко.

— ...А теперь Девятое января — чёрно-красное в календаре. А о Пятом даже шептать нельзя.

Ещё подышал.

— И уже тогда этот подлый приём: демонстрацию нашу, мол, почему расстреливали? Потому что — калединская!.. Что в нас было калединского? Внутренний противник — это не всем понятно: ходит среди нас, го-

ворит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом — и тогда легко, хорошо в него стрелять.

И молчание в темноте — особенно ясное, нерассеянное.

Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше, к спинке.

— А в самом Таврическом?

— Крещенская ночь?— Дядя дух перевёл.— Что́ в Таврическом?— *охлос*, толпа. Оглушу тебя трёхпалым свистом... Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об пол, надо, не надо. Ведь — охрана! Кого — от чего?.. Матросики и солдатики, половина пьяных — в буфете блевали, на диванах спали, по фойе лузгали семячки... Нет, ты стань на место какого-нибудь депутата, интеллигента, и скажи — как с этими стервами быть? Ведь даже за плечо его потрогать нельзя, ведь даже мягко нельзя ему выговорить — это будет наглая контрреволюция! оскорбление святой охлократии! Да у них пулемётные ленты крест-накрест. Да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседаний Учредительного они и среди публики сидят с винтовками и в проходах стоят с винтовками — и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения. Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли — а на него двадцать дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела, убьют — дорого не возьмут и извиняться не будут, выходи следующий!.. Вот это надо понять: оратору винтовкой в рот!— в этом их суть! Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут! В чём другом, в этом — никогда не переменятся... А Свердлов рвёт звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не даёт открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер — так хохочет!! Ума ж не хватает, что дорого — начать, через полгода и ваших передушат... Ну, а дальше сам знаешь, в кино видел... Комиссар тупенко-дубенко-Дыбенко послал закрыть ненужное заседание. С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю...

— И мой отец?!

— И твой отец. Великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама... уступила ему... Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.

Иннокентий весь горел — лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь как будто собственного участия в подлости.

Дядя упёрся об его колено и — ближе, ближе — спросил:

— А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?

62

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемёта и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары — трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина, восполнила прежнюю узость семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никаноровна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучёб. Но зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья. А с укреплением жизни как важный внешний знак благосостояния должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Алевтины Никаноровны было умение приобретать это всё недорого, никогда не упустить выгодных продаж — на закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свеже-присоединённых областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда ещё нужны были для того пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотно и почти за бесценок продавали тяжёлые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нём — в глушёном, иоризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмиевой зелени, в кобальтовой сини. Не теперешний хрусталь Главпосуды собирала она — перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с осо-

бенностью своего создателя,— в двадцатые — тридцатые годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих.

Так и сегодня отлично обставлен и обилен был стол, и с переменой блюд едва справлялись две прислуги-башкирки: одна своя, другая взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряжённые, разрумяненные от кухни лица девушек выражали серьёзность и старание. Они были довольны своею службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никаноровна, статная, ещё не старая, следила за прислугою с одобрением.

Особой заботой хозяйки было ещё то, что в последний час изменился план вечера: он затевался для молодёжи, а среди старших — просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет два дня назад. Поэтому приглашён был старый друг прокурора ещё по гражданской войне серб Душан Радович, бывший профессор давно упразднённого Института Красной Профессуры, и ещё допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности хозяйки, жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока (с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну) генерал-майор Словута, тоже прокурор, и очень важный человек по службе — и обязательно надо было его пригласить. Однако перед Словутой стыдно было теперь за этих полулегальных гостей — за этого почти уже и не приятеля, за эту почти уже и не подругу, Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Алевтине Никаноровне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от Словуты подальше и заставляла её тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать; с другой стороны, хозяйке приятно было, как та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась, и сервировкой, и гостями.

Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы вы-

дающуюся компанию. Но к досаде тестя дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодёжь рассеялась танцевать.

А всё же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир. Он ехал потерянный, ему равно невозможно было и дома оставаться, ему невыносимо было везде. Но когда он вошёл с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживлённого гула, смеха, красок — он ощутил, что именно здесь его арест никак не возможен!— и к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной лёгкости. Он охотно выпил налитое ему, и охотно принимал в тарелку с одного блюда и с другого — сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нём голод.

Его искреннее оживление освободило и тестя от досады и облегчило разговор на их почётном конце стола, где Макарыгин напряжённо маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Словуте было всё время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами.

— Ведь они что с женой?— жаловался он.— Подобралась парочка, баран да ярочка,— живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились! Прожигатели жизни! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь?

Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии — младо-гегельянцем, нео-кантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси боже, ревизионистом. Напротив, „эпикуреец" звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни основоположников, не преминул вставить:

— Что ж, Эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

На Радовиче был вытертый полувоенный френч, кожа лица — тёмный пергамент на колодке черепа. (Выходя же на улицу, он до последней поры надевал будёновский шлем, пока не стала задерживать милиция.)

Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Какой был смелый шаг — вмешаться в борьбу титанов! Любимцем богов он казал-

ся себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

— Эпикура? — с посверкивающими глазами принял он вызов. — Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что „эпикуреец" принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: „он — эпикуреец". Нет, подождите, я серьёзно! — не дал он возразить и возбуждённо покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. — А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нём. Он совсем не зовёт нас к оргиям. В числе трёх основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет *ненасытные желания*! А? Он говорит: на самом деле человеку надо м а л о, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он освобождает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!

— Да что ты! — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом.

— Налей, налей ему! — сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, — а то он нас заговорит.

Тесть налил, и Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Эпикура показалась достойной исповедания.

Словута с нестарым отекшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда ещё намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с *Колькой* Галаховым, и тот ему рассказывал... Но и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал и как раз ничего не рассказывал, наверно придумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнёт, собрался уходить.

Макарыгин уговаривал Словуту побыть ещё и обломал на том, что надо поклониться „табачному алтарю“ — коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочерёдно угащивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, хозяин открыл её и приглашал Словуту и зятей. Однако зятья отговорились от стариковской компании. Теперь особенно опасаясь, что Душан там ляпнет лишнее, Макарыгин в дверях кабинета, пропустив Словуту вперёд, погрозил Радовичу пальцем.

Свояки остались на пустом конце стола вдвоём. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их ещё принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать — и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдалённую музыку.

Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нём типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.

Прислуга шумела сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и, с уходом Словуты, уже не сдерживала голос подруги, досказывавшей ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно, доктора хорошие, а партактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных, для них бесперебойно молоко и без отказу пенициллиновые уколы.

Из соседней комнаты пела радиола, а из следующей — металлически бубнил телевизор.

— Привилегия писателей — допрашивать,— кивал Иннокентий, сохраняя всё тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура.— Вроде следователей. Всё вопросы, вопросы о преступлениях.

— Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, его светлые черты.

— Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах?

Галахов улыбнулся.

— Хочешь-не хочешь — не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты — родственник.

— И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврёт тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

— Я понимаю. Но... *этой* стороны вашей деятельности... отражать не придётся, так что она меня...

— Ага. Значит, тебя интересует главным образом — быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приёмы, вручение грамот...

— Нет, глубже! И — как преломляются в душе советского дипломата...

— А-а, как преломляются... Ну, уже всё! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же — бросил? исчерпал?

— Исчерпать её — невозможно,— покачал головой Галахов.

— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

— Военная тема — врезана в сердце моё.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры!

— И, пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо?

— Надо! Потому что война поднимает в душе человека...

— В душе?— я согласен! Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на

уничтожение, „не забудем, не простим“, приказ командира есть закон для подчинённых. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, ещё вы показываете, как трудно беднягам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы.

— Ты говоришь о моём последнем романе?

— Да нет, Николай! Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда?

Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

— То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

— Ну, конечно, конечно,— легко согласился Иннокентий.— У нас совсем другие законы... Но я не то хотел...— Он вертнул кистью руки.— Коля, ты поверь,— мне что-то симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты — задумывался?.. как ты сам понимаешь своё место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но всё равно, от этого вопроса ты не уйдёшь — кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм. Вообще, скажи мне, Коля,— уже не зубоскально, уже со страданием спрашивал Иннокентий,— тебе не бывает стыдно за наше поколение?

Переходящие складочки, как желвачки, прошли по лбу Галахова, по щеке.

— Ты... касаешься трудного места...— ответил он, глядя в скатерть.— Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?..— Два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литераторских компаниях невозможно было.— Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось — я умру от счастья, если увижу свою фами-

лию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

— Ини! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?

Она совсем была здесь некстати.

Она подходила — и вид её, самая неизбежность её в жизни Иннокентия — вдруг напомнили ему всю ужасную истину, чтó его ждёт, а этот званый вечер, и эти застольные переброcные шуточки — всё пустота. Сердце его сжалось. Горячей сухостью охватило горло.

А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы-реглан. Через узкий меховой воротничок перепадали всё те же её свободные светлые локоны, за девять лет не переиначенные модными подражаниями — своё хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но, может быть, от вишнёвой блузы? И ещё чуть подёргивалась её верхняя губа — это оленье подёргивание, так знакомое и так любимое им,— когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас?..

Так долго она старалась подчёркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней?— или предчувствие разлуки вошло в её сердце?— отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленье подёргивание губы...

Иннокентий не мог бы ей простить, да не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчуждённости, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться враз. Но эта её покорность прошлась теплом по его сжатой душе, и он за руку притянул жену сесть рядом — движение, которого всю осень между ними не было, невозможно было совсем.

И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтоб это оставалось приличным, но всем бы было видно, как она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако он мягко поглаживал её руку в вишнёвом рукаве.

Белый костяной карандашик писателя лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещённое огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли.

...Но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман. Он стал лауреат сталинской премии, и ещё раз лауреат, и ещё раз лауреат. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи её только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней своё сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важней ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались многоно́льными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, ещё проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся ещё раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвёртую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе — хоть что-нибудь лучше, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что всё трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришёл, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия,

чтобы стол был чисто протёрт — иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним всплыл и всё ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то всегда прославленный, главный критик Ермилов.

Так и воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтёт эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало) статьёй на целую полосу „Литературки“. Назовёт он статью: „Из какой подворотни эти веяния?“ или „Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути“. Начнёт он её не прямо, начнёт с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесёт их совсем в другом смысле — и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем, стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

— А черты нашего дипломата?— всё же досказал Иннокентий, но голосом потерянным и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечётся лицо.— Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других — слабоватое знание иностранных языков. Ну, и еще — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам — один только раз...

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего ещё терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но знающая меру в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение или сажали в тюрьму.

Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик — овальный, из чёрного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафик из карельской берёзы с многочисленными выдвижными ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков трубочных и даже нюхательных.

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности,— Радович сладострастно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящиков, не решаясь, на чём остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами,— но так как ему запрещалось ещё и пить, и есть (сегодня за ужином он тоже почти не ел) — то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой, он частенько кручивал газетные цыгарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стеснённых денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во

время эвакуации он ходил к деда́м на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и встрял в разговор — он не сказал бы ничего ужасного, ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако, непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская партия тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чём он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешёл от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже, при росте числа прокуроров, увеличивается.

— А что говорит статистика преступлений?— спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она ещё.

Но Словута сказал:

— Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

— А всё-таки ещё порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой — его ли в этом убеждают!

— Когда Владимир Ильич говорил нам, что *культурная* революция будет гораздо трудней Октябрьской — мы не могли себе представить! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный

прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлёвской стены) было сухо: Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на всё хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стёклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала „Советское государство и право“ за много лет, Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (всё равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадёжно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года, всё это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своём секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру — 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал — на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

— Хорошо живёшь, Макарыгин!

— Да где хорошо... Думаю в *областные* переводиться.

— В областные?— прикинул Словута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное ухватывал он легко.— Да может и есть смысл.

Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо: областному прокурору кроме зарплаты дают *пакеты*, а в Главной Военной до этого надо высоко дослужиться.

— А зять старший — лауреат трижды?

— Трижды,— с гордостью отозвался прокурор.

— А младший — советник не первого ранга?

— Ещё пока второго.

— Но боек, чёрт, до посла дослужит! А самую младшую за кого выдавать думаешь?

— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал её — не выдаётся.

— Образованная? Инженера ищет? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом.— На восемьсот рубликов? Уж ты её за чекиста, за чекиста выдавай, надёжное дело.

Ещё б Макарыгин этого не знал! Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в тёмной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить её не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты...

— Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорблённым взглядом проводил круглую объёмную спину гостя, которого Макарыгин пошёл довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нёс в кресло, да заметил на столе ещё книжечку в пестроватом чёрно-красном переплёте, прихватил и её.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: „Тито — главарь предателей" какого-то Рено де-Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзотины он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина её автор, и сколько новой жёлчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: „Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; *раз он признался — значит, был виноват*",— Радович с гадливостью положил книгу на прежнее место.

Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о приёмчиках НКВД). Раз он признался — значит, был виноват!..— summa summarum сталинского правосудия!

Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать её в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок рядом с потускневшими прежними, Душан затаённо сидел в кресле и читал том энциклопедии.

— Не балуют прокуратуру орденами,— вздохнул Макарыгин,— к тридцатилетию выдавали, а так редко кому.

Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал.

Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустился на диван.

— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся.

— А что я могу ляпнуть?— удивился Радович.

— Что ляпнуть!— обрезал сигару прокурор.— Мало ли что! У тебя всё куда-то выпирает.— Закурил.— Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали.

Радович распрямился:

— Потому что гнусная полицейская провокация, за десять тысяч километров built пованивает!

— Да ты с ума сошёл, Душан! Ты — при мне не смей так! Как ты можешь о *нашей* партии...

— Я не о партии!— отгородился Радович.— Я — о Словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолётов? Всё так и есть?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели:

— А почему нет? А если что немного не так — значит, государственная политика требует.

Пергаментный Радович нервно залистал свой том.

Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Словутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Че-

ловек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен.

Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы если обедали втроём без гостей, то не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфле и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А „Слезами залит мир безбрежный“ — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или чёрт знает из чего, ощетинилась:

— Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!

Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у неё туфлю из рук и хлопнул об пол:

— Да как ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье?!

Твердолобая, хоть кулаком её в лоб, не заплачет! Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:

— Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты — рабочий, а в доме молотка нет! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

— Да *общественное* бытие, дура! И сознание — *общественное*!

— Какое это — общественное? У одних хоромы, у других — сараи, у одних — автомобили, у других — ботинки дырявые, так какое из них общественное?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

— Ты вот глупа!.. Ты... ничего не понимаешь и не учишься!..

— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живёшь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаёшь?

И вот тут не нашёлся прокурор; очень ясно — а сразу не скажешь. Только крикнул:

— А тебе в твоём институте тысячу восемьсот — за что?..

— Душан, Душан,— размягчённо вздохнул Макарыгин.— Что мне с дочерью делать?

Лицу Макарыгина большие отставленные уши были как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение.

— Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака — могли ли думать, что такая будет нам благодарность от детей?.. Ведь если приходится им с трибуны в чём-нибудь поклясться перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно.

Он рассказал сцену с туфлей.

— Как я правильно должен был ей ответить, а?

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стёкла очков. Когда-то всё это Макарыгин знал, но до чего же стал дремуч.

— Надо было ответить?.. Накопленный труд. Образование, специальность — накопленный труд, за них платят больше.— Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно:— Но вообще, девчёнка права! Нас об этом предупреждали.

— Кто-о?— изумился прокурор.

— Надо уметь учиться и у врагов!— Душан поднял руку с сухим перстом.—„Слезами залит мир безбрежный“? А ты получаешь многие тысячи? А уборщица двести пятьдесят рублей?

Одна щека Макарыгина задёргалась отдельно. Зол стал Душан, из зависти, что у самого ничего нет.

— Ты — обезумел в своей пещере! Ты утратил связь с реальной жизнью! Ты так и пропадёшь! Что же мне — идти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят? А как я буду жить? Да меня выгонят как сумасшедшего! Ведь другие-то не откажутся!

Душан показал рукой на бюст Ленина:

— А как Ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла? От белого хлеба? *Его* не считали сумасшедшим?

Слеза послышалась в голосе Душана.

Макарыгин защитился распяленной ладонью:

— Тш-ш-ш! И ты поверил? Ленин без сливочного масла не сидел, не беспокойся. Вообще в Кремле уже тогда была неплохая столовая.

Радович поднялся и отсиженною ногой хромнул к полочке, схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с маузером:

— А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? А рабочая оппозиция что́ говорила, не помнишь?

— Поставь! — приказал побледневший Макарыгин. — Памяти её не шевели! Зубр! Зубр!

— Нет, я не зубр! Я хочу ленинской чистоты! — Радович снизил голос. — У нас ничего не пишут. В Югославии — рабочий контроль на производстве. Там...

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

— Конечно, ты — серб, сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю. Но...

Но — дальше была грань. Радович погас, смолк, съёжился снова в маленького пергаментного человечка.

— Договаривай, договаривай, зубр! — враждебно требовал Макарыгин. — Значит, полуфашистский режим в Югославии — это и есть социализм? А у нас значит — перерождение? Старые словечки! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их произносил. Тебе осталось ещё сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да?

— Нет! Нет! — убеждённый и озарённый лучами прови́дения, снова всплеснулся Радович. — Этому не бывать! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями! И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твёрдо верю: мы скоро будем свидетелями вооружённого столкновения за рынки сбыта между Соединёнными Штатами и Англией!

64

А в большой комнате танцевали под радиолу, нового типа, как мебель. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафчик: и записи речей Отца и Друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни „О самом родном и любимом“, о самолётах, которые „первым делом“, а „девушки потом“ (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьёз рассказывать о библейских чудесах).

Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой.

Мебель не давала простору сразу всем парам, и танцевали посменно. Среди молодёжи были кларины бывшие сокурсницы; и один сокурсник, который после института работал теперь на *заглушке* иностранных радиопередач; та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Щагов; племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зелёный кант все звали пограничником (а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути); и особенно выделялся государственный молодой человек уже с колодочкой ордена Ленина чуть небрежно, наискосок, без самого ордена, с приглаженными, уже редкими волосами.

Этому молодому человеку было года двадцать четыре, но он старался себя вести по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один из ценимых референтов в секретариате президиума Верховного Совета, основная работа его была — предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение много обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны, женить же на Кларе — недостижимая мечта.

Для этого молодого человека единственно интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз приглашал Динэру, всю в импортном чёрном шёлке „лакэ", только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней, и также после танцев старался оставаться с нею.

А она увидела в углу дивана одинокого Саунькина-Голованова, не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь кроме своей редакции и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища. Референт скользил за нею.

— Э-рик! — с весёлым вызовом подняла она алебастровую руку. — А почему я вас не видела на премьере „Девятьсот Девятнадцатого"?

— Был вчера, — оживился Голованов. И с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю.

Села Динэра. Опустился референт.

Да уклониться от спора с Динэрой было и невозможно, ещё хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве:

Мне потому приятно с вами помолчать,
Что вымолвить вы слова не дадите.

Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) нападала на драматургов, сценаристов и режиссёров, не щадя даже своего мужа. Смелость её суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще и на статьи Эрнста Голованова в частности, Голованов же с выдержкой не уставал разъяснять Динэре её анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность-близость с Динэрой он охотно длил ещё потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова.

— Вспомните, — с налётом мечтательности откинулась Динэра, но спинка озеркаленного дивана очень уж была пряма и неудобна, — у того же Вишневского в „Оптимистической" этот *хор* из двух моряков — „не слишком ли много крови в трагедии?" — „не больше, чем у Шекспира" — ведь это же остро, какая выдумка! И вот опять идёшь на пьесу Вишневского, и ждёшь! А тут что же? Конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ Вождя, но и, но и... всё?

— Как? — огорчился референт. — Вам мало? Я не помню, где ещё такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале.

— У меня у самой слёзы стояли! — осадила его Динэра. — Я не об этом. — И продолжала Голованову: — Но в пьесе почти нет имён! Участвуют: безличные три секретаря парторганизаций, семь командиров, четыре комиссара — протокол какой-то! И опять эти примелькавшиеся матросы-„братишки", кочующие от Белоцерков-

ского к Лавренёву, от Лавренёва к Вишневскому, от Вишневского к Соболеву,— Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами,— заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится...

— А почему это вам не нравится?— изумился Голованов. При деловом разговоре он очень оживлялся, в его лице появлялось featuresнанюхивающее выражение, и он шёл по верному следу.— Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах?

— Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса? Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха — провала премьеры, почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищу!!

Она мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что свиста не получится.

— Объясняю!— не только не смущался Голованов, но всё увереннее идя по следу.— Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения...

Это уже стало скучно. Референт поправил свой палево-голубой галстук один раз, другой раз — и поднялся от них. Одна из клариных сокурсниц, худощавенькая приятная девушка весь вечер откровенно не сводила с него глаз, и он решил теперь потанцевать с ней. Им достался тустеп. А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвёл девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует.

Она готовно улыбалась ему и порывалась к чему-то.

Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но ещё не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда придти. Он оглядел её нервную шею, ещё не высокую грудь, и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг её руку на колене.

Девушка взволнованно заговорила:

— Виталий Евгеньевич! Это такой счастливый случай — встретить вас здесь! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приёмной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть.— (Виталий снял свою руку с руки девушки.) — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная *актировка* моего отца, он разбит в лагере параличом, и моё прошение о его помиловании.— (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своём, неловко задела ложечку, та кувыркнулась, поставила пятно на её платье и упала к балконной двери, где и осталась лежать.) — У него отнята вся правая сторона! Ещё удар — и он умрёт. Он — обречённый человек, зачем вам теперь его заключение?

Губы референта перекривились.

— Знаете, это... нетактично с вашей стороны — обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор — не секрет, позвоните, я назначу вам приём. Впрочем, отец ваш по какой статье? По пятьдесят восьмой?

— Нет, нет, что вы! — с облегчением воскликнула девушка.— Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от Седьмого Августа!

— Всё равно и для седьмого августа актировка отменена.

— Но ведь это ужасно! Он умрёт в лагере! Зачем держать в тюрьме обречённого на смерть?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

— Если мы будем так рассуждать — что же тогда останется от законодательства?— Он усмехнулся.— Ведь он осуждён по суду! Вдумайтесь! Так что значит —„умрёт в лагере"? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не всё ли равно, где умирать?

Он встал с досадой и отошёл.

За остеклённой балконной дверью сновала Калужская застава — фары, тормозные сигналы, красный, жёлтый и зелёный светофор под падающим, падающим снегом.

Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, не замеченная Кларой, ни хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А навстречу, пропустив помрачённую девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Дотнара. Голованов, оживлённый Дииэрою, с вернувшейся находчивостью остановил своего покровителя:

— Николай Аркадьевич! Halt! Признайтесь! — в самой-рассамой глубине души ведь вы не писатель, а кто?.. (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился.) Солдат!

— Конечно, солдат! — мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его чёрт поиёс с иежалимою головой добираться до штаба полуотрезанного батальона — и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндажике, растрясённом бомбёжкою, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом — и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

— Так разрешите вам представить моего фронтового друга капитана Щагова!

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Ои приятно выпил — столько, что подошвы уже ие ощущали всей тяжести своего давлеиия на пол. И как пол стал более податлив, так податливее, приёмистее стала ощущаться и вся тёплая светлая действительность, и это закореиелое богатство, изостлаиное и уставленное вокруг, в которое он с заиывающими ранами, с сухотою желудка вошёл ещё пока разведчиком, но которое обещало стать и его будущим.

Щагов уже стыдился своих скромных ордеиишек в этом обществе, где безусый пацаи небрежио наискосок носил планку ордеиа Лениина. Напротив, зиамеиитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

— Майор Галахов! — улыбнулся он. — Где воевали? Ну, сядем, расскажите.

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти иасухую! Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в одии сумасшедший денёк пятого сентября сорок четвёртого

года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на брёвнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмёшь. Пёрли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор, и с севера сунули триста танков, а с юга двести.

Едва начались фронтовые воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же — язык редакций и секций, а тем более — тот взвешенный нарочитый авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закруглённых этих языках не было возможности передать сочное дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень вознадобились ругательства, не мыслимые здесь.

Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

— За солдатскую дружбу! — произнёс Галахов, щурясь.

— За тех, кто не вернулся! — поднял Щагов.

Выпили. Пустая бутылка пошла за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок тот вёз Щагову противотанковые мины) проскочил под немецкими миномётами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что „северные“ немцы жахали минами в расположение немцев „южных“, и как раз в том же месте в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьёй на фронт — и на виллисе занёсся к немцам. Так и пропал.

Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти. Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил:

— Смерть не страшна, пока тебя не *трахнет*. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбёжку — стал бояться бомбёжки, и только её. Контузило артналётом — стал бояться артналётов. А вообще: „не бойся пули, которая свистит“, раз ты её слышишь — значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьёт — ты не услышишь. Выходит,

что смерть как бы тебя не касается: ты есть — её нет, она придёт — тебя уже не будет.

На радиоле завели „Вернись ко мне, малютка!"

Для Галахова воспоминания Щагова и Голованова были безынтересны — и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабата; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощатого мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

— Да. Война-война! Мы попадаем на неё нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Эрик! А у вас на участке „песню фронтовых корреспондентов" пели?

— Ну, как же!

— Нзра! Нзра! — позвал Галахов. — Иди сюда! „Фронтовую корреспондентскую" — споём, помогай!

Динэра подошла, тряхнула головой:

— Извольте, друзья! Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроём, недостаток музыкальности искупая искренностью:

От Москвы до Бреста
Нет на фронте места...

Стягивались слушать их. Молодёжь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнёт...

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя всё ту же улыбку, внутренне охолодел, и ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну ещё в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов всё равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий

землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть, тут и погибнуть,— и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да ещё: откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают двести, сто пятьдесят...

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортёр погибнет — не беда,
И на „эмке" драной
С кобурой нагана
Первыми вступали в города!

Это „первыми вступали в города" были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой „эмка" не шла) заскакивали в „ничей" город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад.

А Иннокентий, со свешенною головою, слушал и понимал песню ещё по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягою-репортёром, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать *установки*. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием,— карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.

Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи — самое приятное из её поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо.

Не знала она, как скоро будут её трепать, как стращать — всё равно, возьмут ли Иннокентия *тут*, или он вырвется и останется *там*.

Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения — Иннокентий думал: и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно.

Но вот вернулась мягкость её — и защемила к ней жалость. Недоумение.

Да всё щемило, всё не мило, и с этого глупого вечера пора была уходить — если б дома не ждало ещё худшее.

Из полутёмной комнаты, от маленького телевизора со сбивчивым искривлённым изображением, кой-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях.

Она изумилась, как хорошо, ладком сидят Иннокентий с Нарой, и ещё раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.

Этому вечеру, устроенному, по сути, для неё одной, она нисколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять — а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зелёного креп-сатена с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть, так же мало ей шло, как все прежние.

Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения подлинности, даже противоестественное что-то. Полчаса он букой просидел на диване, полчаса по-пустому проспорил с Динэрой, потом пил с фронтовиками,— у Клары не было порыва захватить его, увлечь, оттащить.

А между тем пришла её последняя пора, и именно нынешняя, только сейчас. Наступило её предельное созревание, и если сейчас упустить, то дальше будет старее, хуже или ничего.

И неужели это сегодня утром?— сегодня утром! и в той же самой Москве!— был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй — и клятва *ждать*? Это сегодня — она три часа плела корзиночку на ёлку?..

То не было на земле. То не было во плоти. То четверть века не могло овеществиться. То — приснилось.

На верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгорячённую подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья.

Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему всё ещё было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.

„Ведь вы не могли бы меня *ожидать*!"— сказал он ей.

И она ответила:

„Почему не могла бы? Могла бы..."

— ...Такие допотопности, как ты, только на *вере* и держатся,— рвался почти под ним сочный молодой голос, но с пригашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко.— Именно на вере, да на какой вере — ложной! А *науки* у вас отроду не было!

— Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм — не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души?

— Да не нюхали вы настоящей науки! Вы — не *зиждители*! И поэтому совсем даже не знакомы с наукой! Предметы всех ваших рассуждений — призраки, а не вещи! А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!

— Золотко? Ком-иль-фончик! Так та́к у нас и есть: всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия — из трёх законов диалектики.

— Вещное знание подтверждается умением применять выводы на деле!

— Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный,— Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал,— материалист! Хотя немного примитивный.

— Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!

— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия! Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне это, может быть, так же

скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе дотрусывает, як знает!

— Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих — а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров... Да на воле — (глухо) — при наличии ЧК, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда,— (звонко) — здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками!— и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! И вам остаётся только лаяться и ругаться.

— По-моему, до сих пор ты облаял меня больше, чем я тебя.

Сологдин и Рубин, как своrожённые своими вечными разногласиями, всё сидели у опустевшего именинница. Абрамсон давно ушёл читать „Монте-Кристо“; Кондрашёв-Иванов — размышлять о величии Шекспира; Прянчиков убежал листать прошлогодний у кого-то „Огонёк“; Нержин отправился к дворнику Спиридону; Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнёс тумбочки и лёг, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Прянчикова в закутке у последней оставленной тумбочки.

Однако тянуло к спору одного Сологдина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нём, не улегались. Да и вообще по его расписанию всякий воскресный вечер отводился забавам. А какая забава могла быть распотешней, чем — срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия!

Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершённая только что работа была у него, а напротив — навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Ещё звали его два письма: одно от жены, другое от любовницы. Когда же было и ответить, как не се-

годня! — жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице — нежные заверения. А ещё звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И ещё сверх: то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побеждён, ибо представлял тут, на шарашке, передовую идеологию. И вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам.

Тише и мягче Сологдин увещевал:

— Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовём. Берём лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.

— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?

— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах или ни в чём не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочерёдно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увиливать, отказываться от употреблённых выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.

— И время — не ограничивается?

— Для одержания истины — нет!
— А ещё на эспадронах мы драться не будем?
Воспламенённое лицо Сологдина омрачилось:
— Вот так я и знал. Ты первый наскакиваешь на меня...
— По-моему, ты первый!..
— ...даёшь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! попятник!— (он избегал иноземного непонятного слова „реакционер“) — увенчанный прислужник — (значило: „дипломированный лакей“) — поповщины! У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить,— у тебя нет времени, нет охоты, ты устал! Однако у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну!
— Уже полмира!— вежливо поправил Рубин.— Для дела у нас всегда есть время и силы. А — болтать языком? О чём нам с тобой? Уже между нами всё сказано.
— О чём? Предоставляю выбор тебе!— галантным широким жестом (род оружия! место дуэли!) ответил Сологдин.
— Так я выбираю: ни о чём!
— Это не по правилам!
Рубин затеребил отструек чёрной бороды:
— По каким таким правилам? Что ещё за правила? Что за инквизиция? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах всё же иметь согласие...
— Вот, вот! я ж и говорю: чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих!— (Так на Языке Предельной Ясности обозначалась „диктатура пролетариата“.) — И спорили бы только о том, написал ли закорючку Маркс натощак или Энгельс после обеда.
Нет, невозможно было избавиться от этого издевателя! Рубин вскипел:
— Да пойми ты, пойми ты, что — глупо! Ты и я — о чём мы можем говорить? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись — мы с тобой с разных планет. Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас ещё лучший способ решения обид!
— А попробуй доказать обратное!— откинулся Сологдин, сияя.— Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями?

— Да твои ж драчуны! Лыцари!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это зенит истории!

— Это — вершина человеческого Духа!— выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помавал над головою пальцем.— Это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!

— И вьюки награбленного добра? Ты — докучный гидальго!

— А ты — библейский фанатик!.. то есть, *одержимец*!— парировал Сологдин.

— Ведь для тебя Белинский ли, Чернышевский ли, все наши лучшие просветители — недоучившиеся поповичи?!

— Долгополые семинаристы!— ликуя, добавил Сологдин.

— Ведь для тебя не говорю уже — наша, но даже Французская революция, через сто пятьдесят лет после неё — тупой бунт черни, наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации — не так ли?

— Разумеется!! И попробуй доказать обратное! Всё величие Франции кончается восемнадцатым веком! А что́ было после бунта? Пяток заблудившихся великих людей? Полное вырождение нации! Чехарда правительств на потеху всему миру! Бессилие! безволие! ничтожество!! прах!!!

Сологдин демонически захохотал.

— Дикарь! пещерный житель!— возмущался Рубин.

— И никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью римской церкви!

— И вот ещё: для тебя Реформация — не естественное освобождение человеческого разума от церковных вериг, а...

— Безумное ослепление! лютеранское сатанинство! Подрыв Европы! Самоуничтожение европейцев! Хуже двух мировых войн!

— Ну вот... ну вот!.. Вот-вот!..— вставлял Рубин.— Ты же — ископаемое! ихтиозавр! О чём нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли нам разойтись мирно?

Сологдин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить!— забава уходила, забава ещё не состоялась. Сологдин тут же обуздался и неузнаваемо помягчел:

— Прости, Лёвушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтоб мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый приём спора-поединка на каком-нибудь лёгком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько *титлов* (это значило — *тем*). Хочешь спорить из словесности? Это — область твоя, не моя.

— Да ну тебя...

Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь бесславию. Рубин приподнялся, но Сологдин предупредительно шевельнулся:

— Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!

Рубин скучающе пожевал:

— Неужели мы гимназистки?

И — поднялся между кроватями.

— Хорошо, такой титл...— схватил его за руку Сологдин.

— Да пошёл ты...— отмахнулся Рубин, смеясь.— У тебя же всё в голове перевёрнуто! На всей Земле ты один остался, кто ещё не признаёт трёх законов диалектики. А из них вытекает — всё!

Сологдин светлой розовой ладонью отвёл это обвинение:

— Почему не признаю? Уже признаю.

— Ка-ак? Ты — признал диалектику?— Рубин засюсюкал трубочкой:— Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?

— Я не только её признал — я над ней *думал*! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты — не думал!

— Даже думал? Ты умнеешь с каждым днём! Но тогда о чём же нам спорить?

— Как?!— возмутился Сологдин.— Опять не о чем? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!

— Да что за насилие? О чём спорить?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками:

— Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап! О том будем спорить, что вы сами и трёх ваших законов не понимаете! Пляшете, как людоеды вокруг костра, а что такое огонь —

не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить!

— Ну, поймай!— не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая.

— Пожалуйста.— Сологдин сел.— Присаживайся.

Рубин остался на ногах.

— Ну, с чего б нам полегче?— смаковал Сологдин.— Законы эти — указывают нам *направление* развития? Или нет?

— Направление?

— Да! Куда будет развиваться... з-э...— он поперхнулся — ...процесс?

— Конечно.

— И в чём ты это видишь? Где именно?— холодно допрашивал Сологдин.

— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.

Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо, по-деловому.

— Какой же именно закон даёт направление?

— Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.

— У-гм. Третий — даёт? И как же его определить?

— Что?

— Направление, что!

Рубин нахмурился:

— Слушай, а зачем вообще эта схоластика?

— Это — схоластика? Ты не знаком с точными науками. Если закон не даёт нам числовых соотношений, да мы ещё не знаем и направления развития — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: „отрицание отрицания". Но что ты понимаешь под этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — всегда бывает в ходе развития или не всегда?

Рубин на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:

— В основном — да... Большей частью.

— Во-от!!— удовлетворённо взревел Сологдин.— У вас целый жаргон — „в основном", „большей частью"! Вы разработали тысячи таких словечек, чтоб не говорить прямо. Вам скажи „отрицание отрицания"— и в голове у вас отпечатано: зерно — из него стебель — из

него десять зёрен. Оскомина! Надоело! Отвечай прямо: к о г д а „отрицание отрицания“ бывает, а когда — н е б ы в а е т? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?

У Рубина следа не осталось его вялости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но всё равно важный спор.

— Ну, какое это имеет практическое значение — „когда бывает“, „когда не бывает“?!

— Нич-чего себе! Какое *деловое* значение имеет один из трёх основных законов, из которых вы в с ё выводите! Ну, как с вами разговаривать?!

— Ты ставишь телегу впереди лошади! — возмутился Рубин.

— Опять жаргон! жаргон! То есть, *феня*...

— Телегу впереди лошади! — настаивал Рубин. — А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, „когда бывает“, „когда не бывает“...

— А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется... Так слушай: если получение прежнего качества вещи *возможно* движением в обратном направлении, то отрицания отрицания н е бывает! Например, если гайка туго завёрнута и надо её отвернуть — отворачивай. Тут обра́тный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие м о ж е т пройти через отрицание, но и то: если в нём допустимы повторения. То есть: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний!

— Иван — человек, не Иван — не человек, — пробормотал Рубин, — ты как на параллельных брусьях...

— С гайкой. Если, заворачивая её, ты сорвал резьбу, то отворачивая, уже не вернёшь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный пруток, потом проточить и наконец нарезать новую гайку.

— Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — ну нельзя же серьёзно излагать диалектику на гайке.

— Почему нельзя? Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто?— И он вскинул подстриженную французскую бородку.

— Постой!— усмотрел Рубин.— В чём же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон даёт направление развития.

С рукой у груди Сологдин поклонился:

— Если бы тебе, Лёвчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, даёт! Но то, что закон даёт — надо научиться брать! Вы — умеете? Не молиться закону — а работать с ним? Вот ты вывел, что он направление даёт. Но ответим: всегда ли? В неживой природе? в живой? в обществе? А?

— Ну, что ж,— раздумчиво сказал Рубин.— Может быть, во всём этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще-то — словоблудие-с, милостивый государь.

— Словоблуды — вы!— с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин.— Три закона! Три ваших закона!— он как мечом размахивал в толпе сарацин.— А вы ни одного не понимаете, хотя всё из них выводите!..

— Да говорят тебе: не выводим!

— Из законов — не выводите?— изумился Сологдин, остановился в рубке.

— Нет!

— Так что они у вас — пришей кобыле хвост? А откуда вы тогда взяли — в какую сторону будет развиваться общество?

— Слу-шай!— Рубин стал вдалбливать нараспев.— Ты — дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа ма-те-ри-ала, разумеешь? Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.

— Так что́ они вам?— разорялся Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты,— три закона?— вообще не нужны?!

— Почему, очень нужны,— оговорил Рубин.

— А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только как попугаю повторять „отрицание отрицания"— так на чёрта они нужны?..

...Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их всё возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

— Слушайте, друзья! Самим не спится — уважайте сон других, если уж...— и он показал пальцем вверх наискосок, где лежал Руська,— если не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог выкрикивать безбоязненно) — заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий — не первый и не десятый — спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили, по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый свет погас, зажёгся ночной синий.

Руська Доронин, чьё ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них „материал". Он слышал недосказанный намёк Потапова, понял его, хотя и не видел устремлённого пальца — и испытал прилив нерешимой обиды, вызываемой у нас упрёками людей, чьё мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперативниками, он всё предвидел, он провёл бдительность врагов, был теперь накануне зримого торжества со *ста сорока семью* рублями,— но он был беззащитен против подозрения друзей! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен,— предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он — не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей,— нам становится втройне дорог тот, кто продолжает нас любить.

А если это — ещё и женщина?..

Клара!.. Она поймёт! Он завтра же откроется ей в своей авантюре — и она поймёт.

И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть, он извивался в своей распалённой постели, то вспоминая пытливые кларины глаза, то всё более уве-

ренно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионной Москве человека найти трудней, чем во всём обнажённом Воркутинском крае. В Москве-то и убегать!..

66

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли „хождением в народ“ и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие „народ“ есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделён на классы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что „народ“ есть безразличное тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для Колосса Духа. „Народ“ — это общее обозначение совокупности серых, грубых существ, беспросветно тянущих упряжку, в которую они впряжены рождением и из которой их освобождает только смерть. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие звёзды, разбросанные на тёмном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебывал и пропутался уже во многих крайностях.

Изнылая от боли за *страдающего брата*, русская литература прошлого века создала в нём, как во всех своих первочитателях,— в серебряном окладе и с нимбом се-

довласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно — на книжной полке и где-то *там* — в деревнях, на полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нём — большой город. В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее него и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным. А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил, обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вёл за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой народ очень правдоподобно слушал его политбеседы о том большом Народе, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых „избранных“ людей: в условиях, где только твёрдость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей,— эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сда-

чу, а при их образованности — отвратительно изощрёнными в оправданиях сделанной подлости; такие быстро вырождались в предателей и попрошаек. И самого себя Нержин увидел едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счёл, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгает дерево, обрубает металл, кто пашет землю и льёт чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всё умеющих рук и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришёл к моде прошлого века, что надо идти, спускаться *в народ*.

Но за замкнутым кругом шёл ещё хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, образованным барам XIX столетия, образованному зэку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, всё время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало ещё одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятника в тёмных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке,— Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не твёрже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, кото-

рую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбаться ему навстречу. А ещё они были много жадней к мелким благам: „дополнительной“ прокислой стограммовой пшённой бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той *точки зрения*, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев в который раз каким увлечением, Нержин — окончательно или нет? — понял Народ ещё по-новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать *человеком*. И через то — крупицей своего народа.

С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему *народ* преимущественно располагается не на верхах общества.

67

Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут ещё и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядрёным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало черпать.

Однако Нержин испытал затруднённость: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, ещё не было о чём им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа работяг жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону — Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — *волк* и рыскает за добычей для кума.

Хотя сам Спиридон считал своё положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгуют никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридевятьземельное от политики: как трущуюся рыбу бьют остя́ми, как её в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под *зябры*, а и ловят в сетя́; или как он ходил „по лосей, по медведя́ рудо́го" (а чёрного с белым галстуком медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Ещё был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; её прочили за богатого мельника, она же по любви договорилась бежать со Спиридоном — и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли: „Ну, что ходишь, волк? Не разживёшься, сам видишь."

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всём, не додуманном на воле,— месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарёю, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси — от первых починков в дремучем бору, ещё прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышлёнышем и очень жалел, что не родился пораньше.

Отдаваясь тёплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко-прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги. Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще — некстати) такие слова, как „принцип“, „пириод“ и „аналогично“. В те времена, когда Марфа Устиновна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

— Есенина?— не ожидал Нержин.— Вот здорово! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь.— И принёс маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймёт и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил „Хороша была Танюша“, „Молотьбу“.

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донёс — Нержин не узнал. Но вочью пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошёл в его доверие. Спиридон стал звать его на „ты“, и беседовали они теперь не в комнате, а под пролётом внутритюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спиридона замерцали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки — русского мужика, которому в год революций было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады не низвергались через него! какие валы не обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошёл со стариками на покос („за полдня косить научился“). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знамёнами на сходку. Как землю объявили крестьянской — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестрёнками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай и сдай. А после Пасхи и год Спиридонов, кому восемнадцать полных, пошёл девятнадцатый,— дёрнули в Красную Армию. Идти в армию от землицы никакого расчёта Спиридону не было, и он

с другими парнями подался в лес, и там они были *зелёными* („нас не трогай — мы не тронем"). Потом всё ж и в лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли средь их комиссара; такого не было, а вожака их стукнули для острастки, остальным велели надеть кокарды трёхцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых — забрали в плен красные (да и не отбивались особо, сами подались). Тут красные расстреляли офицеров, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и ещё потом на масляной повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинулся на землицу родную, отвоёванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп („кто хозяин хорош — по двору пройди, рубль найдёшь"), женился, завёл лошадей...

В ту пору у властей у самих ум расступался: подпирались-то всё бедняками, но людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки тоже к обзаводу тянулись,— кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: *интенсивник*. Слово это значило: кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках, а — по науке, со смёткой. И стал тогда Спиридон Егоров с жениной помощью — интенсивник.

„Хорошо жениться — полжизни",— всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за неё он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей-кажегодков, двух сыновей, потом дочь,— но рождение их ни на пядень не отрывало её от мужа. Она свою пристяжку тянула — сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал „Сам себе агроном"— и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шёл успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в по-

чёте был, в при́зидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели — еле детей выхватили из огня. И стали — голота́, ничто.

Но горевать долго им не привилось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далёкой Москвы — раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных Москвой же, теперь без разума же перекропляли в кулаки и изводили. И порадовались Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгрохать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обёртывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен „комиссаром по коллективизации"— сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий рево́львер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголо без скарбу, кулаков и не кулаков,— кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был лёгкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не разверереживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За всё то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнажёнными наганами один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро („у нас весь пи́риод никого долго не судят"), дали ему десять лет за „экономическую контрреволюцию" и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор — на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на „злоупотребление" и тем он из *социально-чуждых* стал *социально-близкий*. Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку *самоохраны*. И хотя ещё вчера Спиридон, как по-

рядочный зэк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников — ещё круче,— сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повёл своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это умеиьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре иачальник лагеря, у которого было *две ромбы*, поздравил его с освобождением. Спиридои документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал иа заводскую красиую доску как один из лучших стеклодувов. Ои гнал сверхурочные, чтобы наверстать всё, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатёнке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула войиа. Очень быстро фронт стал подходить к их посёлку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их посёлок успели согнать.

На каждом повороте спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что ещё выкииет Спиридон. Ои уж предполагал, не останется ли Спиридои ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь! Спиридон вёл себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра — закопал в землю, и как только оборудоваиие завода отправили вагоиами, а рабочим раздали телеги,— посадил на тýю телегу троих детей и жёнку и —„лошадь чужая, киут ие свой, погоняй не стой!"— от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустиуло, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьёй ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, так же нимало не сомневаясь в своей правоте, отбился в лесу, переждал лииию фроита — и иа той же телеге, и на лошади той же, ио уже не безразлично-казённой, а хранимой, своей — повёз семью назад, от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободиой чьей-то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать — обрабатывай. И Спиридои взял, и стал пахать её и засевать безо всяких угрызений совести и, не следя за сводками войны, работал увереиио и ровно, как если б то

шли далёкие годы, когда ни колхозов не было ещё, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили — собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать.— Кому-то и пахать,— отвечал Спиридон. И от земли — не пошёл. В партизаны изнудом гнали, объяснял он теперь, зто не то, чтоб стар и млад не могли ломтя хлеба прожевать, а дай им нож в зубы ползти на немца,— нет, спускали с парашютами московских инструкторов, и те выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно.

Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посерёдке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвёз он Марфу с детьми к её матери и тотчас пошёл к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со смёткой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он — с семьёй.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни.

А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дожидаясь *наших* и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и *две диски* и погнал за своею семьёй. Он втёрся в их поток как цивильный и опять вровень с той же телегой и похлёстывая тую же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался.

— Ай-я-яй! Что ж за чудо получается, Спиридон Данилыч? Как это мне всё в голову уместить? Ты ж на Кронштадт по льду шёл, ты нам советскую власть устанавливал, ты и в колхозы загонял ..

— А ты — не устанавливал?

Нержин терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы, что тогда, в семнадцатом-восем-

надцатом, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым.

Усмешка явственней обозначалась на губах Спиридона:

— Ты-то устанавливал — не заметил?— донимал он.

— Не заметил,— шептал Нержин, перебирая в памяти три года своего фронтового командования.

— Так вот и бывает... Сеем рожь, а вырастает лебеда...

Но дальше, дальше надо было ставить социальный эксперимент!— и Нержин только спрашивал:

— И что ж дальше, Данилыч?

Что ж дальше! Мог, конечно, опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И ещё поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, всё равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошёл и убёг оттуда, и уж семь бед, один ответ, и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми брать не будут — и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех — и он бросил ни за так телегу с лошадью и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына спиридонова младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского райха, дойди только до законов, замах такой значил — расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошёл к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

— Я сам — фатер. Я тебя — ферштэ́е.

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окалённый, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

— После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и всё зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек!— вот тебе и немец...

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего му-

жика. Все остальные тяжёлые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаньях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества — отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в лёгкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (ещё и американцы с самолётов их поливали) — он убежал оттуда со старшим сыном и, никого не спрашивая и не читая немецких надписей, днём перетаиваясь, одними ночами, по незнаемой земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просёк девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе — не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает всё — неоплошно.

Так же и в учении о добродетели всё у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал. Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть, но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, до женитьбы „клевал по бабам“,— так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь „не возжелай жены ближнего твоего“ ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключённый, почти слепой, очевидно обречённый здесь, в тюрьме, умереть,— Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей),— но со

старательною метлою своей в руках каждый день от зари до зари мёл двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Какие б ни были власти — с властями жил Спиридон всегда в раскосе.

Что любил Спиридон — это была земля.

Что было у Спиридона — это было семья.

Понятия „родина", „религия" и „социализм", не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

А всех сеятелей разумного-доброго-вечного, писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем (да он о том не знал), священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы на́ ...?!

68

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолчённый прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмостясь чурками, было не очень удобно, их малость запрокидывало,— оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперёд, но тоже упирались — в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил — и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шёл треугольник белёной, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал,

как все, папиросы „беломорканал", ещё раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей,— твёрдо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К немецким врачам Спиридон сберёг благодарность и почтение. Они ему, уже безнадёжно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутёмной комнате и велели — „смотри!" И мир забрезжил! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил тёмный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягчённое лицо глазного доктора с Рейна. Врач смотрел на освобождённого от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей тёплый голос, чья благодарность взахлёб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким.

А поступок был с точки зрения немцев хуже, чем дикарский.

Уже после конца войны Спиридон со всей семьёй жил в американском лагере перемещённых лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, ещё иначе „сват-сучка" за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было — принёс сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена — зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищён от русского авося — ладно; откупоривай, сват! Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он ещё хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают ещё одну, левый будет видеть совсем, а правый — наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но...

— Наши-то врали, стервы — в обои ухи не уберёшь. И колхозов больше нет, и всё вам прощается, братья и сёстры вас ждут, колокола звонят — хоть американские ботинки скидать, босиком сюдою бечь.

Нет! Это не помещалось в голове.

— Данилыч!— выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было ещё и передумать.— Да ведь не сам ли ты говорил... насчёт лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить?

Всё окруженье глаз Спиридона — и веки, и виски, и подглазья, были мелко-морщинисты. Он усмехнулся:

— Я-то?.. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Уж я у американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал.

— Так люди на чём ловились?— ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками, кто ж тебя в Советский Союз манил?

Вздохнул Спиридон:

— Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из поганой лужи лакнуть ещё дадут ли?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей всех трёх — нетерпёжка, дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Ещё получше наши врачи! Русскую, мол, школу им кончать надо, старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слёз не выхлюпывается — вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Мало было ей на Рейне русских, всё кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да житьё там убойное, у батьки уже по шее полозом тёрто, куды рвётесь? Нет, видать, обо всё обжечься надо — самому.

Так, не Спиридона первого, погубили его дети.

Короткие жёсткие усы его, рыжие с проседью, подрагивали при воспоминании:

— Листовкам ихним я на грош не верил, и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить — знал. Но так думал, что всё вину на меня опрокинут, дети — причём? Меня

посадят — дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили — и мою голову взяли и ихние.

На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине влепили и сыновьям, как батьке, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там ещё попестовал его два года. А другого сына зашвырнули на Колыму.

Таков был д о м. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он ещё сыну отдавал ежедён своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Средь той огрызаловки волчьей на глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить,— не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями,— а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно и чем дальше, тем острей, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой — не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых?.. Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика — мировая система философского скептицизма?..

Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня здесь под лестницей неожиданный и блестящий результат!

— Тошную я, Глеба,— говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорблой ладонью с силой протёр

по небритой щеке, как будто хотел ссадить с неё кожу.— Ведь четыре месяца из до́му писем не было, а?

— Ты ж сказал — у Змея письмо?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно):

— После четырёх-то месяцев? Что могёт быть в том письме?

— Как получишь завтра — прийди, прочту.

— Да уж вбежки к тебе.

— Может, на почте какое пропало? Может, *кумовья* замотали? Не волнуйся, Данилыч, зря.

— Чего — зря, как сердце скомит? За Веру боюся. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронёс её и выхранил. Ручной гранатой он спас её в минских лесах от злых людей, добивавшихся её, пятнадцатилетнюю, изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы?

Нержин представил себе непродёрный пермский лес; пулемётную стрельбу бензопил; отвратительный рёв тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозлённых чёрных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова — и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих её женские стати. Она спит с ними у костров; никто, проходя, не упускает случая её облапать. Конечно не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нём, что искал: перетяжку, противовес учёным своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас, здесь, народное сермяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нём?

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной попрежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издалека, начал высказывать свой вопрос:

— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои

скитания. Крученая у тебя жизнь, да ведь наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Всё чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким...— он чуть не сказал „критерием“— ...с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Вот ты говоришь — сеяли рожь, а выросла лебеда. Так всё-таки, сеяли-то — рожь, или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго — думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый — и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.

Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

— А теперь если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь — так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твоё место сяду, да „но! но!“, а не тянет оно — так и я трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав — так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется — мы правы, а тем кажется — они правы. Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

— Да я́ тебе скажу!— с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра.— Я́ тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!

— Как-как-как?— задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так,— с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину:— *Волкодав прав, а людоед — нет.*

И, приклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину:

— Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою пе-

рекроет, и ещё мильён людей, но с вами — Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах?— Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву.— Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу — не осталось! я бы сказал,— он вывернул голову к самолёту:— А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.

69

Заступивший дежурить с воскресного вечера стройный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошёл лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошёл бы и второй раз, да не мог отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки её дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться, она же со смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

— Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключённых во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет — и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он: взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологдина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шёл первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Но это был и тот особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона невинной диалектики,— но ни за одну неровность не зацепясь, ни на одной спасительной площадочке не замедля, их спор, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

— Так если *противоположности* нет, так и *единства* нет?!

— Ну?

— Что — „ну"? Своей тени боитесь! Верно или неверно?

— Конечно. Верно.

Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперёд его плечи, заострило лицо:

— Значит: в чём нет противоположностей — то не существует? Зачем же вы обещали бесклассовое общество?

— „Класс"— птичье слово!

— Не увернёшься! Вы знали, что общество без противоположностей невозможно — и нагло обещали? Вы...

Они оба были пятилетними мальчишками в девятьсот семнадцатом году, но друг перед другом не отрекались ответить за всю человеческую историю.

— ...Вы распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших! И для этого надо было убивать столько миллионов людей?

— Ты ослеп от печёнки!— вскрикнул Рубин, теряя осторожность говорить приглушенно, забывая щадить противника, который рвётся его удушить. (Громкость аргументов самому ему, как стороннику власти, не угрожала.) — Ты и в бесклассовое общество войдешь, так не узнаешь его от ненависти!

— Но сейчас, сейчас — бесклассовое? Один раз договори! Один раз — не увёртывайся! Класс новый, класс правящий — есть или нет?

Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос! Потому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла.

Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежало по высоколобому лицу правоверного.

— А социально — он отграничен? — кричал Рубин. — Разве можно чётко указать, кто правит, а кто подчиняется?

— Мо-ожно! — полным голосом отдавал и Сологдин. — Фома, Антон, Шишкин-Мышкин правят, а мы...

— Но разве есть устойчивые границы? Наследство недвижимости? Всё — служебное! Сегодня — князь, а завтра — в грязь, разве не так?

— Так тем хуже! Если каждый член может быть низвергнут — то как ему сохраниться? — „что прикажете завтра?“ Дворянин мог дерзить власти как хотел — рождения отнять невозможно!

— Да уж твои любимые дворянчики! — вон, Сиромаха!

(Это был на шарашке премьер стукачей.)

— Или купцы? — тех рынок заставлял соображать, быстро поворачиваться! А ваших — ничто! Нет, ты вдумайся, что это за выводок! — понятия о чести у них нет, воспитания нет, образования нет, выдумки нет, свободу — ненавидят, удержаться могут только личной подлостью...

— Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта — служебная, временная, что с отмиранием государства...

— О т м и р а т ь ? — взвопил Сологдин. — Сами? Не захотят! Добровольно? Не уйдут, пока их — по шее! Ваше государство создано совсем не из-за *толстосумного окружения*! А — чтобы жестокостью скрепить свою противоестественность! И если б вы остались на Земле одни — вы б своё государство ещё и ещё укрепляли бы!

У Сологдина за спиною мглилась многолетняя подавленность, многолетний скрыв. Тем большее высвобождение было — открыто швырять свои взгляды доступному соседу, и вместе с тем убеждённому большевику и, значит, за всё ответственному.

Рубин же от первой камеры фронтовой контрразведки и потом во всей веренице камер бесстрашно вызывал на себя всеобщее исступление гордым заявлением, что он — марксист, и от взглядов своих не откажется и в тюрьме. Он привык быть овчаркою в стае волков, обороняться один против сорока и пятидесяти. Его уста запекались от бесплодности этих столкновений, но он обязан, обязан был объяснять ослеплённым их ослепление, обязан был бороться с камерными врагами за них самих, ибо они в большинстве своём были не враги,

а простые советские люди, жертвы Прогресса и неточностей пенитенциарной системы. Они помутились в своём сознании от личной обиды, но начнись завтра война с Америкой, и дай этим людям оружие — они почти все поголовно забудут свои разбитые жизни, простят свои мучения, пренебрегут горечью отторгнутых семей — и повалят самоотверженно защищать социализм, как сделал бы это и Рубин. И, очевидно, так поступит в крутую минуту и Сологдин. И не может быть иначе! Иначе они были бы псами и изменниками.

По острым режущим камням, с обломка на обломок, допрыгал их спор и до этого.

— Так какая же разница?! какая же разница?! Значит, бывший зэк, просидевший ни за́ хрен, ни про́ хрен десять лет и повернувший оружие против своих тюремщиков — изменник родине! А немец, которого ты обработал и заслал через линию фронта, немец, изменивший своему отечеству и присяге,— передовой человек?

— Да как ты можешь сравнивать?!— изумлялся Рубин.— Ведь объективно мой немец за социализм, а твой зэк против социализма! Разве это сравнимые вещи?

Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства — глаза Сологдина вытекли бы голубыми струйками, с такой страстностью он вонзался в Рубина:

— С вами разговаривать! Тридцать лет вы живёте и дышите этим девизом,— сгоряча сорвалось иностранное слово, но оно было хорошее, рыцарское,— „цель оправдывает средства", а спросить вас в лоб — признаёте его?— я уверен, что отречётесь! Отречётесь!

— Нет, почему же?— с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин.— Лично для себя — не принимаю, но если говорить в общественном смысле? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употреблённые для её достижения.

— Ах, вот даже как!— увидев уязвимое рапире место, нанёс Сологдин моментальный звонкий удар.— Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства! Вероломные средства уничтожают и самую цель!

— То есть, как это — вероломные? Чьи это — вероломные! Может быть, ты отрицаешь средства революционные?

— Да разве у вас — революция? У вас — одно злодейство, кровь с топора! Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся!

Нигде не задерживаясь, как ночной скорый, мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, проносился их спор по тёмным и светлым местам их памяти, и всё, что на мгновение выныривало — бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качение их сцепленных мыслей.

— Чтобы судить о стране, надо же хоть немножко её знать!— гневался Рубин.— А ты двенадцать лет киснешь по лагерям! А что ты видел раньше? Патриаршьи Пруды? Или по воскресеньям выезжал в Коломенское?

— Страну? Ты берёшься судить о стране?— кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили.— Позор! Тебе — позор! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни — Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи, они из ж и з н и своей тебе всё рассказывали — так разве ты их слушал? А здесь? Вартапетов, потом этот, как его...

— Кто-о? Зачем я их буду слушать? Ослеплённые люди! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах социализма. Их обсерватория — камерная параша, их воздух — ароматы параши, у них — кочка зрения, а не точка!

— Но кто же, кто же те, кого ты способен слушать?

— Молодёжь! Молодёжь — с нами! А это — будущее!

— Мо-ло-дёжь?! Да придумали вы себе! Она — чихать хотела на ваши... *светлообразы*!— (Значило — идеалы.)

— Да как ты смеешь судить о молодёжи?! Я с молодёжью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного змигрантишки на пересылке слышал? Да как может быть молодёжь безыдейна, если в стране — десятимиллионный комсомол?

— Ком-со-мол??.. Да ты — слабоумный! Ваш комсомол — это только перевод *твёрдо-уплотнённой бумаги* на членские книжки!

— Не смей! Я сам — старый комсомолец! Комсомол был — наше знамя! наша совесть! романтика, бескорыстие наше — вот был комсомол!

— Бы-ыл! Был да сплыл!

— Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты!

— И я за это довольно поплатился! Я наказан за это! Мефистофельское начало! — всякого, кто коснётся его... Маргарита! — потеря чести! смерть брата! смерть ребёнка! безумие! гибель!

— Нет, подожди! нет, не Маргарита! Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времён ничего не осталось в душе!

— Вы, кажется, заговорили о *душе*? Как изменилась ваша речь за двадцать лет! У вас и „совесть", и „душа", и „поруганные святыни"... А ну-ка бы ты эти словечки произнёс в твоём святом комсомоле в двадцать седьмом году! А?.. Вы растлили всё молодое поколение России...

— Судя по тебе — да!

— ...А потом принялись за немцев, за поляков...

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два остобеселых шахматиста за доской да непродорно кашляющий старый куряка-кузнец и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспламенённые лица да под углом друг к другу выставленные большая чёрная борода и аккуратненькая белокурая.

— Глеб!..

— Глеб!.. — наперебой позвали они, увидев, как с лестницы от уборной вышли Спиридон и Нержин.

Они звали Глеба, каждый в нетерпеливом ожидании удвоить свою численность. Но он и сам уже направлялся к ним, в тревоге от их возгласов и размахивания. Даже и не слыша ни слова со стороны, и дурак бы догадался, что тут завелись о большой политике.

Нержин подошёл к ним быстро и прежде, чем они в один голос спросили его о чём-то противоположном, ударил каждого кулаком в бок:

— Разум! Разум!

Таков был их тройной уговор на случай горячки спора, чтобы каждый останавливал двух других при угрозе стукачей — и те обязаны подчиниться.

— Вы с ума сошли? Вы уже намотали себе по *катушке*! Мало? Дмитрий! Подумай о семье!

Но не только развести их миролюбно — их и пожарной кишкой нельзя было сейчас разлить.

— Ты слушай!— тряс его Сологдин за плечо.— Он наших страданий ни во что не ставит, они все — *закономерны*! Единственные страдания он признаёт — негров на плантациях!

— А я уж на это Лёвке говорил: тётушка Федосевна до чужих милосерда, а дома не евши сидят.

— Какая узость! Ты не́ интернационалист!— воскликнул Рубин, глядя на Нержина как на пойманного карманника.— Ты послушал бы, что он тут плёл: императорская власть была благодеянием для России! Все завоевания, все мерзости, проливы, Польша, Средняя Азия...

— Моё мнение,— решительно присудил Нержин:— для спасения России давно надо освободить все колонии! Усилия нашего народа направить только на внутреннее развитие!

— Мальчишка!— жёлчно воскликнул Сологдин.— Вам волю дай — вы всю землю отцов растрясёте... Ты ему скажи — сто́ит полгроша их комсомольская романтика? Как они учили крестьянских детей доносить на родителей! Как они корки хлеба не давали проглотить тем, кто хлеб этот вырастил! И ещё смеет он мне тут заикаться о добродетели!

— Уж бу́льно ты благороден! Ты считаешь себя христианином? А ты никакой не христианин!

— Не святохульничай! Не касайся, чего не понимаешь!

— Ты думаешь, если ты не вор и не стукач — этого достаточно для христианина? А где твоя любовь к ближнему? Правильно про вас сказано: которая рука крест кладёт — та и нож точит. Ты не зря восхищаешься средневековыми бандитами! Ты — типичный конквистадор!

— Ты мне льстишь!— откинулся Сологдин, красуясь.

— Льщу? Ужас, ужас!— Рубин запустил пальцы обеих рук в свои редеющие волосы.— Глеб, ты слышишь? Скажи ему: всегда он в позе! Надоела его поза! Вечно он корчит Александра Невского!

— А вот это мне — совсем не лестно!

— То есть как?

— Александр Невский для меня — совсем не герой. И не святой. Так что это — не похвала.

Рубин стих и недоумело переглянулся с Нержиным.

— Чем же ето тебе не угодил Александр Невский? — спросил Глеб.

— Тем, что он не допустил рыцарей в Азию, католичество — в Россию! Тем, что он был против Европы! — ещё тяжело дышал, ещё бушевал Сологдин.

— Это что-то ново!.. Это что-то ново!.. — приступал Рубин с надеждой нанести удар.

— А зачем России — католичество? — доведывался Нержин с выражением судьи.

— За-тем!! — блеснул молнией Сологдин. — Затем, что все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства! Затем, что православная церковь не могла противостоять государству! Безбожный народ был беззащитен! И получилась косопузая страна. Страна рабов!

Нержин лупал глазами:

— Нич-чего не понимаю. Не ты ли сам меня корил, что я — недостаточный патриот? И — землю отцов растрясёте?..

Но Рубин уже видел, где у врага обнажилось незащищённое место.

— А как же — святая Русь? — спешил он. — А Язык Предельной Ясности? А защита от птичьих слов?

— Да, в самом деле? Как же Язык Предельной Ясности, если — косопузая?

Сологдин сиял. Он покрутил кистями отставленных рук:

— Иг-ра, господа! Игра!! Упражнение под закрытым забралом! Ведь надо же упражняться! Мы обязаны постоянно преодолевать сопротивление. Мы — в постоянной тюрьме, и надо казаться как можно дальше от своих истинных взглядов. Одна из девяти сфер, я тебе говорил...

— Ошарий...

— Нет, сфер!

— Так ты и в этом лицемерил! — новым огнём подхватился Рубин. — Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?

— Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? — ахнул Сологдин. — А не вы её з а р е з а л и в семнадцатом году?

— Разум! Разум! — ударил их Глеб обоих кулаками в бока. Но спорщики не только не очнулись, они даже

не заметили, через красную пелену они уже не видели его.

— Ты думаешь, тебе коллективизация когда-нибудь простится?

— Ты вспомни, что рассказывал в Бутырках! Как ты жил с единственной целью сорвать миллион! Зачем тебе миллион для Царства Небесного?

Они два года уже знали друг друга. И теперь всё узнанное друг о друге в задушевных беседах старались обернуть самым обидным, самым уязвляющим способом. Они всё припоминали сейчас и швыряли обвинительно.

— Ну, а не понимаете человеческого языка — наматывайте, наматывайте,— крякнул Нержин.

И, махнув рукой, ушёл. Он утешал себя, что в коридорах никого и в комнатах спят.

— Позор! Ты растлитель душ! Твои питомцы возглавляют восточную Германию!

— Мелкий честолюбец! Как ты гордишься своей дворянской кровишкой!

— Раз Шишкин-Мышкин вершат правое дело — почему им не помочь, не *постучать*, скажи?.. И Шикин напишет тебе хорошую характеристику! И твоё дело пересмотрят...

— За такие слова морду бьют!

— Нет, почему ж, рассудим! Поскольку мы все сидим — верно, только ты один — неверно, и значит тюремщики правы... Это только последовательно!

Они бессвязно перебранивались, уже почти не слыша друг друга. Каждый высматривал и преследовал одно: найти бы такое место, куда побольнее ударить.

— Посмотри, как ты залгался! всё на лжи! А вещаешь так, будто не выпускал из рук распятия!..

— Вот ты не захотел спорить о гордости в жизни человека, а тебе очень бы надо гордости подзанять. Каждый год два раза суёшь им просьбы о помиловании...

— Врёшь, не о помиловании, о пересмотре!

— Тебе отказывают, а ты всё клянчишь. Ты как собачёнка на цепи — над тобой силён, у кого в руках цепь.

— А ты бы не клянчил? У тебя просто нет возможности получить свободу. А то бы на брюхе пополз!

— Никогда!— затрясся Сологдин.

— А я тебе говорю! Просто у тебя способностей не хватает отличиться!

Они истязали друг друга до измождения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу нудный изматывающий ночной спор двух арестантов в одиноком запертом здании на окраине Москвы.

Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити,— а два истребительных разноимённых потенциала.

Именно эти потенциалы они и ощущали друг в друге отчётливо, безошибочно — вчерашних или завтрашних слепых безумных победителей, непробиваемо-бесчувственных к доводам рассудка, как эти тюремные стены.

— Нет, ты скажи мне: если ты всегда так думал — как ты мог вступить в комсомол?— почти рвал на себе волосы Рубин.

И второй раз за полчаса Сологдин от крайнего раздражения раскрылся без надобности:

— А как мне было *не* вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем — как ушей бы мне не видать института! Глину копать!

— Так ты притворялся? Ты подло извивался!

— Нет! Я просто шёл на вас под закрытым забралом!

— Так если будет война,— у сражённого последней догадкою Рубина даже сдавило грудь,— и ты дотянешься до оружия...

Сологдин выпрямился, скрещая руки, и отстранился как от проказы:

— Неужели ты думаешь — я защищал бы в а с?

— Это — кровью пахнет!— сжал Рубин кулаки, волосатые у кистей.

Говорить дальше или даже душить, или даже бить друг друга кулаками — всё было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо только такой язык мог понять второй из них.

Но автоматов не было.

И они разошлись, задыхаясь — Рубин с опущенной, Сологдин — со вскинутой головой.

Если раньше Сологдин мог колебаться, то теперь-то с наслаждением влепит он удар этой своре: не давать им шифратора! не давать! Не катить же и тебе их проклятой колесницы! Ведь потом не докажешь, как они были слабы и бездарны! Нагалдят, нагудят, назвенят, что всё — от *закономерности*, что быть иначе не могло. Они

свою историю пишут, не упускают! все внутренности в ней переворачивают.

Рубин отошёл в угол и сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. Ему прояснялся тот единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проберёшь, меднолобых! Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! — вот это одно они поймут. Перемочь болезнь, слабость, нежелание — и завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции.

Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин!

70

Уже заполночь Иннокентий и Дотнара возвращались домой в такси.

На пустеющие улицы, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением.

Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тестя её внезапной покорностью, та теплота не минула и сейчас, за кромою глаз людских. Дотти непринуждённо переполаскивала — о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с клариным замужеством, — Иннокентий дружелюбно слушал её.

Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток, и почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сейчас, как с этой любленой, опостылой, клятой, брошенной, изменившей женщиной, и всё равно неотъёмной, и всё равно содорожницей.

Он нерассудно обнял её вокруг плеч.

Ехали так.

Им самим же отвергнутые касания этой женщины сейчас опять заныли в нём.

Он покосился. Покосился на её губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить, и длить, и длить — и не пресыщает. Были поводы Иннокентию узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине всё, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и ещё многое надо было бы по частям, по частям собирать из

разных в одну, как природа не хочет делать. А ещё собирать — душевные движения, и нрав, и ум, и обычай.

Можно простить Дотти, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У неё есть немало.

Вдруг вошла ему такая мысль: что, если б эта женщина никогда бы не была его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала другому, но вот так он обнял бы её в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой — что б он к ней сейчас испытывал?

Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках, и во многих? А если это его жена — то оскорбительно?

Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая, попорченная, она ещё гибельней его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас.

И снял руку.

Конечно, всё было легче, чем думать, как за ним охотятся. Как, может быть, дома ждёт его сейчас засада. На лестничной клетке. Или даже в самой квартире — ведь *им* нетрудно открыть, войти.

Он даже ясно, уверенно представил: именно так! уже затаились в квартире и ждут. И как только он откроет — выскочат в коридор из комнат и схватят.

Может быть, последние минуты его вольной жизни и были — эти покойные минуты на заднем сиденьи в обнимку с Дотти, не подозревающей ничего.

Может быть, пришла всё-таки пора сказать ей что-то?

Он посмотрел на неё с жалостью, даже с нежностью,— а Дотти сейчас же вобрала этот взгляд, и верхняя губа её мило вздрогнула, по-оленьи...

Но что́ б он мог ей в трёх словах сказать — и даже не при таксёре, уже разочтясь? Что не надо путать отечества и правительства?.. Что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима? Что нашей стране совсем не надобно военной мощи — и вот тогда мы только и будем ж и т ь?

Этого почти никто не поймёт среди власти. Не поймут академики!— особенно те, кто сами кропают эту бомбочку. Что же способна понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата?

Ещё он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти — разрушить всё настроение задушевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым за-

мечанием. Нет у неё тонкости, никогда не было — и как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было?..

В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом, вставил поворачивать английский, естественно отступил пропустить её вперед — а пропускал-то в капкан! — но, может, лучше, что её первую? она ничего не теряет, а он увидит и...— нет, не побежит, но пять секунд лишних будет думать!..

Дотти вошла, зажгла свет.

Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей. Не было чужих небрежных следов на полу.

Впрочем, это ещё ничего не доказывало. Ещё все комнаты надо осмотреть.

Но уже сердце верило, что нет никого! Сейчас — на засов, на другой засов! И ни за что не открывать!— спят, нету...

Распахивалась тёплая безопасность.

И соучастницей безопасности и радости была Дотти.

Он благодарно помог ей снять пальто.

А она наклонила перед ним голову, так, что он затылок видел её, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью:

— Побей меня. Как мужик бабу бьёт... Побей хорошенько.

И — посмотрела, в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, её: она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали, чрезмерно высыхали, до тёмной пустоты.

Но Иннокентий — не был мужик. Он не готов был бить жену. Даже не задумывался, что это вообще можно.

Он положил ей руки на плечи:

— Зачем ты бываешь такой грубой?

— Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим спрячусь. Побей меня.

Так и стояли, беспомощно.

— Вчера и сегодня мне так тяжело, мне так тяжело...— пожаловался Иннокентий.

— Знаю,— уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти.— А я тебя сейчас успокою.

— Вряд ли,— жалко усмехнулся он.— Это не в твоей власти.

— Всё в моей,— глубокозвучно внушала она, и Иннокентий стал верить.— На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?

И уже Иннокентий погрузился в её губы, возвращаясь в любимое прежнее.

И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват, сладкий.

Они пошли через комнаты, не разъединяясь и забыв искать засаду.

И погружённый в тёплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб.

Дотти окружала его.

71

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят зэков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на неё затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и ещё на двух этажах коек, видя во сне: старики — родных, молодые — женщин, кто — пропажи, кто — поезд, кто — церковь, кто — судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они — арестанты, что если они бродят по зелёной траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которое выдумал Лонгфелло во „Сне невольника",— не было им дано. Сотрясенье незаслуженного ареста и десяти- и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъёма — просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встаёт на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной

клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевой телефон,— тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывал больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, потайно подстережа этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать,— двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кой-как, без портянок, был в истрёпанной фронтовой шинели, наброшенной сверх нижнего белья. Мрачная чёрная борода его была всклочена, редеющие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утишались палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить,— по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик „Проекта Гражданских Храмов“ и плохо отточенный карандаш. Всё это, и коробку лёгкого табака и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперёд по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко — и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто — враг и посажен врагами. Но своё положение здесь (да ещё Абрамсона) он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казёнными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный, прогрессивный закон,— Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме, напротив, не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть ли не кусали — из-за того, что они видели только горе своё и не видели великой Закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы вы-

местить на нём, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности. А он в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре обязан был с неистощимою силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке всё идёт так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура. Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они — народ, а Рубины — одиночки. Но всё в нём знало, что это — ложь! Народ был — вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами, народ тёк демобилизационными поездами к востоку, шёл восстанавливать ДнепроГЭС, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой спёртой камерной борьбе против десятков.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат — раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

— Мне плохо,— сказал Рубин.— Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.

— Ладно, позвоню.

Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.

Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Лёвка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Лёвка схватился за это восторженно. Но не уберёгся соседского мальчишки. Тот подглядел и *завалил* Лёвку. Лёвка не выдал брата — он сплёл историю, что нашёл шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской *внутрянки*, двадцать лет назад, представилась Рубину, всё так же мерно, топтальной поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу — открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца — регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Лёвка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице,— и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму:

— Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому!), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает — но триста узников в трёхстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

— Долой кровавых псов!

— Рабочей крови захотелось?

— Опять царя на шею?

— Да здравствует ленинизм!..

И вдруг в каких-то камерах исступлённые голоса начинают:

Вставай, проклятьем заклеймённый...

И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения:

Это есть наш последний
И решительный бой!..

Не видно, но у многих поющих, как и у Лёвки, должны быть слёзы восторга на глазах.

Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном...

Какие волны боли в затылок! Что за распиранье в правом подвздошьи!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

— Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

— Так сходите ногами!— с мучительным раздражением прикрикнул он.— Мне п л о х о, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

— Ну, ладно,— согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, всё так же безнадёжно отмеривая заплёванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания — скрываемые, палящие.

...Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал „молнии" об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: „Здравствуй, товарищ Постышев!"— и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стрижеными волосами, повязанными красной косынкой:

— Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?

— Здравствуй, товарищ Рубин,— пожала она ему руку.— Садись.

Он сел.

Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых чёрных тонах.

Женщина стеснённо, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:

— Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж ещё?!

Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на „вы“ — и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна — потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Не то, что троцкистов — уже и бухаринцев начали забывать. Всё, что предлагал расколоучитель и за что был выслан из Союза,— Сталин теперь ненаходчиво, рабски повторял. Из тысячи утлых „лодок“ крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили „океанский пароход“ коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырёх заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И „518“ и „1040“ [1] были уже почти за плечами. Всё объективно свершалось во славу Мировой Революции — и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела? (И даже новое это имя Лёвка заставил себя полюбить. Да, он уже любил Его!) И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде?

— Я не знаю. Никогда он троцкистом не был,— отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по взрослому, без чердачной мальчишеской романтики,— запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она — наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни

---

[1] 518 новых строек первой пятилетки и 1040 новых МТС — известный частый лозунг того времени.

ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?!— он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.

Рубин открыл — когда, где состоял брат, что́ делал. И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:

— Значит, если я правильно вас понял...— и прочёл с листа записанное.

— Теперь подпишитесь. Вот здесь.

Лёвка отпрянул:

— Кто вы?? Вы — не Партия!

— Почему не партия?— обиделся гость.— Я тоже член партии. Я — следователь ГПУ.

Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный ото сна, просопел:

— Ну, чего стучишь? Сколь раз звонил я — не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

— Я вас *сходить* просил, а не звонить! Мне с сердцем плохо!! Я умру может быть!

— Не умрё-ошь,— примирительно и даже сочувственно протянул вертухай.— До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди — как же я уйду, а пост брошу?

— Да какой идиот ваш пост возьмёт!— крикнул Рубин.

— Не в том, что возьмёт, а устав запрещает. В армии — служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искажённое лицо, надзиратель решился:

— Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушёл, Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась.

Он опять стал мерно ходить по коридору.

...А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать. Которые забыть — значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что́ тогда видел в этом? „Вот и я захватил гражданскую войну". Только.

Разумелось само собой! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дитё хозяйское умирало — подыхайте вы, злыдни, и со своим дитём, а хлеба испечь — не дать. И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом. Кнутом в ставенку:

— Покойники е́? Вынóсьтэ.

И в следующую ставенку:

— Покойники е? Выносьтэ.

А скоро и так:

— Э! Чи тут е живы́?

А сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжёт. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!

Пусть. Справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено? — как это счистить с себя? Кому бы сказать: о, этого не было! Теперь будем считать, что этого не было! Сделай так, чтоб этого не было!..

Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся?..

На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали — и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

— Нельзя, — сказал надзиратель в форточку. — Сам ходил, докладывал. Говорят — нельзя. Отложить до утра.

— Я — умираю! Я — умираю! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю!

— Чего — голодовку! Тебя кто кормит, что ли? — рассудительно возразил вертухай. — Утром завтрак будет — там и объявишь... Ну, походи, походи. Я старшине ещё назвоню.

Никому из сытых своею службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта.

Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого!

Превозмогая дурноту и боль, Рубин всё так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова „Булат“. Басня эта на воле проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила.

Булатной сабли острый клинок
Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок
И мужику задаром продан там.

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды Ёж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему? И Булат ответил Ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

Нет, стыдно то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен!..

72

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру.

Как ни ожесточённо он отвергал доводы Сологдина,— тем больней было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы,— с кого брать пример молодёжи?

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Ещё и теперь какая польская крестьянка предпримет серьёзный шаг в жизни без совета ксёндза?

Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя — спасать людскую нравственность!

Как это сделать? Этому послужит „Проект о создании гражданских храмов“, уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться

передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя — в ЦК обидятся, что такие советы им даёт политзаключённый. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей — славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку „золотым руном"— по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно,— задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохо оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спёртом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусонные зэки,— безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости ещё выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным, гражданским годовщинам и семейным событиям — обрядной торжественностью актов. А для того повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на головы начальства, излагалась организационная сторона: в населённых пунктах какого масштаба или из расчёта на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там; продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям.

В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов должны быть необычны, и выражать белоснежную чистоту своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пенья, от использования цветных стёкол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию

эстетических вкусов населения,— до всего архитектурного ансамбля храма.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утончённо выбирать из синонимов. Недалёкие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа — но это глубоко не так! Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа Верховного Существа — но, конечно, это совсем, совсем не то!!

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но, как они там именовались,— служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами всё удлиняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок — может быть из-за того, что не приходится никого убеждать, так как всё население и без того безоговорочно поддерживает своё родное государство.)

А что никто не приходил к заключённому, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая нудная кара, он сгрёб свои бумаги, книгу, табак — и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорблённое достоинство.

— Старшина,— сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного,— я третий час подряд добиваюсь

фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера и на вас.

Но старшина примирительно ответил:

— Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдёмте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных зэков, решиться постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец, лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта, и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая бельё. Старшина повёл его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо нападало пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и тёмные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звёздочек,— Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче,— вся сила бытия, всё счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть — только стоять так ночь напролёт, замерев — блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше, чем в километре, донёсся долгий заливчатый паровозный гудок — тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять — весь бы отошёл, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение — о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром!..

Но конвоир уже с подозрением оглядывался: не задуман ли здесь ночной побег?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла на её щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастёрки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы зто наблюдение, но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

— Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо — сразу.

— От бессонницы ничего нет,— механически отказала она.

— Я про-шу-вас!— внятно повторил Рубин.— Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернётся), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафика порошки и заставила Рубина всё выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвёртого, и ушёл. Проходя опять двор и оглянувшись на ночные липы, озарённые снизу отсветом пятисот- и двухсотваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился, полной жменею несколько раз захватил звёздчатого пушничка и им, невесомым, бестелесным, льдистым, отёр лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

73

Дверь в столовую из спальни была непритворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом уткнувшись в плечо мужа.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности оттого, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие вечно мёрзнущие ступни.

Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились — установилась та ночная чёткость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвигание мебели, с вечера долго слышные над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишённый сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твёрдости положения и того подъёма над людьми, которые сообщались ему днём погонами майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нём — нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашёл один давнишний друг его, тоже еврей. Пришёл он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках.

Это не было ново. Это началось ещё прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке-сплетнице, газетёнке-потаскухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела — литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо — *космополит*. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона,— это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — *жид*.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.

А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и ещё долго после неё слово „еврей" было куда благонадёжнее, чем „русский". Русского ещё проверяли дальше — а кто были родители? а на какие доходы жили *до* семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств,— всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но — национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали.)

Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть *своим*, таким, как все,— а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Ещё успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовёт.

Трёхлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключённым в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишённым отцовства, это больно. (Да это была тема удобная — сближающая, а вместе с тем нейтральная.) Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал днём — матери (она была волжанка и о́кала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краёв. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны

и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провёл безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке НКВД Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной, тогда же они стали за неё лауреатами.

Как горячо они делали её! Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлёты?

С проницательностью тёмного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас — чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь всё — не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами...

Как обожжённый, он отнял руку от жены, подмостил подушку повыше.

Да, да, да! это заманчиво, легко!— в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов,— сказать: „Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из „Proceedings“? Тезисно основные мысли набросаете?“ В понедельник утром, освежённый, он возвращается на работу — на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из „Proceedings“, а Прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключённые не обижаются на Ройтмана, больше того — любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений — ушли от него!

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей они делали всё, чтоб опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимают, как он ни бьётся, „молодые“ вели атаку через партийные собрания: ставили там

его отчёт, потом просили его уйти, или тут же, при нём („голосуют только члены партии“) обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как всё враждебно обернулось! В своей травле Яконова „молодые“ и думать забыли, что среди них пятерых — четыре еврея. Сейчас Яконов не устаёт с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, заключённый Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера. Скорей всего это была чушь, но её можно было изобразить перед начальством как коренную реформу — и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семёрку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Селивановского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

— Адам Вениаминович! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела Спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде — и нельзя было плакать! Душили средь бела дня — и требовали, чтобы ты аплодировал стоя!

Пробило сразу пять — он не слышал половины.

Спать не только не хотелось — уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошёл к окну и больше расклонил шёлковые занавески.

О-о, сколько снегу напáдало!

Прямо через двор был самый дальний запущенный угол Нескучного Сада — овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убелёнными соснами. И вдоль оконных переплётов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти перешёл.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И ещё почему он не успевал в науке за последние годы: его задёргали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник — политучёба, каждую пятницу — тех-

учёба, два раза в месяц — партсобрания, два раза — заседания партбюро, да ещё на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай отчёт о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключённых (работы — на полный день). И ещё каждые полчаса подчинённые подходят с накладными — любой конденсаторишка величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство!— посидеть бы самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую — будешь тогда беззаботно распевать „Буги-Вуги", как Прянчиков. В тридцать один год какое бы это счастье!— не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка — что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе —„как мальчишка"— и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой: с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорблённый, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы — агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.

Кончались двадцатые годы, мальчики ещё жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев,— все себя остервенело-убеждённо считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому „Интернационалу", явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нём контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения

доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: „Каждый человек имеет право говорить всё, что он думает".— „Как — всё?— подскочил к нему Штительман.— Вот Никола меня „жидовской мордой" назвал — так и это тоже можно?"

Из того и начато было на Олега дело! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, групкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключён из пионеров и скоро будет исключён из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щёки.

Кольцо обид! кольцо обид! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

В голове уже наросла та тяжесть, а в груди — та опустошённость, которые нужны, чтобы уснуть.

Он пошёл и тихо лёг под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра — нажимать с фоноскопией! Громадный козырь! В случае успеха это предприятие может разростись в отдельный научно-исследова...

74

Подъём на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник задолго до подъёма в комнату, где жили рабочие, пришёл надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, проснулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

— Одевайся, Егоров. Лейтенант зовёт,— тихо сказал надзиратель.

Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

— Слышь, говорю, лейтенант зовёт.

— Чего там? Ус...лись?— так же не двигаясь, спросил Спиридон.

— Вставай, вставай,— тормошил надзиратель.— Не знаю, чего.

— Э-з-эх!— широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затягом зевнул.— И когда тот день придёт, что с лавки не встанешь!.. Часов-то много?

— Да шесть скоро.

— Шести-и нет?!.. Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель перемялся, вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так, в свету и в тени, с руками за головой, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушняком (а под сушняком — прихоронёнными от лесника бревёшками),— ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность её Спиридон обоими глазами (будто оба здоровы!) отчётливо видел во сне: где корни, вздутые поперёк дороги, где расщеплина от старой молнии, где мелкий сосо́нник и глубокий песок, в котором зажирались колёса. Ещё слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчётливо, что он — зэк, что срок ему — десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов — надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебывавших у Спиридона — розовой масти кобылка Гривна — первая лошадь, купленная им трёхлетком в своё хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шёл у неё по серому равномерный гнеденький перешёрсток, краснинка, отчего и звали её масть „розовой“. На этой лошади он и на ноги стал, и её закладал в корень, когда вёз украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива, и так же молода, так же не осекаясь вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в её ушах — высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачива-

ясь, говорила хозяину, как понимает она, что́ от неё сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть её. Езжая на Гривне, Спиридон николи с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно, теперь дождётся конца его срока,— как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увалян кой-как, и сучья расползаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на земь — и это был толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них ему врезалась как человек живой), и ещё тысячи лошадей, перевиденных со стороны,— и надсадно было ему, что так за зря, безо всякого ро́зума, сжили со свету первых помощников — тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло всё — на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять — чтоб легче они подались до купы?..

— Егоров!— уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем ещё двоих спящих.

— Да иду же, мать твоя родина!— проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол. И побрёл к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

— Куда, Спиридон?

— Господа кличут. Пайку отрабатывать,— в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалёжливый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнедь. Из-под палки досвета вставать — самое злое дело для арестанта.

Но в СевУралЛаге подымают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригибаться.

Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, уже одетый и обутый, влез ещё в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху чёрный бушлат, шапку-малахай, пере-

поясался растеребленным брезентовым ремнем и пошёл. Его выпустили за окова̀нную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошёл подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шёл всю ночь, крупный. Убраживая в снегу, он пошёл на огонёк штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурняк — лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок — много нападало снегу, за тем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал:

— Давай, Егоров, давай! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай!

— Всем давать — мужу не останется,— буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

— Что? Что ты сказал?— грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

— Говорю — *яво́ль*, начальник, яво́ль!— (Немцы тоже так вот бывало „гыр-гыр", а Спиридон им — „яволь".) — Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

— Ладно, чисть.

Спиридон всегда вёл себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить, от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По тёмному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню, потом — в три широких фанерных лопаты — круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили своё. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться — вперёд пригодится. Но дочь?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвёл весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом — ещё и утро не сказалось, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъёма.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

— Ты что, Данилыч,— спросил Хоробров, поднимая воротник истёртого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то.— Ты и спать не ложился?

— Рази ж дадут спать, змеи?— отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нём не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились из него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чём, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня — о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, лёгкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немёрзнущие плечи, прошёл на дрова. (Когда он шёл так, он думал про себя, но как бы со стороны: „Вот идёт граф Сологдин".) После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке спал дурно — и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк (до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым, немного выбрасывая на ходу повреждённую ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но, как бы описав бесплодную петлю в тёмном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь:

— Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем *потока* славится как высшая и новейшая форма производства! В 45-м году Чан Кай-ши был наш союзник, в 49-м удалось его свалить — значит, он гад и *клика*. Сейчас пытаются свалить Неру, пишут, что его режим в Индии — палочный. Если удастся свалить, будут писать: клика Неру, бежавшая на остров Цейлон. Если не удастся, будет — наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобься нынче провести ещё одно повальное крещение Руси — они бы тут же откопали соответствующее указание у Маркса, увязали бы и с атеизмом и с интернационализмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда.

Хоробров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нём слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решён каким-то (ему неизвестным) путём как спор между *своими*. Поэтому, неловко выбрасывая повреждённую ногу, он шёл молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари ещё бросали на снег жёлтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашёв в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много не достававшим Кондрашёву до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его.

Значит, не мог его срок течь и дальше так, как он тёк. Наташа не могла выдержать трёх последних лет — и что-то надо было предпринимать. „Да у тебя есть что-нибудь и сейчас!"— упрекнула она, зная голову мужа.

А у него не что-нибудь было, а слишком бесценное, чтобы отдавать его за собачью подачку и в *эти* руки.

Вот если бы подвернулось что-нибудь лёгонькое, безделушка для досрочки. Но так не бывает. Ничего не даёт нам бесплатно ни наука, ни жизнь.

Не оправился Герасимович и к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашёвым-Ивановым, пошёл сделать с ним один круг — и увлёкся на всю прогулку.

— Ка-ак?! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине?— поразился Кондрашёв, будто о том знал каждый школьник.— О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина „Русь уходящая"! Одни говорят шесть метров длиной, другие — двенадцать. Его теснят, нигде не выставляют, эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, её тут же и опечатают.

— Что же на ней?

— С чужих слов, не ручаюсь. Говорят — простой среднерусский большак, всхолмлено, перелески. И по большаку с задумчивыми лицами идёт поток людей. Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые ещё можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это — светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых — крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это — те лица девушек,

у которых уши завешены незримым золотом от бранных слов, девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. И степенные старухи. Серебряноволосые священники в ризах, так и идут. Монахи. Депутаты Государственной Думы. Перезревшие студенты в тужурках. Гимназисты, ищущие мировых истин. Надменно-прекрасные дамы в городских одеждах начала века. И кто-то, очень похожий на Короленко. И опять мужики, мужики... Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга, может быть и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они — и д у т; и не по этому конкретному большаку, а вообще. Они у х о д я т... Последний раз мы их видим...

Герасимович резко остановился:

— Простите, я должен побыть один!

Он круто повернулся и, оставив художника с поднятою рукою, пошёл в обратную сторону.

Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что...

Обутрело.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре, на возврате, посвежевшие заключённые невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося навстречу. Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал своё тело тяжёлым, ватно-бесчувственным. Ещё он испытывал кислородный голод, не знакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и за жменею снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натёр им лицо и поплёлся в тюрьму.

Туда же пошёл и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта — сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун, вскрыли пакет и знакомились с оставленным им приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун — грубый широмордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии (называлось „исполнитель при военном трибунале") и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в Спецтюрьме № 1 и, не блеща грамотностью, дважды перечёл распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено:

„Всем заключённым в течение трёх дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сёстры, тётки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключённый.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развёрнутого тетрадного листа".

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

— Ку-ку!

— Пишите доносы на родственников!

— А сыщики сами найти не могут?

— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключённые всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо...

Удручённые, расходились на работу зэки.

Даже те из них, кто сидел давно,— и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна — что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле ещё удавалось скрыть, что они имеют родственников за решёткой — и только это обеспечивало им работу и жильё. Вторая жестокость была — что отвергались незарегистрированные жёны и дети, отвергались братья, сёстры, а тем паче двоюродные. Но после войны, её бомбёжек, эвакуаций, голода — иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчётов с жизнью — то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими...

Внутри просторного Железного Занавеса, объявшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина ещё один — тесный, глухой, стальной.

Даже у самых заклятых энтузиастов казённой работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков? Новички и наивные почитали ГБ всемогущей, всезнающей и без нужды в этом перечне-доносе. Но старые тёртые зэки солидно качали головами: они объясняли, что госбезопасность — такой же громадный бестолковый механизм, как вся наша государственная машина; что картотека родственников у ГБ в беспорядке; что за кожаными чёрными дверьми отделы кадров и спецотделы „не ловят мышей“ (им хватает казённого приварка), не выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали зэки — и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января-марта и отдельно план января и ещё план первой декады января. Всё, что было здесь бумага,— предстояло свершить самому начальству. Всё, что было здесь работа,— предстояло исполнить заключённым. Поэтому энтузиазм заключённых был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со *своим* годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нём была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на лице которого, освежённом после бритья, не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастёрки, как-то особенно некстати висела ненужная ему портупея. Он хотел храбриться сам и подбодрять подчинённых, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты: середина её пустынно сиротела без унесенной стойки вокодера; не было Прянчикова, жемчужины акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было её! хоть это одно облегчало сейчас Нержина! — не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступала ещё одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете морщинами. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить.

Что значат свидания раз в год! Вот только вчера было свидание. Казалось: самое срочное, самое необходимое всё высказано надолго вперёд! И уже сегодня... ?

Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твоё место работы?.. После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать? Но адрес на конверте и будет доносом!

Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Ещё вчера я улыбался — а сегодня замолчу навеки?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход! Плохо было — всё.

Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах.

Однако сеял он — на камне.

Тесно окружённый стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на тёмный забор, на вышку с *попкой*, торчащую прямо против его окна.

Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев.

Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди, сейчас омрачённые, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости — одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи всё забудут, отрекутся, облегчённо затопчут своё тюремное прошлое, четвёртые

вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно,— и, может быть, никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что́ они делали с человеческим сердцем!

Крута гора, да обманчива, лиха беда, да избывчива.

Это поразительное свойство людей — забывать! Забывать, о чём клялись в Семнадцатом. Забывать, что обещали в Двадцать Восьмом. Что ни год — отуплённо, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку — и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище,— и от этого ещё короче становится память и смирней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку — и как-нибудь там прожить.

Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть.

И за всё, за всё, за всё, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг и за сегодняшнее утреннее объявление — четыре гвоздя их памяти! Четыре гвоздя их вранью, в ладони и в голени — и пусть висит и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля.

И если больше никого не найдётся — эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам.

Нет, зажатому в слесарных тисках — не до скептической улыбки Пиррона.

Уши Нержина слышали, хотя и не слушали, что́ говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять „соцобязательства", „соцобязательства", Глеб дрогнул от гадливости. С *планами* он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью. Он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таили за собою большой работы: чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. Но всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей — тут же, в противоречие с этим признанным пределом и в издевательство над чувствами политзаключённого, Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство.

Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один ззк. Адам Вениаминович спросил:

— А что скажете вы, Глеб Викентьич?

Четыре гвоздя!!— что́ мог сказать им Нержин?

Он не вздрогнул при вопросе. Он не выронил из тёмного лона мозга затаённо зажатых железных гвоздей. На их звериную беспощадность — и хитрость должна быть звериной! Словно только и ждав этого вызова, Нержин с готовностью встал, изображая на лице простодушный интерес:

— План за сорок девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно-обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов.

— Да-да-да, голосов! Это очень важно!— перебил Ройтман, отвечая своим замыслам фоноскопии.

Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции.

— И соревнование надо оживить, верно, это поможет,— убеждённо заключил он.— Социалистические обязательства мы тоже дадим, к первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем.— (А в истекшем он ничего не делал.)

Выступили ещё двое зэков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи,— но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рывок. И даже выскажи кто-нибудь это,— растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман,— но собрание всё равно пошло бы тем же начертанным путём.

Оно закрылось — и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину.

Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались.

Оперчекистская часть на объекте Марфино подразделялась на майора Мышина — тюремного *кума*, и майора Шикина — производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то леность: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах; по телефону об оперчекистских делах не разговаривают; будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали: один над ночными душами, другой — над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчётах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Марфино.

Как-то читая „Правду“, майор Шикин задумался над заголовком статьи „Любимая профессия“. (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных.) Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою, и она его любила.

В своё время Шикин кончил училище ГПУ, позже — курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ; он был особонаблюдающим от НКВД за враждебными избирательными бюллетенями при тайных выборах в Верховный Совет; во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры; потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец — оперуполномоченным в исследовательском институте Марфино. Все эти занятия охватывались единым словом: оперчекист.

Оперчекизм и был подлинно любимой профессией Шикина. Да и кто из его сотоварищей не любил её!

Эта профессия была неопасна: во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооружённых

оперчекистов против одного безоружного непредупреждённого, иногда только что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осуждённых, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом годах следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы МВД — МГБ был — неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась ещё неторопливость по инструкциям, чтобы лучше воздействовать на психику заключённого и добиться от него показаний — медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах чекистов и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок оперчекистской работы. Вся она, по сути, состояла из учёта в голом виде, пронизывающего учёта (и тем выражала характернейшую черту социализма). Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшития бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.)

А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание всемогущества, в глазах же людей окружала своих работников загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев — тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они — и инже-

нер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчёт о своей деятельности, Шикин же не отчитывался ни перед кем из них. Когда он, темнолицый, с седеющим короткостриженным ёжиком, с большим портфелем подмышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться,— Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали — но ему никогда этого никто не говорил,— что он якобы заслужил к себе ненависть, что он — мучитель других людей,— он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была — чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чём вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был свёрток, а в нём — сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключённые, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено — да это равнялось чрезвычайному государственному событию! Но Шикин не стал его раздувать, а повесил на лестнице объявление:

„Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице, может получить их у майора Шикина в любое время“.

Деньги были немалые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели — никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запыливалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

„Лопай сам, собака!“

Дежурный отодрал объявление и принёс его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришёл этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности — а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их и зря! — через два месяца майор подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина, Шикина как чёрт попутал и приковал к этой секретарше с её запущенными тридцатью восемью годами, с грубыми толстыми ногами и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня её прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберёгся: их слышали и даже в щёлку видели двое заключённых — плотник и штукатур. Это разнеслось, и зэки между собой потешались над духовным пастырем и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у майора Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключённые.

В понедельник двадцать шестого декабря майор Шикин пришёл на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришёл и к обеду — никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери — одна в кабинет Шикина, другая — в партком. Обе двери были обтянуты чёрной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в тёмном тамбуре было

весьма удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно заныривали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарём парткома Степановым, больным худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

— Товарищ Шикин!— Он никого не называл по имени-отчеству.— Заходи, шаров погоняем!

Приглашение относилось к парткомовскому настольному биллиарду. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своею серебрящейся головой.

Степанов вздохнул и пошёл гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились, — но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать „Огонёк“, „Крокодил“ и „Вокруг света“, на которые самому подписываться обошлось бы в копеечку.) Затем прошёлся по коврику, постоял у окна — и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, за сейфом, за шкафом, за диваном — и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Де́л было!.. Дел было!..

Он растёр ладонями свой короткий седеющий ёжик.

Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течении многих месяцев, утверждённое недавно Яконовым, принятое к руководству, разъяснённое по лабораториям, но ещё не налаженное. Это был новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Марфино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности всё ещё нет! Правда, в каждой комнате стоят несгораемые стальные шкафы в рост человека, в количестве пятидесяти штук привезенные от растрофеенной фирмы Лоренц; правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако в стальные шкафы всё

ещё не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения — именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть, самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны — и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своём присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промоклых, смёрзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начерчены схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к полковнику Яконову. И Яконову некуда было деваться! Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чём, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было ещё второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключённого: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут ещё двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить учёного — в этом и состояло изобретение майора Шикина! (Увы, оперчекистам не дают сталинских премий.) Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя забота Шикина была — укомплектовать до конца список заключённых на этап, намечаемый тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Ещё владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся „Дело о поломке токарного станка“,— когда десятеро заключённых перетаскивали станок из 3-й лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Ещё нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донёс, что её читали в полукруглой комнате, в частности Абрамсон. Вызывать на допрос самого Абрамсона, повторника, было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что всё раскрыто, что он признался.

Так много было сегодня у Шикина дел! (И ведь он ещё не знал, что́ нового ему расскажут осведомители! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля „Суд над князем Игорем“!) Шикин в отчаянии растёр себе виски и лоб, чтобы всё это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как? Возможна ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок!— приезжал замминистра, приезжали генералы — а Шикина на объекте не было! Досада овладела майором. Дать замминистра повод думать, что Шикин не терзается о бдительности! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включить в столь ответственную группу этого проклятого Рубина — двурушника, человека насквозь фальшивого: клянётся, что верит в победу коммунизма — и отказывается стать осведомителем! Ещё эту демонстративную бороду носит, мерзавец! Сбрить!

Спеша медленно, делая ножками в мальчиковых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал очередное прошение в Верховный Суд о пересмотре дела. От Шикина зависело — сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В её растворе стоял Смолосидов с недобрым чёрным чубом. Видя Шикина, он не пошевельнулся и не раскрыл дверь шире.

— Здравствуйте,— неопределённо сказал Шикин, не привыкший к такому приёму. Смолосидов был ещё более оперчекист, чем сам Шикин.

Чёрный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксёр. И молчал.

— Я... Мне...— растерялся Шикин.— Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была приколота бумажка:

„Список лиц, допущенных в комнату 21.

1. Зам. министра МГБ — Селивановский
2. Нач. Отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. Отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключённый Рубин

Утвердил
министр Госбезопасности
Абакумов."

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.

— Мне бы... Рубина вызвать...— шёпотом сказал он.

— Нельзя!— так же шёпотом отклонил Смолосидов. И запер дверь.

Утром на свежем воздухе, коля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра.

Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара — он думал.

Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Всё новые и новые хлёсткие доводы, вчера не высказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову.

Главная же осталась досада и горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьёю в поступках Сологдина — именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Лёвку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у Сологдина право на его изобретение.

А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала — это выпускной клапан, она сбрасывает наше внутреннее давление, и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самая несправедливая — это всё топка нашему котлу, это очень нужно.

Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин, с незаурядными способностями ума и тела, имел право на свою жатву, на свой отстой молочных благ.

Но он сам вчера сказал: к высокой цели ведут только высокие средства.

Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот ещё одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности.

А вообще крепчание тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суроветь, и выхода из тюрьмы в виде так называемого „конца срока“ — не будет.

Только если кто получит досрочку.

Или изобретение и досрочка, или — не жить никогда.

В девять часов Сологдин одним из первых прошёл в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструк-

торское бюро бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки („вот идёт граф Сологдин").

Его победно-сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы.

Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им! Может быть, переброситься записочкой?

Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу: надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепёжных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил её поспешить.

Лариса в тревоге и недоумении смотрела на него. Ушла.

Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий грязный лист — и ему открылся главный узел шифратора.

Два года жизни ушло у него на эту работу. Два года строгого распорядка ума. Два года лучших утренних часов — потому что среди дня человек не создаёт великого.

А выходит — всё ни к чему?

Вот обнажающая плоскость: можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбожевший народ, наделавший столько преступлений, и безо всякого раскаяния — этот народ рабов достоин ли жертв, светлых голов, анонимно ложащихся под топор? Ещё сто и ещё двести лет этот народ будет доволен своим корытом — для кого же жертвовать факелом мысли?

Не важней ли сохранить факел? Позже нанесёшь удар сильней.

Он стоял и впитывал своё творение.

У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни.

Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата.

Одна из чертёжниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт и они сжигались во дворе.

(Вообще это было упущение майора Шикина: так доверять огню. Отчего они не создали наряду с конст-

рукторским бюро ещё оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?)

Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу ещё один ненужный, всё вместе скрутил и протянул чертёжнице:

— Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдёт ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора — и теперь обговаривал это всё так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чём-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив,— он напряжённейше думал. Как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нём, на осях непересекающихся и непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

И вдруг самое простое, простое из простых влетело камешком подозрение: да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут — и там у них сейчас же отнимут его шифратор.

Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания — и быстро подошёл к чертёжницам. Они уже писали акт.

— Я один лист по ошибке вам дал... Простите... Вот этот. Вот этот.

Он понёс его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро неровно разрезал лист пополам, ещё пополам, и каждую четвертушку на четыре части.

Вот так будет верней. Ещё одно упущение майора Шикина: не заставил он чертить чертежи в пронумерованных просургученных книгах!

Отвернувшись от комнаты в угол, все шестнадцать листиков пачкой Сологдин заложил себе за пазуху, под мешковатый комбинезон.

А коробку спичек он всегда держал в столе — для мелких сожжений.

Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой, к уборной.

В переднем помещении зэк Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении кроме писсуаров шли подряд четыре отгороженные кабины. Первая была заперта (Сологдин проверил, потянув дверь), две средних полуоткрыты и, значит, пусты, четвёртая опять закрыта, но поддалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер.

Он вынул из-за пазухи два листа, достал спички „победа"— и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдётся по уборной.

Кто-то пришёл ещё. Потом ушёл и он, и тот, из первой кабины. Сологдин чиркнул. Сера вспыхнула и отлетела на грудь. Со второй спички сера не сорвалась, но огонёк её бессилен был объять скрученное коричневатое тело спички. Попыхав, он погас с обиженной струйкой дыма.

Сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством. Невоспламеняемые несгораемые спички!— в какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь! „Победа"! Как они вообще одержали победу?

Третья спичка при нажатии сломалась. Четвёртую он ещё из коробки достал сломанную. На пятой с трёх сторон головка была без серы.

В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и чиркнул их сплоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнём вниз. Разгоревшись, огонь стал жечь пальцы. Со-

логдин осторожно поставил горящие листы стоймя в унитаз, у края воды. Вынул ещё пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сгорели до конца. Чёрный пепел их съёжился и корабликом поплыл по воде.

Разгорелась вторая пачка. Опустив её, Сологдин клал на неё сверху ещё и ещё листы. Новая бумага придавила пламя, и потянулся кверху едкий дым тления.

Тут вошёл кто-то и заперся в кабине через одну от Сологдина. А дым шёл!

Это мог быть и друг.

Мог быть и враг.

Может быть, дым туда совсем не попадал. А может быть, тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу.

В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать.

И вдруг вся бумага вспыхнула и жёлтым столбом света ударила в потолок. Пламя яро горело, суша стенки унитаза, и можно было опасаться, что он расколется от огня.

Оставалось ещё два листика, но Сологдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох чёрного пепла.

И неподвижно ждал.

Пришли ещё двое за пустым делом, разговаривая:

— Он только и смотрит, как на чужом... в рай ехать.

— А ты проверяй на осциллографе — и бабец кооперации!

Ушли. Но сразу пришёл кто-то и заперся.

Сологдин стоял, унизительно затаясь. Вдруг сообразил посмотреть — что́ на оставшихся листах. Один был угловой и захватывал чертёж только краешком. Оторвав деловое, Сологдин выбросил остальное в корзину. Второй же листик захватывал самое сердце узла. Сологдин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки, еле удерживаемые в ногтях.

Спустил воду — и в её рёве порывисто вышел в коридор.

Никто не заметил его.

В большом коридоре он пошёл медленно. И тут подумал: сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз да не заметили гари.

Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Еминой насчёт крепёжных болтиков и попросил её ускорить копирование.

Она не понимала.

И не могла бы понять.

Он сам ещё не понял. Тут ещё многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном „рабочем виде“, не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Сологдин подпер голову и с невидящими открытыми глазами сидел.

Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику.

И действительно позвали — но к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек и, поморщась, только сказал:

— Дмитрий Алексаныч, неужели такая сложность? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

— Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.

Он ещё их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

78

Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз.

Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительство об удлинении рабочего дня и недели? о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи или не было у них жилищ (часто — ни того, ни другого) — кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома? И все завоевания революции и всё прочнеющее положение начальства зиждилось тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах

о списании имущества, негодного для государственного использования, но ещё годного в домашнем быту директора, не была так кристально-наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства — на тот тридцатый процент из зарплаты трудящихся, который государство всё равно не могло удержать сверх двадцати девяти процентов займовых и налоговых удержаний.

И в большом и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма.

И тем не менее в Марфино профсоюз отменили. Это так случилось: один высокопоставленный товарищ из московского горкома партии узнал и только ахнул: „Да вы что? — и даже не добавил „товарищи“. — Да это троцкизмом пахнет! Марфино — воинская часть, какой такой профсоюз?“

И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднён.

Но это нисколько не потрясло основ марфинской жизни! Только ещё возросло и возросло значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобождённого секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность

> Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение — из батраков, после революции — сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение — служащий, образование — 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе — с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голову, орден „Красной Звезды“ и медаль „За победу в Отечественной войне над Германией“.

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхоз-

ников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их (а вечерами ещё созывал и в правление) и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина важность того, чтобы земля каждый год засевалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве желательно большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыху, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете всё того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобождённым секретарём, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егорьевском районе, а в Марфине Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного — и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобождённого секретаря. Прежним секретарём был лейтенант Клыкачёв. Клыкачёв был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой „группы молодых", и сверх всего быть секретарём парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчинённые — въедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в марфинском институте окажутся запущенными. Ибо партийная работа требует всего человека без остатка.

Так и оказалось. Начался приём дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу, а лишь позже — в натуре. Клыкачёв почувствовал на себе нелёгкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развёрнутых характеристик на каждого члена и кандидата,— наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными.

— Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?!— возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разъяснял Клыкачёву, что всё это сделано *на бумаге* (потому что — только на словесных уверениях), а не *на деле* (то есть не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заключённых) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени)? Может быть, это и так. Может быть, они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые поверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта,— почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете „Красный мяч“ или, скажем, „Честь динамовца“? Если бы затем Клыкачёв такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации — ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие „игра в волейбол“ реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачёву на слово?

И так во всём, так во всём. „Сло́ва к делу не подошьёшь!“— с этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность.

Как ксёндз бы не поверил, что можно солгать в исповедальне,— так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации.

Однако сухопарый Клыкачёв с постоянною запышкою боков не стал спорить со Степановым, но открыто благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел к Клыкачёву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачёва о том, что во главе такого важного

секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту *не наш* человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачёва же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта.

Так Клыкачёв скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка „молодые" стали звать парторга „Пастух". Но именно благодаря Клыкачёву отношения с Пастухом у „молодых" сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение,— борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы ещё под новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики — отражения окон, метались на свинцовых стёклах его очков:

— Товарищи! Товарищи! Что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!! поддерживай закон из последних сил!!— и только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти!

Со своей стороны и Степанов был доволен „молодыми" с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях — такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого указывал партком,— такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровый.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это „открытые" партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их, они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущённые голоса: „Что это? Собрание? Или суд?"

— Позвольте, товарищи, позвольте!— властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбаливалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени,— вы что же, получается, против критики и самокритики?— И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял:— Самокритика есть высший движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса! Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении! И тут не может быть двух мнений, товарищи! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно! Нам нужна *деловая* критика, то есть, критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров! Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма!

И отойдя к графину с водой, глотал ещё один порошок.

Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция („преступно-халатное отношение к работе", „граничащее с саботажем невыполнение сроков") — единогласно голосовал *за* резолюцию.

Иногда даже сходилось так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развёрнутые, Степанов,

счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком составить резолюцию *до* собрания. Тогда после объявления председательствующего:

— Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов! — освобождённый секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так:

— Товарищи! Я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов,

или:

— Товарищи! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я ещё не написал,

и в обоих случаях:

— Прошу поэтому голосовать резолюцию ***в целом***, а завтра на досуге я её ***подработаю***.

И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узная), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга ещё и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его „Борис Сергеич". Принимая это как должное, он, однако, никого на всём объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного биллиарда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

— Выставляй шара́, товарищ Шикин!

— От борта, товарищ Клыкачёв!

Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: „Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то", затем графил по форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении — и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали своё ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться — а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарём *освобождённым* также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоянием, с такой убеждённостью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противуречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильём,— освобождённый секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас:

— Ну, что ж поделать, товарищи. Это — ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Всё же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо.

Ещё он пил водку — но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он её никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки.

„Молодые" между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

— Друзья мои! Он — пророк глубокой чернильницы. Он — душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачёв улыбался с оскалом:

— Желторотые! Попадись мы ему между зубами — он нас с дерьмом схамает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился. По-вашему, это зря: каждое собрание — разносную резолюцию? Он историю Марфина этим пишет! Он пре-ду-смо-три-тельно материальчики накопляет: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобождённый секретарь сигнализировал, внимание общественности — приковывал.

В недобросовестном освещении Клыкачёва Степанов представал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трёх сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трёх он определил на исторический факультет, зная, что история для марксиста наука не трудная. Расчёт у него был как будто и верен, но не учёл он (как и единый государственный план просвещения), что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же окончит третий — вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трёх свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и может быть даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У неё неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросёнка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера, в воскресенье, на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Марфино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть-на семь, посмотрел на худой заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

— Да, Степанов,— а как у тебя с иудеями?

— С иу... кем?— навострился дослышать Степанов.

— С иудеями.— И видя непонимание собеседника, пояснил:— Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию, а когда-то и к стенке ставили, Степанов неопределённо пробормотал:

— Е-есть...

— Ну, и что ты там с ними думаешь?..

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятеньи Степанов перечёл в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний — но чёрные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросёнком, он думал, думал и в отчаянии скрёб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость! А теперь — позор! — испытанный работник, Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачёва...

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в биллиард (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобождённый секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из четырёх голов Основоположников внакладку был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по три шара зараз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бесстрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнурённый, он наконец услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычных комсомольской и партийной политучёб, но собрать всех людей на лекцию „Диалектический материализм — передовое мировоззрение", которую прочтёт лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед заграницей.

Освобождённый секретарь воспрял, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал биллиард за шкаф.

Ещё то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросёнок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром. Это давало надежду дёшево и хорошо его откормить.

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин.

Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: „мы, чекисты“. Но для Шикина он всё равно оставался тем прежним — врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощённым, даже принятым в лоно госбезопасности, но не невиновным! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда Органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны! Старательного большеголового коротышку-майора задевала роскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нёс бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение своё и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развёрнутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных зэ-ка и с введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но всё же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора,— там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскорузлости высокого положения — самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло своё отрицание: за всё ответственный, полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Ещё эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вёл по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели — изгнать его, и способны были — погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их — и покинул своё рыхлое тело в кителе и перенёсся к себе домой.

Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны. Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечущие девочки (увы, уже и их заглатывает школа, как казённая задуривающая служба) потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дёрганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи — но нет в твоём доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук, унизительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог — а оставался бы только в своём маленьком уютном мирке, в своём доме.

Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал — интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат — усотерённых Шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать её — в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они

все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. Вращаясь среди видных гебистов, Яконов нет-нет да и слышал подробности, не доступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И ещё у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток-Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущие.

За кого же был он? Душою — за Запад. Но он верно знал победителя и не ставил ни фишки против него: победителем будет Советский Союз. Яконов понял это ещё после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречён именно потому, что хорошо жил — и не имел воли рисковать жизнью, чтоб эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, эту жажду оттяжки боя — обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Всё, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные.

Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки.

Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу: „все люди — сволочи". И сколько жил он потом — истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди — сволочи, то никогда не надо делать „для людей", а только для себя. И никакого нет „общественного алтаря", и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И всё это очень давно и очень просто выражено самим народом: „своя рубаха ближе к телу".

Поэтому блюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим — проводить за решёткой? Нет! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрёкся от мира зэков. Четырёх просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук или получил бы не сразу. Власть причинила ему зло, она была

взбалмошна, бездарна, жестока — но в жестокости и была ведь сила, её вернейшее проявление!

И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только (если) примут.

Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обречённых на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда ещё двоих из настольного блокнота Яконова. Договорённость же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих двух надо было срочно „подработать" и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадёжны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развёл пальцами.

— Оставьте список мне. Я ещё подумаю. И вы подумайте. Созвонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо было сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в 21-ю комнату пускали заключённого Рубина, пускали Ройтмана — а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал немо:

„Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не смею".

На самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Рюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых Шахматах. Потом своя буря заставила забыть всё. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить всё Ройтману (дело хлипкое, мальчик горячий, может и шею свернёт). Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова, и ему-таки было обидно, что его в 21-ю комнату не пускают.

Шикин ушёл, Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало — а вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперёд абсолютный шифратор — это спасёт его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошёл с пустыми руками Сологдин — стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобностей не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список имён-отчеств под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошёл ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз? — рокотал Яконов.— На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертёж главного узла абсолютного шифратора... Да что же вы не садитесь?.. Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:

— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

— Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судия, высказался с определённой похвалой.

Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения — будем думать. Хотите, позовём Владимира Эрастовича?

Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долговыношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое ещё оставляла ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбался.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.

Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил чётко:

— И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

— Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.

А на погонах его, золотых с голубой окаёмкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного Горной Закрытки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие — золотые, с голубой окаёмкой и треугольником три звезды, только мельче.

— Наброска этого больше нет,— дрогнул голос Сологдина.— Найдя в нём глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжёг.

(Он вонзил шпагу и дважды её повернул.)

Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затруднённое дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

— То есть... Как?.. Своими руками?

— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали.— Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

— Сегодня? Так может он ещё цел?— с живой надеждой подвинулся Яконов.

— Сожжён. Я наблюдал в окно,— ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно

поднял своё большое тело и переклонился над столом вперёд.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной частоты.

„Я уничтожу тебя!“ — налились глаза полковника.

„Хомутай третий срок!“ — кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошёл к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

„Месяц. Один месяц. Неужели я погиб?“ — до мелкой чёрточки прояснилось полковнику.

„Третий срок. Нет, я его не переживу“,— обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

„Инженер-инженер! Как ты мог?!“ — пытал его взгляд.

Но и глаза Сологдина слепили блеском:

„Арестант-арестант! Ты всё забыл!“

Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

И призрак желтокрылой Агнии второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном.

Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать — у Сологдина было заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза.

И ясно посмотрел на Сологдина.

Сологдин старался выстоять ровно ещё эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник опёрся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключённого.

В три твёрдых шага Сологдин подошёл к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

— Сологдин, вы — москвич?

— Да.

— Вон, посмотрите,— сказал ему Яконов.— Вы видите на шоссе автобусную остановку?

Её хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

— Отсюда полчаса езды до центра Москвы,— тихо рассказывал Яконов.— На этот автобус вы могли бы садиться в июне-в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Чёрному морю. Купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключённых не пускают никогда!

— Почему? На лесосплаве,— возразил Сологдин.

— Хорошенькое купанье! Но вы попадёте на такой север, где реки никогда не вскрываются...

Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем — мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу сними, спускайся в каторжный лагерь...

— Сологди-ин!— нараспев и с мучением выстонал Яконов и две руки, как падая, положил на плечи арестанта.— Вы наверно можете всё восстановить! Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне: зачем вы сожгли чертёж??

Была всё так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина. А в чёрном зрачке его Яконов видел свою дородную голову. Голубой кружочек, чёрная дырочка посередине — а за ними целый неожидаемый мир одного единственного человека.

Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты. Все пути событий подчинены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного потерянного развращённого народа?

— А как вы думаете?— вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

— Не понимаю,— Яконов снял руки и пошёл прочь.— Самоубийц — не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

— Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому неизвестен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Яконов резко повернулся.

— ...Если бы я не сжёг чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не

дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чём.

Яконов дослушивал Сологдина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошёл!)

— Так вы... берётесь восстановить чертёж?!— Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся измученный безвластный человек.

— То, что было на моём листе — в три дня! — сверкнул глазами Сологдин.— А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчётами в объёме технического. Вас устроит?

— Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!!— не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чёртову инженеру.

— Хорошо, получите в месяц,— холодно подтвердил Сологдин.

Но тут Яконова отбросило в подозрение.

— Погодите,— остановил он.— Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нём глубокие, непоправимые ошибки...

— О-о!— открыто засмеялся Сологдин.— Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там всё верно!

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провёл этот разговор.

— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развёл пальцами.

— Вряд ли, Антон Николаич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским? Le hasard est roi! Его величество Случай! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины!

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

— Так что́ будем делать?— дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал как по-печатному, как о решённом давно:

— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приёмчика. Я ведь не ошибаюсь?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчён и без этого!

— К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжён. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моём назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.

Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошёл лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стеклами очков.

— Так, Антон Николаевич,— сказал он строго.— Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.

— Значит, я жду приказа?— встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твёрдо.

Яконов даже не сразу вник, о чём это так оживлённо говорил парторг.

— Товарищ Яконов! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьёзные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоём подработаем резолюцию, потом соберём открытое партсобрание — и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадёжные ещё вчера, круто поправлялись.

80

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально счита-

лось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счёт.

Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Её нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухою дверью, с глазу на глаз, духовный отец — кум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нём нет греховных смутных мыслей,— передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нём была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя чёрную размазанную печать цензуры,— теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти,— это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел,— и их подшивали в его тюремное дело.)

Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Ещё становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить своё письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто *закладывает* их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

Хотя советское тюрьмоведение и не опиралось прямо на опыт Катона Старшего, но верно следовало его завету: не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно.

По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, неодетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок пе-

реписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, *шебутной* старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам всё время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твёрдо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всём — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил всё равно не в перерыв, чтоб не толкаться),— Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семёрки, один из основных её работников. Больше трёх месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: „нет“, „не пишут“. Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорно-сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

— Иду деньги получать. Заработанные.

— Пройдите!— скомандовал старшина.

Доронин рванул вперёд навстречу поникломy возврату Дырсина.

— Ну, что?— уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина ещё вытянулось:

— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

— ...я́ди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!

— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему ещё было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остаётся до освобождения. Дырсин же *разменял* последний год.

Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нём ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землёй. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздреватель, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравёр-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле. было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашёв-Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шёл, глядя поверх голов гуляющих и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше — зна-

чит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обёрнутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику „Тюремные утешения“ Боэция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей — Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетёсов, принципиально в лагерном бушлате; юркий, во всё сующийся Прянчиков; лидер немцев Макс; и один из латышей.

— Страна должна знать своих стукачей!— повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

— Да мы их в основном и так знаем,— отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании весёлый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей!

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутнённым взглядом обер-стукач, премьер стукачей, Артур Сиромаха. Он оглядел группу по привычке замечать всё, но ещё не придал ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошёл от группы.

Третьим к куму зашёл инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вѐчером в запертом ковчеге предлагавший приравнять министров к ассенизаторам, а потом как ребёнок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвёртым быстрой лёгкой походкой прошёл Виктор Любимичев — парень „свой в доску“. В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов — всех подкупающе звал „братцы“. Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углублённый в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Так же не видя, сошёл с неё в сторону — и никто из группы „охотников“ не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, ещё молодые вопреки всему пережитому, он читал после

восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт (а оттуда — в плен, а из плена — в тюрьму), оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды,— дорогой светленький клубочек всё тянул его ниточкой Ариадны — как-нибудь пережить и вернуться. Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

„Здравствуй, дорогой папа!

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чём я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать — согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свиданья.

Целую.
Ариадна.

Папа, ты видел картину „Первая перчатка“? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины“.

— Любимичева будем проверять?— спросил Хоробров в ожидании его выхода.

— Что ты, Терентьич! Любимичев — парень наш!— ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьём что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила международного Красного Креста,— в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И ещё было две возможности выжить — могильщиком и золотарём. За рытьё могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мёртвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жаждой ещё нежившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрёт, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность — приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук — и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них — и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтёров тут же кормили кашей „от пуза". После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогёзам партизан „движения сопротивления", потом отбивался на Атлантическом Валу от союзников. В сорок пятом году во времена великого лова он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив её на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого „движения сопротивления", за которыми он гонялся по Вогёзам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну — по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен,

что ни у кого, от рядового парня до члена Политбюро, никаких „убеждений“ никогда не было и быть не может — и у тех, кто их судит — тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу „охотников“, но сам подошёл к ней и спросил:

— Братцы! Кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

— Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?

— Да где много! — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчёта. Но пока он разговаривал с Хоробровым,— Булатов словно в шутку наклонился, искособочился и прочёл:

— Фу-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Климентиадисов харч!

Сделай это любой другой ззк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало, чтоб он предполагал у своего подчинённого изобилие денег, это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался:

— Да где тысяча, смотри!

И все увидели: 147 р. 00 к.

— Во, чудно́! Не могли полтораста прислать! — невозмутимо заметил Амантай.— Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова,— как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. Сам настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих — и всё от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй,— оказался такая добровольная гадина!

— С-сволочь ты! — проговорил Хоробров дрожащими губами.— На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передёрнулся и отвёл руку для короткого боксёрского удара.

— Ух ты, падаль вятская! — предупредил он.

— Что́ ты, Терентьич! — ещё раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетёсов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в неё.

— Мальчик, мальчик! — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая даётся напряжением всего тела. — Что, как партиец с партийцем поговорим?

Любимичев круто обернулся к Двоетёсову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетёсова.

И Любимичев не отвёл второй руки для удара. В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадёт мёртвым.

— Мальчик, мальчик, — залаженно повторял Двоетёсов. — На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошёл к трапу. Его атласные щёки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровым. Он сам ещё не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось — ещё не понимает.

И как могли догадаться? Откуда?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:

— Мать моя родная! Кому ж теперь верить?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе её не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди всё видел сквозь дверь и, припомнив Руську — понял до конца!

Он заметался.

— Ребята! — обратился он к передним, — у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите? Я быстро.

— У всех схема под током!

— У всех ребёнок! — ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

— Пойду выключу! — озабоченно объявил Сиромаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном зда-

нии. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры — и ничего нельзя было сделать!

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильней желания выслужиться: было страшно идти опять мимо этой распалённо-злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели ещё *раскурочить*) собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнёс аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец неродной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно места рождения жены. Мышин раззявил пасть и засмеялся: „Что вы её — из бардака взяли?"

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании — в заветрии у стволов трёх лип, вокруг Абрамсона.

Абрамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Абрамсона имели от рождения узкий долгий разрез, и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключённых: всё повторялось, ничем новым не мог его поразить Архипелаг ГУЛаг. Абрамсон столько уже сидел, что как будто

разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали ещё одного стукача — с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что́ он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызвали. Когда же перевод вытащили силой и стали срамить — Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но, всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у неё не хватило трёх рублей, и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную — и он там достанет это письмо и покажет. И ещё, тряся своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирождённое свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его посадки за недоносительство, и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал:

— Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь! — на воле за тысячи не пошёл, а здесь на сотни польстился!

Или уж так напугали его лагерем?..

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех — если б не поймали ещё одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушёл.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

— Ну?! — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. — А про Любимичева слышал?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

— Качать тебя, качать! Но — боюсь за тебя.

— Хо! Я только разворачиваюсь, подожди, это цветики!

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошёл дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Прянчикова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

— Ха-ха, парниша!— приветствовал тот.— Вы всё представление пропустили! А где Лев?

— У него срочная работа. На перерыв не вышел.

— Что? Срочней Семёрки? Ха-ха! Такой не бывает.

Убежал.

Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бобынин со стриженой головой, в любую погоду без шапки, и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бобынин мог всего Герасимовича заглотнуть и поместить в себе.

Герасимович ёжился от ветра, держал руки в боковых карманах — и, щуплый, походил на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

81

Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему наперехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошёл маленький Герасимович.

— Александр Евдокимыч!

Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым.

К тому ж они друг друга и знали мало, почти никак.

Но Бобынин дал стоп:

— Слушаю вас.

— У меня к вам один научно-исследовательский вопрос.

— Пожалуйста.

И они пошли рядом, со средней скоростью.

Однако полкруга Герасимович промолчал. И лишь тогда сформулировал:

— Вам не бывает стыдно?

Бобынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника (но они шли). Потом — вперёд по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.

Добрых три четверти круга он продумал и ответил:

— И даже как!

Четверть круга.

— А — зачем тогда?

Полкруга.

— Чёрт, всё-таки жить хочется...

Четверть круга.

— ...Сам недоумеваю.

Ещё четверть.

— ...Разные бывают минуты... Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось. Но я соврал: а — здоровье? а — надежда? Вполне реальный первый кандидат... Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая... И дети... Да и потом это проклятое *интересно*, вот сейчас интересно... Я, конечно, презираю себя за это чувство... Разные минуты... Министр хотел на меня навалиться — я его отпёр. А так, само по себе, втягиваешься... Стыдно, конечно...

Помолчали.

— Так не корите, что система плоха. Сами виноваты.

Полный круг.

— Александр Евдокимыч! Ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу?

— А вы? — с интересом быстро метнул взгляд Бобынин.

— Никогда.

— Уверены?

— Никогда.

Круг. Но какой-то другой.

— Та́к вот задумаешься иногда: что это за люди, которые делают *им* атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься — да такие же, наверно... Может, ещё на политучёбу ходят...

— Ну уж!

— А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает.

Осьмушка.

— Я думаю так, — развивал малыш. — Учёный либо должен в с ё знать о политике — и разведданные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что

возьмёт политику в руки сам!— ио это невозможно... Либо вообще о ней ие судить, как о мути, как о чёрном ящике. А рассуждать чисто зтически: могу ли я вот зти силы природы отдать в руки столь иедостойных, даже ничтожиых людей? А то делают по болоту одии иаивный шаг: „иам грозит Америка"... Это — детский ляпсус, а ие рассуждение учёного.

— Но,— возразил великан,— а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент?

— Не знаю, может быть — тоже. Может быть — никому... Мы, учёные, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта иад всеми политиками мира даёт возможность каждому и в тюремиой одиночке найти правильиое вполие общее решеиие и действовать по нему.

Круг.

— Да...

Круг.

— Да, может быть...

Четвертушка.

— Давайте завтра в обед продолжим этот коллоквиум. Вас... Илларион... ?

— Павлович.

Ещё иезамкнутый круг, подкова.

— И особо — в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картиие — „Русь уходящая". Вы иичего не слышали?

— Нет.

— Ну, да оиа ещё ие написана. И может быть совсем не так. Тут — название, идея. На Руси были коисерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозваиные домашиие богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экоиомисты — их иет. Накоиец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольиые бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёриая лапа сгребла их всех за первую дюжиину лет. Но одии родник просочился черезо всю чуму — это мы, техио-элита. Инжеиеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. Потому что идеологию им иакропают любые проходимцы, а физика подчииняется только голосу своего хозяина. Мы заиима-

лись природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев иаших нет. Кому ж наследовать иеисполнеииый жребий гуманитарной элиты — не иам ли? Если *мы* не вмешаемся, то кто?.. И неужели ие справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов — иеужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы иа этих шарашках преподносим им реактивиые двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и, может быть, атомиую бомбу? — лишь бы только было нам хорошо? И *интересно*? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?

— Это очень серьёзно, — кузиечиым мехом дохиул Бобынии. — Продолжим завтра, ладно?

Уже был звоиок иа работу.

Герасимович увидел Нержиииа и договорился встретиться с ним после девяти часов вечера иа задней лестнице в ателье художника.

Ои ведь обещал ему — о разумио построеиом обществе.

82

По сравнеиию с работой майора Шикииа в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был — чтеиие писем, их отправка или неотправка. А минусы были — что не от Мышина зависели этапирование, иевыплата деиег за работу, определение категории питания, сроки свидаиий с родствеиниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей оргаиизации — майору Шикиuу, который даже виутритюремые новости узиавал первый, майор Мышии налегал также иа подсматривание через прозрачную заиавеску: что делалось на прогулочном дворе. (Шикин, из-за иеудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишён такой возможности.) Наблюдения за заключёнными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей, — видел, кто с кем ходил, говорил ли оживлёнио или равнодушио. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить:

— Кстати, о чём вы вчера в обедеииый перерыв говорили с Петровым?

И иногда получал таким образом от растерянного арестанта небесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже подглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел — она шла у другого конца здания.)

В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и неуспевших попасть на приём рассеял шебутной старшина,— велено было допустить Дырсина.

Иван Феофанович Дырсин был награждён от природы углоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят *от станка*, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нём, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семёрке сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягчённая зачётами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за „антисоветскую агитацию"— по доносу соседей, метивших на его квартиру (и потом получивших её). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вёл, но м о г её вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но м о г его слушать, так как имел дома запрещённый радиоприёмник. Правда, такого приёмника он не имел, но вполне м о г его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы.

Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет — и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой „Лагерный Пункт", прибитой на первой таёжной сосне. За восемь лет, что Дырсин пробыл в стране ГУЛаг, умерли два их ребёнка, стала костлявой старухой жена,— об эту пору вспомнили, что он — инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да ещё сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильни-

ца, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасна-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щёки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожжённого глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию.

Никогда такого не случалось! Мышин предложил сесть (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чём будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

— Вот вы всё жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.

— Больше трёх, гражданин начальник!— робко напомнил Дырсин.

— Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

— Что за человек ваша жена. А?

— Я... не понимаю...— пролепетал Дырсин.

— Ну, чего не понимать? Политическое лицо её — какое?

Дырсин побледнел. Не ко всему ещё, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь её, накануне его освобождения...

Он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.)

— Она — нытик, а нытики нам не нужны,— твёрдо разъяснил майор.— И какая-то странная у неё слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

— Ради Бога! Что с ней случилось?!— болтая головой, воскликнул умоляюще Дырсин.

— С ней?— ещё с большими паузами говорил Мышин.— С ней? Ничего.— (Дырсин выдохнул.) — Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

— Благодарю вас!— задыхаясь, сказал Дырсин.— Можно идти?

— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключённые о *воле* по таким письмам? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти обёрточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18 сентября:

> „Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить да к тебе поехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец её ругали — зачем поехала, теперь, мол, и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л. В. они совсем даже не разговаривают.
>
> Живём мы плохо. Бабушка, ведь, третий год лежит, не встаёт, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л. В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье её плохое, дети её не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?
>
> Ну, целую тебя крепко. Будь здоров."

И даже не было подписи или слова „твоя".

Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтёт и перечтёт это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлёт хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрёка не выражало, а только боль его нескладное лицо.

Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради.

„30 октября.

Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не даёт бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Ещё, слава Богу, осень тёплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добьёшься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины, тащу её прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: „Старушка, везущая хворосту воз"! Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжёлых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л. В. её каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л. В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться..."

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

— Ну? Вы прочли или что? Вроде, не читаете. Вот, вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели,

понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока́ давали. Демонстрация всем — радость, а ей — „переться"? Уголь! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал, давать ли, нет — но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что всё наладится. Вон, там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

„Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., всё обошлось дёшево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л. В., наверно, туберкулёз, она кашляет и даже горлом идёт кровь, как придёт с работы — так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот ещё зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.

Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я) — а дают одну пыль, ну зачем её брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шофёру, уж он привёз крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.

С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на

них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придётся вводиться в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л. В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?

Очень красивая посуда продаётся в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров".

Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять — Дырсин всё ещё читает или уже кончил.

— Так вот,— спросил Мышин,— вам ясно?

Дырсин не шелохнулся.

— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырёх страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в бога верила. Да уж лучше пусть в бога, что ли... А то что ж это?.. Куда это?.. Успокойте её, что скоро вернётесь. Что будете зарплату большую получать.

— Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?

— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Всё-таки, ваш друг жизни.— Майор помолчал.— Или, может, вам теперь молоденькую хочется?— сочувственно предположил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сиромаха.

83

В те редкие минуты, когда Артур Сиромаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою посто-

янную напруженность леопарда,— он оказывался вялый молодой человек со стройной впрочем фигурой, с лицом артиста, утомлённого ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы овлажнёнными печалью.

Два человека в запальчивости уже обозвали Сиромаху в лицо стукачом — и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинён в подготовке побега? террора? восстания?— он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? или везут в следственную тюрьму?

Такова человеческая природа, и её хорошо используют тираны и тюремщики: пока человек ещё мог бы разоблачать предателей или звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим — в нём не убита надежда, он ещё верит в благополучный исход, он ещё цепляется за жалкие остатки благ — и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг — только каменная коробка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач,— одни Сиромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить „о бабах". Так жили и с другими стукачами. Так — мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. „Сага о Форсайтах" была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрёпанными детективами.) У Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в консерваторию.

Род Сиромах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Ещё один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равно-

мерная копотная жизнёнка с ежедневным корпением „от“ и „до“, с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощённой вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьёзно примерял к себе всех знаменитых киноартисток, он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путём к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с лёгким перебрасыванием, с порханием — и та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит — спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринуждённо входил в ресторан „Савой“ с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлинённом лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда тёплый, с запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик!)

Всё пело в Артуре, что он — на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми — подлой. Это шло от непонимания или от зависти! Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть — это была артистическая работа. Да, её надо было скрывать, она не существовала без тайны — но лишь по её технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился — этически в этой работе не было ничего позорного!

Однажды, не уместясь в своём бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой её.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был на лесоповал, ни в шахты, а устроен при Культурно-Воспитательной Части. Это был единственный в лагере огонёк, единственный уголок, куда можно было на полчасика зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные *Укропы Помидоровичи* (как

звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись — и очень у места был тут Артур с его артистической душою, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя, скользя поговорить о чём угодно.

И так Артур быстро *оформил* несколько одиночных *агитаторов;* одну антисоветски-настроенную *группу*; два побега, ещё не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское *дело врачей*, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключённых — то есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Марфино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сиромаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе! Не одному, не трём — двадцати с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал ещё нескольким, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух,— и хотя через пятого-через шестого жил на шарашке стукач — ни один из них ничего не узнал, а может быть, не донёс, узнавши! И самый наблюдательный, самый чутконосый премьер-стукач Артур Сиромаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня!

Теперь была задета и его честь осведомителя — пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он?? И прямая его безопасность — так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сиромахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг — так и ударить его надо было проворно! (Впрочем, ещё не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера.)

Но Сиромаха не мог прорваться в кабинеты! Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина

или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь! Её разогнали по трёхчасовому звонку, но пока самые надоедливые и упрямые зэки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромаха со страдающим видом, держась за живот, пришёл к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдётся),— уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчётам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума — а он там сидел, и сидел, и сидел. Рискуя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семёрки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в тёмном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась — и Шикин показался в нешироком растворе двери.

— Очень срочно!— шёпотом сказал Сиромаха.

— Минуту,— ответил Шикин.

И лёгкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушёл далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

84

После недельного следствия по „Делу о токарном станке“ суть происшествия всё ещё оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей супорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории № 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, прика-

зано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских (был путь короче, без спускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зэков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности).

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней — а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория № 3, имеющая в своём составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключённых (даже списка их никто не составил!— и майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) — и эти десять зэков спустили-таки тяжёлый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролёра-приёмщика. Десять же мобилизованных зэков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, ещё несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец, пришли за ним люди из мехмастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и ещё три дня не брали станка, пока их всё-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести „Дело". Может быть и не изза этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют ещё не разоблачённые враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удач-

ном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель, и то затруханный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишки. И единственно, в чём он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять зэков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиною не полозили, об ступеньки её не били. И ещё как-то так получилось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно, кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства,— это инженера Потапова. Разозлясь от трёхчасового допроса, он проговорился:

— Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и всё! Какой смысл станину колотить?!

Эту фразу матёрого диверсанта Шикин сейчас же занёс в протокол, но Потапов отказался подписать.

Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паёк, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам: здесь надо было, чтоб они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать.

И всё-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь,— навстречу им попался дворник Спиридон и с криком: «Стой, братки, поднесём!"— тоже взялся одиннадцатым и донёс до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника — и тот пришёл, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял её в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядя на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтённому поражённый преступностью Егорова, он вскидывал на него изумлённый взгляд как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (всё это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому,— но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча всё перекладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетённого, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

— А ну, подойди ближе!— (Спиридон подошёл.) — Стой. Вот этого — знаешь, нет?— И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я её облазю.

Шикин разрешил. Всё так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за рёбра и, по-разному наклоняя её к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

— Не,— облегчённо вздохнул он.— Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

— Очень плохо, Егоров,— сокрушённо сказал он.— От запирательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь,— он указал на стул подальше.— Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятясь, отошёл к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперёд и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

„Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно?“

Спиридону, видавшему в своей жизни и два следствия и одно переследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стёклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь.

— В общем, пришли на вас новые материалы,— тяжело вздохнул Шикин.— В Германии-то вы, оказывается, штучки отка́-а-лывали!..

— Может, то ещё не я!— успокоил его Спиридон.— Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!

— Ну, ка́к не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста,— ткнул Шикин пальцем в папку.— И год рождения, всё.

— И год рождения? Тогда не я!— убеждённо говорил Спиридон.— Я-то ведь себе у немцев для спокоя три года прибрёхивал.

— Да!— вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги.— Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.

— Ну-ну,— сказал Спиридон.

— Так вот, трахнули вы его где?— ещё на лестнице или уже в коридоре?

— Кого?— удивился Спиридон.— Мы не дрались.

— Станок!— кого!

— Да Бог с вами, гражданин майор,— зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?

— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили? Может — обронили?

— Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкою, как ребёнка малого.

— Да ты-то сам — где держал?

— Я? Отсюдова, значит.

— Откуда?

— Ну, с моей стороны.

— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпиндель?

— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу!— Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет.— Я, значит, спустёвшись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну?

— Кто — двое?

— Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой!— кричу,— дай перехвачу! А тюлька-то вó!

— Какая тюлька?

— Ну, чтó не понимаешь? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон.— Ну, несли которую.

— Станок, что ли?

— Ну, станок! Я — враз и перехвати! Вот так.— Он показал и напрягся, приседая.— Тут один протискался сбочь, другой пропихнулся, а втрою́ — чего не удержать? фу-у!— Он распрямился.— Да у нас по колхозной поре не такую тяже́ль таскают. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где той станок?— пойдём, сейчас за потеху подымем!

— Значит, не уроняли?— угрожающе спросил майор.

— Не ж, говорю!

— Так кто разбил?

— Всё ж таки ухайдакали?— поразился и Спиридон.— Да-а-а...— Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.

— С места-то его взяли — целый был?

— Вот, чего не видал — не скажу, могёт и поломанный.

— Ну, а когда ставили — какой был?

— Вот тут уж — целый!

— Да трещина в станине была?

— Никакой трещины не было́,— убеждённо ответил Спиридон.

— Да как же ты разглядел, чёрт слепой? Ты же — слепой?

— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно,— а по хозяйству всё вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я всё чисто согребаю, хоть со снега белого — а всё согребаю. У коменданта — спросите.

— Так что вы? Станок поставили и специально осматривали?

— А как же? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.

— Похлопали? Чем?

— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер ещё сказал: „Хорош станочек! Мой дед токарем был — на таком работал".

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

— Очень плохо, что ты и тут не сознаёшься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты — ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вёл он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживлённый разговор о станке,— этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми,— если сразу не поддался, то теперь — тем более.

Про себя Спиридон, ещё когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была *тухта*, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка — диви бы было, если б его не вызвали — тех десятерых неделю полную трясли, как груш. И целую жизнь привыкнув обманывать власти, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как тёркой по коже. Ему то́ досаждало, что письмо опять откладывалось. И ещё: хоть в кабинете

Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался чёткий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого Сиромаху, умевшего всегда в два слова высказать главное.

Сиромаха вошёл мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняла его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

— Доронин ходит-показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, ещё человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин — ваш?..

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходяще самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сиромаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

— Товарищ майор! — напомнил он (как арестант он не смел сказать „товарищ", но должен был сказать как друг!), — не прямо! Не дайте ему приготовиться!

Это была элементарная тюремная истина! — но даже её пришлось напомнить!

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сиромаха отошёл к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

— Я — пойду, товарищ майор? — почти не спросил Сиромаха. — Что узнаю ещё — к вечеру или утром.

В растаращенные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

— *Девять грамм* ему, гаду! — с сипением вырвались его первые слова. — Оформлю!

Сиромаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Марфино, но во всей истории Органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда тёмной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тамарой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с неё пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в ещё не снятой алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трёх шагах от неё, и впился в её лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь!) и сказала:

— Ростислав Вадимович! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе,— но глаза её были уже не те глаза! Их подменили! Какой-то безжизненный туск наплыл на них...

Подчиняясь механически и не думая, что́ бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику,— Руська шёл и думал только о её выражении. Ещё из дверей он обернулся на неё — увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней?..

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость,— а де-

журный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление чёрного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сиромахи, если бы Шикин позвонил в Вакуумную сам,— Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил,— наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что́ с ней, увезти с собой или восторженную веру в неё или самому освободиться от верности,— а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться,— чтобы не вызвать подозрения, если его ещё нет,— и всё-таки Руська повернулся сбежать по лестнице — но отнизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошёл к Шикину.

Он вошёл, за несколько шагов приструня себя, преобразясь лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры,— он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенёсся в круг новых мыслей и опасностей,— и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя:

— Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой!— но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Изо рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

— Ах ты, сволочь! Продаёшь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как в гуманнейшей из стран была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблачённый осведомитель не строили иллюзий: с неугодным человеком что ж было делать, если его не расстрелять?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнущей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил:

— Насчёт расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. *Посажу* я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете? Снимут погончики! Насчёт расстрелять — это подумать надо...

85

Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создаётся нашею волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного. И с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он звонил в посольство — порывом, плохо обдуманным. Он узнал внезапно — и было поздно откладывать на те несколько дней, когда он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в одержимости, хотя знал, что все телефоны прослушиваются, и их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля.

Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно воруют бомбу — и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но всё же он не представлял ударяющего мозжащего каменного дна. Он, может быть, таил ещё где-то дерзкую надежду выпорхнуть, уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам.

Но ещё и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа. Оборвался натяг его короткой решимости — и страх разорял и выжигал его.

Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Иннокентий ещё держался, сколько мог, с достоинством, но внутри уже был разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спасаться.

Ещё не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приёма и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешённый его отъезд! На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом... Значит он раскрыт...

Как-то видя всё потемневшим и плечи чувствуя как бы оттянутыми полными вёдрами, он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали — он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки.

Всё внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль — не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полёта — и всё разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчёт экспертов — задолженность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчёт. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, зябко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лёг на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нём.

Неужели это он? он! осмелился звонить в посольство?! И — зачем? Позвоните — оф Кэнеда... А кто такой *ви?* А откуда я знаю, что ви говорить правду?.. О, само-

надеянные американцы! Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров! Они — заслужили...

Не надо было звонить. Жаль — себя. В тридцать лет кончать жизнь. Может быть в пытках.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вёл его тогда, и не было страшно.

Не то, что не жалел,— а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорей это всё кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не звонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освежённый, а в ещё более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться — не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко,— и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шёл арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменился.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим ещё подбодрился.

А всё-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать...

Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия, это было просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его — не сразу, потом — слышно-слышно застучало.

А оказалось — Дотти, её удивительно-музыкальный по телефону голос. Она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая-не плохая жена, а ближе всех!

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности — ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале!

— Ну, возьми на что-нибудь весёленькое,— сказал Иннокентий.

— В оперетту, что ли?— спрашивала Дотти.— „Акулина" какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене „Закон Ликурга", премьера, на большой — „Голос Америки". Во МХАТе — „Незабываемый".

— „Закон Ликурга" звучит слишком заманчиво. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на „Акулину", ладно. А потом закатимся в ресторан.

— О кэй! о кэй!— смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли! Ведь они приходят ночами!)

Постепенно токи воли возвращались в Иннокентия. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Щевронок и Заварзин — те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть ещё раньше. Подозрение — это ещё не доказательство!

Хорошо, допустим — арест угрожает. Но помешать этому — способов нет. Прятать? Нечего. Так о чём заботиться?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? Или наоборот, последние дни — наслаждаться ожесточённо?

И почему он так перепугался? Чёрт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура — отчего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать её, отодвинув отчёт экспертов. И нашёл: „Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла."

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочёл дальше:

„Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет — и поэтому смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас."

А это здорово,— откинулся Иннокентий.— И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере.

Иннокентий представил себе Сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней — а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

„Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдёт это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти — насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью."

Блестяще сказано! Но вот беда: если не природа оттаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а МГБ, и — тридцатилетнего?..

„Не до́лжно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранён от страха. Продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернёт ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души."

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку? О, если бы такая твёрдость!

Но не находил он её в себе.

А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны.

Атомная бомба у коммунистов — и планета погибла.

В подземельи застрелят как собаку, а „дело" запрут за тысячью замков.

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряжённое горло прошла в грудь.

Да нет, если б о нём объявили — ему не легче было бы, а жутче: мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный? — родной отец.

Только *тот* Курбский ушёл от своего Грозного, а Иннокентий не успел.

Если бы объявили — соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? — хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы — и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное: как посмел он решать за отечество, если это право — только верхнего кресла, и больше ничьё?

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал её Родине!

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задушенным цыплёнком? тому залатанному одноногому мужику?

И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже н е п о й м ё т, порознь. А сгонят на общее собрание — осудят единогласно...

Им нужны дороги, ткани, доски, стёкла, им верните молоко, хлеб, ещё, может быть, колокольный звон — но зачем им атомная бомба?

А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству.

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

Смеркалось.

В сумерках чёрный долгий „ЗИМ", проехав распахнутые для него ворота вахты, ещё наддал на асфальтовых извивах марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую „победу" и с разлёту, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов.

Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он её не сдаст). Он шинели не сдал, папахи не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько зэков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрей, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

— Пойди найди Ройтмана,— сказал ему через плечо Осколупов,— предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошёл в противоположную сторону — к Семёрке. Увидевший его в спину дежурный по объекту „сел" на телефон — искать и предупредить Яконова.

В Семёрке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, после долгих месяцев наладки, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодером началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора: Любимичев и Сиромаха (входная дверь всегда оставалась в уголке их насто-

роженного зрения). Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры Семёрки — Любимичев и Сиромаха участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете Семёрки они многого нахватались.

Заметив Осколупова, оба бросили паяльники на подставки, Сиромаха метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и *на цырлах* понёс его навстречу генералу, ловя указание, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева — рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, ещё приказчичьим движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону и — вместе с Сиромахой — они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний.

Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории всё смолкло, не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разорённой стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошёл Мамурин и изнеможённо приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца). Мамурин дошёл уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенёс он удары минувших суток — гнев министра и разломку клиппера. Если ещё могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом — они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе — они

потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как Конёк-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение — приход Прянчикова с вокодером под кров Семёрки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчинённых — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

— Ну, так что? Как дела?—
И тем самым вынудил подчинённых высказываться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, а если заговаривали сразу двое — оба уступали.

Два тона было в этом разговоре: „надо" и „трудно". „Надо" проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым-Сиромахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячечно денно и нощно изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клиппера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать *на дядю*, когда не ожидал воспользоваться плодами работ,— сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семёрке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был — человек, то есть из той распространённой породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных.

На лицах Любимичева и Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за всё время командования Семёркой — молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий министерства Госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырсина, виня его в отсутствии энтузиазма. У Дырсина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти от-

нимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришёл Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоём на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную, за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить — не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идёт на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок,— но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошёл к выходу, оставив полный состав Семёрки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела Спецтехники.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести своё огрузлое большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный инженер шёл рядом с ним: Яконов был выше на голову, причём на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только дóлжно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приёма.

Но — чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря — убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придётся быстро смягчиться.

Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу и с удовольствием оставлял его помучиться ещё несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорблённость за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы.

А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертёж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать; и вызовет Сологдина и начнёт его припугивать и давать жестокие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход.

И так всё это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

— У тебя Герасимович — что делает?— спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустился в стороне на стул.

— Герасимович?.. Да собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

Тот самый, с бронзовой накладкой „Великому Сталину — от чекистов".

— Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

„Спиридоновка" была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах: всё, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтёра, монтёр приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях.

В дверь заглянул дежурный:

— Заключённый Герасимович.

— Пусть войдёт,— кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево.

Герасимович вошёл, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

— По вашему вызову,— сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм,— ответил Осколупов.— Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

— Вы... это...— вспоминал Фома Гурьянович.— Вы...— оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?

— Да.

— И вас это...— Фома поворочал языком, как бы протирая зубы.— Вас хвалят. Да.

Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:

— Вы последнюю работу Бобра знаете?

— Слышал.

— У-гм. А что мы Бобра представили к досрочному?

— Не знал.

— Вот, знайте. Вам сколько сидеть осталось?

— Три года.

— До-олго!— удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками.— Ой, до-олго!— (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: „Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!") — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?

Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

— Где ж её возьмёшь? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

— Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать?

— Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках — там болтают откровен-

но, чего не наслушаешься. Но это — не по вашей специальности?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печёт. И обе прямо по вашей специальности,— ведь так, Антон Николаич?— (Яконов поддакнул головой.) — Одно — это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультра-красных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, а он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьмётесь?

Суженным худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова „скорбный“. Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение молитвы Наташи!..

Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что Бобёр: вместо себя посадить за решётку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек.

Затруднённо, с препинанием Герасимович спросил:

— А на телевидении... нельзя бы остаться?

— Вы отказываетесь?!— изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости.— По какой же причине?

Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тёртых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных

сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.

— Зачем — причины? Не могу. Не справлюсь,— очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это кажется был ещё один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон „своя рубаха ближе к телу" не мог не сработать и здесь.

— Вы просто отвыкли от серьёзных заданий, оттого и робеете,— убеждал Осколупов.— Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшою рукой подпёр лоб и молчал.

Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни — крохотность незамечаемая.

— Но о чём вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом *тянуть резину*, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого вислощёкого тупорылого выродка в генеральской папахе, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку.

— Нет! Это не по моей специальности!— звеняще пискнул он.— Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...

87

Рубин с утра был ещё в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжёлыми занавесями по бокам окна и двери, с нено́вым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насу-

пясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки катушек с лентами.

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом — представленные ему ещё пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-„фонемам", то по „основному тону" различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закруглённо-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Его тёмно-карие глаза казались огненными. Большая нечёсанная чёрная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъём, которого ещё не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освежённым взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдаёт всё, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: „Нельзя! У меня насморк", и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошёл к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чту-

щего ритуал еды, был едва пробуждён в нём встряхиванием за плечи всё тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нём. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять её назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал её на свои деньги: он два часа „просидел на телефоне", созванивая и согласовывая этот паёк сперва с Отделом Спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с Тюремным Управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской „третьей" категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо важного государственного задания, добивался „первой", да ещё диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребёнка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в неё тоже.

А Рубин всё съел, и на его помягчевшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:

— Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. Satur venter non studet libenter.[1] Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвёртого!

— Что-о? Я думал — двенадцати нет.

— Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если б Ройтман боялся, что

[1] Сытое брюхо к учению глухо *(лат.)*.

Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

— Только начало! Только первые выводы, Адам Вениаминович!

— И — какие же?

— О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть-таки рациональное зерно!!

— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорьич?— предостерёг Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

— А когда вы видели, чтоб я увлекался?— чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду.— Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе — всё, что Антон Николаич считал пустым времяпровожденнем, да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение!— всё это даёт теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забирать, как вы думаете?

— Если фирма развернётся — отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

— Первое задание! Первое задание — это половина всей науки! Не так-то скоро.

— Но... то есть... Лев Григорьич? Неужели вы не понимаете, насколько срочно всё это надо?

О, ещё бы он не понимал! „Надо“ и „срочно“— на этих словах вырос комсомолец Лёвка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей,— но было н а д о и надо с р о ч н о — и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных учёных изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич „срочно надо!“, конечно же, оставался внятен его душе и попирал привычку доделывать работу до конца.

Действительно, как же не срочно, если величайший государственный предатель может ускользнуть?..

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Всё это делали они вдвоём, не обращая внимания на Смолосидова,— он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа её как хмурый чёрный пёс, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжёлый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринуждённости: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали — один в сомненья, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперёд его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперёд выучка пятилеток и сознание партийного долга.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырёх, которые задержаны у метро Сокольники (да и слишком поздно их задержали), и ещё тех нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомлённый в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых! Сравнили с преступником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

— А посмотрите, как много даёт нам звуковидный анализ!— с горячностью показывал Рубин.— Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца говорил изменённым голосом — он бы не скрыл своей характерности!

— Но мы ещё плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов,— упирался Ройтман.— Может быть, в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усумниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-

частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчётливей. (Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов, и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы.)

Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш — и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать её приёмы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться её будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, организацию, которая когда-нибудь будет принята: единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щёлку предупредил о скором приходе *хозяина.*

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником Отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определённость, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений, и твёрдо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

Напротив, запутывающим обстоятельством здесь было то, что по присланным данным, именно из трёх отклонённых двое — Сяговитый и Петров, ни бум-бум не знали иностранных языков, Щевронок же знал анг-

лийский и голландский, Володин — французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Мало вероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицания на знакомом ему языке.

— Вообще, Лев Григорьич,— мечтательно говорил Ройтман,— мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо всё-таки представить себе — что́ должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть — даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

— Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина: в разговоре с женой,— (этот разговор с женой, помимо сознания отвлекал и сбивал Рубина: голос володинской жены был так напевен в телефон, что тревожил и уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина),— в разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования, и ничего подобного нет в весёлом воскресном щебете Щевронка, я согласен. Но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Щевронок. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр.— (На это-то никогда не хватало времени у филолога!) — Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он — преступник,— я почти без колебаний назвал бы Щевронка!

— Но мы так не станем делать, Лев Григорьич,— мягко возразил Ройтман.— Давайте поработаем измерителем, давайте переведём на язык цифр — тогда и будем говорить.

— Но ведь это сколько уйдет времени?! Ведь н а д о же с р о ч н о!

— Но если истина требует?

— Да вы посмотрите сами, посмотрите!..— и перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривлённой верхней губе видели, что он пришёл резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

— Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощёкое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана — даже в чётких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронок и Володин, однако для окончательного суждения нужны ещё новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

— Но, кажется, Лев Григорьич хочет что-то добавить или поправить?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решённый пень. Но сейчас он был также и — государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не присуща, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного сужде-

ния, что нужны ещё магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:

— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша „наука"? Мне — преступника надо поймать. Докладайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Чёрным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что — среди этих пяти.

(А что он мог ещё сказать?..)

Фома теснее прищурил глаза.

— Вы — отвечаете за свои слова?

— Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют.)

— Подождите,— возразил Рубин.— Ну, ещё хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!

— А вот, следствие начнётся — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.

— Но один из них будет невиновен!— воскликнул Рубин.

— Как это — невиновен?— удивился Осколупов и полностью раскрыл зелёные глаза.— Совсем уж ни в чём и не виновен?.. Органы най-дут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчинённых никогда не хвалить — чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от Самого́.

А всё-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали всё, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и ненужна.

Если вместо одного можно арестовать двух,— то почему и не всех пятерых для верности?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана,— и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нём опять посетило его.

А в Рубине угасла вся непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему ещё больше пяти лет, и с каждым годом всё гнут и гнут революцию в болото аппаратчики проклятые — и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколота Рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что — а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединённая партийно-комсомольская политучёба и надо было, чтоб он шёл загонять своих подчинённых и присутствовать сам.

88

Понедельник был не на одной шарашке Марфино, но и по всему Советскому Союзу установленный Центральным Комитетом партии день политучёбы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье (по неотмененному желанию Вождя с граждан

требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты).

Историю Партии Нового Типа прорабатывали очень углублённо. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина-Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзовизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые полста лет назад (и с тех пор давно изменённые), и разницу между старой „Искрой" и новой „Искрой", и шаг вперёд, два шага назад, и кровавое воскресенье,— но тут доходило до знаменитой Четвёртой Главы „Краткого Курса", излагавшей философские основы коммунистической идеологии,— и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения (глава написана была самим Лучшим Учеником и Другом Ленина), то единственные причины были: трудности диалектического мышления для отсталых тёмных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения Четвёртой Главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заём,— и политучёбы прекращались.

Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание Великого Кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к её недостаткам и движущим противоречиям,— приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что Четвёртая Глава не докончена,— и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом.

Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфино на тему „Диалектический материализм — передовое мировоззрение" тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать Четвёртую Главу, коснуться ослепительно-гениального произведения Ленина „Материализм и эмпириокритицизм" и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинский партийный и комсомольский кружки на столбовую дорогу современности: работа и борьба нашей партии в период пер-

вой империалистической войны и подготовки Февральской революции.

И ещё то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты (кто написал — оставалось на следующий понедельник, кому перекатывать — можно было перекатать и позже). И ещё то манило к этой лекции, что читал её не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. (Ещё одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам: Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова — не того Мамулова из секретариата Берии, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия.)

Но несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность её, марфинские вольняшки тянулись на неё как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться — не покинуть же зэков без присмотра! — то начальник Вакуумной, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару, отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по Акустической — остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пришёл, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверить даже партия.

Кто же, наконец, приходил — приходили не вовремя и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды.

Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций. Сюда раз навсегда было внесено много стульев, а здесь их нанизали на жерди по восемь штук и сколотили навечно. (Такую меру комендант вы-

нужден был применить, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту.) Стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад — так, чтобы ногам было привольнее. Между молодёжью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки, смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог.

— Товарищи! товарищи! Это — позорный факт! — свинцово поблескивал очками Степанов, понукая отставших. — Вы заставляете ждать лектора обкома партии! (Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова.)

Предпоследним вошёл в залец Ройтман. Не найдя другого места — всё сплошь было занято зелёными кителями и кое-где женские платья пестрели меж них — он прошёл в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым — хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся своё слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчинёнными, а — партийно-комсомольским коллективом. Не найдя свободного места позади, Яконов прошёл в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана.

После этого Степанов ввёл лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом тёмных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринуждённо, как будто зашёл в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нём был светлый бостоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пёстрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо:

— Товарищи! Каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир.

Массивно переклонясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он

смолк — и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодующе воскликнул:

— Многие философы пытались ответить на этот вопрос! Но никто до Маркса не мог сделать этого! Потому что метафизика не признаёт качественных изменений! Конечно, нелегко,— он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы,— осветить вам всё за полтора часа, но,— он спрятал часы,— я постараюсь.

Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике, перебил:

— Можно и больше. Мы очень рады.

У нескольких девушек упало сердце (они спешили в этот день в кино).

Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним.

— Регламент!— осадил он Степанова.— Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества? Гениально разработанная ими и продолженная Лениным и Сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма — это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на её основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи! У Гегеля диалектика стояла *на голове*, это бесспорно! Маркс и Энгельс поставили её на ноги, взяли из неё рациональное зерно, а идеалистическую шерлуху отбросили! Марксистский диалектический метод — это есть враг! Враг всякого застоя, метафизики и поповщины! А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта, это то, что... взаимосвязь! Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество это — как бы вам сказать пояснее?— это не мебельный магазин, где вот наставлено, наставлено, а связи никакой нет. В природе всё связано, всё связано,— и это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях!

Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришёл раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестевший

очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейски-статный лейтенант написал записку и передал её Тоне, татарочке из Акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх тёмного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Чёрный чубчик её упал и свесился, делая её особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авторучку.

— ...Ну, и число примеров можно увеличивать... Вторая черта диалектики это то, что всё движется. Всё движется, покоя нет и никогда не было, зто факт! И наука должна изучать всё в движении, в развитии — но при зтом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идёт по винтовой лестнице, зто нет необходимости доказывать, и всё вверх, и вверх, вот так...

Вольным помахиванием руки он показал — как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола метра три квадратных и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова „бесспорно" и „нет необходимости доказывать" он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика — и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства.

— Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Эта очень важная черта помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам зту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду, вот хотя бы воду в зтом графине,— ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете её нагревать. Нагрейте её до тридцать градусов — и она всё равно будет вода. И нагрейте её до восемьдесят градусов — и всё равно будет вода. А ну-ка догреть до сто? Что тогда будет? П а р!!

Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули.

— П а р! А можно сделать и лёд! Что? Это и есть переход количества в качество! Читайте „Диалектику

природы“ Энгельса, она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались! Потому что не знали закона перехода количества в качество! И так во всём, товарищи! Приведу примеры из развития общества...

До всякого лектора и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен учёному как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семинарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его, медленно поворачиваясь, косо ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек — сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки-анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы.

Голос лектора рокотал:

— Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может э-во-лю-ционно, это факт! Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно! Но социал-регенаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва?! Значит, без революции? Без ломки государственной машины? Парламентским путём? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам! Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооружённой борьбы от власти не откажется!!

Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окаёмкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса, с недоумением, после чего приложил их к уху.

— Четвёртой чертой диалектики,— вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули,— это то, что... противоречия! Противоположности! Отживающее и новое, отрицательное и положительное! Это — везде, товарищи, это — не секрет! Можно дать научные примеры, пожалуйста — электричество! Если потереть стекло о шёлк — это будет плюс, а если смолу о мех — это будет минус! Но только их единство, их синтез даёт энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде: тепло — это плюс, а холод — это минус, и в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, диамат впитал в себя всё лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мёртвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах! И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, не взирая на лицо.

Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавливаемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он ещё пытался говорить стоя:

— Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...

Усталость свалила его, он поморгал, опустился на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо:

— ...но наш ЦК дал отпор сокрушительный.

И всю середину лекции он прочёл так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся.

Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шёпота, как будто всё складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода:

— Только материя абсолютна, а все законы науки относительны... Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи — относителен... Нет нич-чего абсолютного кроме материи, и движение — вечный атри-

бут его... Движение абсолютно — покой относителен... Абсолютных истин нет, всякая истина — относительна... Понятие красоты — относительно... Понятия добра и зла — относительны...

Слушал ли Степанов лекцию, нет ли,— но весь вид его, вытянувшегося в стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в марфинских стенах.

Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Ещё одна девушка из четвёртого ряда в эпонжевом платьи вся подалась вперёд и слушала с лёгким румянцем. У неё появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать — какой.

Внимательно смотрел на лектора ещё Клыкачёв, чья узкая длинная голова высовывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал: он сам вёл политучёбы и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачёв просто от скуки изучал лектора — сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берёт от жизни, и жизнь ему мстит.

Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвёртый листок из блокнота, ещё один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру: он брал её сперва за один палец, потом ещё за один, и так за всю кисть, она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять всё шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник 4-й группы рисовал начальнику 1-й группы (тоже на коленях, пряча от Степанова), какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме.

Но до всех них хоть обрывками долетал ещё голос лектора,— Клара же Макарыгина в однотонном яркосинем платьи открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой

комнате, она бродила в том чёрно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляли её со вчерашнего руськиного поцелуя. Всё запуталось неразрешимо. Зачем был в её жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську *не ждать*? И как можно было его *ждать*? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд и снова и дальше разговаривать? Перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучёбы, и она убежала охотно на лекцию, чтобы отдалить свою встречу с ним. Однако сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал её невыносимым упрёком. Действительно, как это должно казаться подло — вчера обещать ему, а сегодня...

(Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться: Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в Вакуумной, в самый этот момент, майор Шикин в присутствии начальника Вакуумной взламывал и обыскивал Руськин стол.)

Силы снова прилили к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя громил убогую формальную логику, порождение Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики.

Именно Марфина достигали самые свежие американские журналы, и недавно для всей Акустической Рубин перевёл, и кроме Ройтмана уже несколько офицеров читало о новой науке кибернетике. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике: „да“ — да, а „нет“ — нет, и третьего не дано. И „Двузначная логическая алгебра“ Джона Буля вышла в один год с „Коммунистическим манифестом“, только никто её не заметил.

— Вторым большим разделом диалектического материализма — это философский материализм,— погромыхивал лектор.— Материализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями — епископ Беркли, Мах, Авенариус, Юшкевич и Валентинов.

Яконов охнул, так что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом — однако именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно-внимательным лицом. Вот на зто он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц!..

— Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего! — гремел лектор.— Материя неуничтожима, зто бесспорно! и зто тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно — разве оно исчезло? — нет! оно превратилось в растение, в десяток таких же зёрен. Была вода — от солнца вода испарилась. Так что, вода исчезла? Конечно, нет!! Вода превратилась в облако, в пар! Вот как! Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины, физик Оствальд имел наглость заявить, что „материя исчезла". Но это же смешно, кому ни скажи! Гениальный Ленин в своём бессмертном труде „Материализм и эмпириокритицизм", руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда!

Яконов подумал: вот таких бы лекторов человек сто загнать бы на зти тесные стулья, да читать им лекцию о формуле Эйнштейна, да держать без обеда до тех пор, пока их тупые ленивые головы воспримут хоть — куда девается в секунду четыре миллиона тонн солнечного вещества!

Но его самого держали без обеда. Ему уже тянуло все жилы. Он крепился простой надеждой — скоро ли отпустят?

Все крепились этой надеждой, потому что выехали из дому трамваями, автобусами и злектричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра — и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряжённее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошёл врасплох, мимоходом — оттого-то позавчера она ещё не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя её

окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их и всё рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может понравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключённых (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!) с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приёмку приборов и деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками, и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва он ездил на свидание с женой.

Теперь с горящими щеками, в новом платьи, она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни... Маленькая, легко уместившаяся между стеснёнными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул её издали казался незанятым.

Темп речи лектора заметно ускорился, как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и оживились. Сменяя друг друга и впопыхах чуть смешанные с пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли:

— Теория становится материальной силой... Три черты материализма... Две особенности производства... Пять типов производственных отношений... Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата... Скачок в царство свободы... Буржуазные социологи всё это прекрасно понимают... Сила и жизненность марксизма-ленинизма... Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, ещё высшую ступень!.. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин — сделал товарищ Сталин!.. Победа в Великой Отечественной войне... Вдохновляющие итоги... Необъятные перспективы... Наш гениально-мудрый... наш великий... наш любимый...

И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента ещё даже остался хвостик.

— Может быть, будут вопросы? — как-то полуугрожающе спросил лектор.

— Да, если можно... — зарделась девушка в эпонжевом платьи из четвёртого ряда. Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на неё и слушают её, спросила:

— Вот вы говорите — буржуазные социологи всё это понимают. И действительно, это всё так ясно, так убедительно... Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей?

— Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят большие деньги! Их подкупают на сверхприбыли, выжатые из колоний! Их учение называется прагматизм, в переводе на русский: что выгодно, то и закономерно. Все они — обманщики, политические потаскухи!

— Все-все? — утончившимся голоском ужаснулась девушка.

— Все до одного!! — уверенно закончил лектор, тряхнув патлатой пепельной головой.

89

Новое коричневое платье Симочки было сшито с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределённые складки. При переходе же в юбку, чтоб искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, вскидными на ходу, воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнисто-свободных. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он выкроен был отдельно долгим дорожко́м той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла серебристо-коричневой бабочки.

Эти и другие подробности осматривались и обсуждались подругами Симочки на лестнице, у гардеробной, куда она вышла их проводить после лекции. Стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто, закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботики.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она „просто хорошенькая“ в нём и спрашивали, где куплен этот креп-сатен.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключённые уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнажённую после относки вокодера в Семёрку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Его настольная лампа была погашена, ребристые шторки стола — защёлкнуты, секретные материалы — сданы. Но была необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: „скоро приду!“

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты и печатку (лаборатории опечатывались каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдёт ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придётся ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке, и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел.

— Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего,— пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнёсся долгий электрический звонок. Заключённые дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо её выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего её привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти!

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче! — шёлковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно-оголённые, и из черноты двора можно подглядывать, притаясь. Правда, комнату вглубь не увидят — Акустическая в бельэтаже. Но невдалеке — забор и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролёт.

Или *тогда* потушить весь свет? Дверь будет заперта, всякий подумает — дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи?..

Симочка прошла в акустическую будку. Она сделала это безотчётно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он её сюда втянул, внёс.

Она слышала от подруг, как всё происходит, но представляла смутно, и волнение её ещё увеличивалось, и щёки горели сильней.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя!..

Да! Она бы очень хотела ребёнка и воспитывать его, пока Глеб освободится! Всего только пять годиков!

Она подошла сзади к его вертящемуся гнуткому жёлтому стулу и обняла спинку как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней — чёрный сгусток всего враждебного любви — часовой с винтовкой.

В коридоре послышались шаги Глеба, он ступал тише обычного. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трёхкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнажёнными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отвёрточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко — чтобы звук не очень разнёсся в безмолвном коридоре. Через опустевший без вокодерских стоек простор он увидел Симочку ещё издали, притаившуюся за своим столом как перепёлочка за большой кочкой.

Он её так прозвал.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было смущено, даже сумрачно.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает — подойдёт поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил:

— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй!— Опущенными руками он опёрся о стол и, стоя, сверху вниз, смотрел на неё.— Если нам не помешают, нам надо сейчас... переговорить.

Переговорить?

Пе-ре-го-во-рить...

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторки упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развёртывал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отвёрткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Её мысль была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но почему ж он прежде не подойдёт? не поцелует?..

— Случилось? Что случилось?— с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямоты не было в том взгляде.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озарённые четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

— Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня... если бы... не исповедался тебе...

— ?

— Я как-то... легко с тобой поступал, не задумывался...

— ??

— А вчера... я виделся с женой... Свидание у нас было.

Симочка осела, стала ещё меньше. Крыльца её воротникового банта бессильно опали на алюминиевую панель прибора. И звякнула отвёртка о стол.

— Отчего ж вы... в субботу... не сказали?— подсеченным голосом едва протащила она.

— Да что ты, Симочка!— ужаснулся Глеб.— Неужели б я скрыл от тебя?

(А почему бы и нет?..)

— Я узнал вчера утром. Это неожиданно получилось... Мы целый год не виделись, ты знаешь... И вот увиделись, и...

Его голос изнывал. Он понимал, каково ей слушать, но и говорить было тоже... Тут столько оттенков, которые ей не нужны, и не передашь. Да они самому себе непонятны. Как мечталось об этом вечере, об этом часе! Он в субботу сгорал, вертясь в постели! И вот пришёл тот час, и препятствий нет!— занавески ничто, комната — их, оба — здесь, всё есть!— всё, кроме...

Душа вынута. Осталась на свидании. Душа — как воздушный змей: вырвалась, полощется где-то, а ниточка — у жены.

Но, кажется — душа тут совсем не нужна?!

Странно: нужна.

Всё это не надо было говорить Симочке, но что-то же надо? И по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивал околичные приличные объяснения:

— Ты знаешь... она ведь меня ждёт в разлуке — пять лет тюрьмы да сколько?— войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала... подкармливала... Ты хотела ждать меня, но это не... не... Я не вынес бы... причинить ей...

Той!— а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепёлочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трёхкаскадного усилителя.

Всхлипывания были тихие как дыхание.

— Симочка, не плачь! Не плачь, не надо!— спохватился Глеб.

Но — через два стола, не переходя к ней ближе.

А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделённых волос.

Именно от её беззащитности простёгивало Глеба раскаяние.

— Перепёлочка!— бормотал он, переклоняясь вперёд.— Ну, не плачь. Ну, я прошу тебя... Я виноват...

Больно, когда плачет эта,— а та? Совсем непереносимо!

— Ну, я сам не понимаю, что это за чувство...

Ничего бы, кажется, не стоило хоть подойти к ней, привлечь, поцеловать — но даже это было невозможно, так чисты были и губы и руки после вчерашнего свидания.

Спасительно, что сняли с окон занавески.

И так, не вскакивая и не обегая столов, он со своего места повторял жалкие просьбы — не плакать.

А она плакала.

— Перепёлочка, перестань!.. Ну ещё, может быть, как-нибудь... Ну, дай времени немножко пройти...

Она подняла голову и в перерыве слёз странно окинула его.

Он не понял её выражения, потупился в словарь.

Её голова устала держаться и опять опустилась на усилитель.

Да было бы дико, при чём тут свидание?.. При чём все женщины, ходящие по воле, если здесь — тюрьма? Сегодня — нельзя, но пройдёт сколько-то дней, душа опустится на своё место, и наверно всё станет — можно.

Да как же иначе? Да просто на смех поднимут, если кому рассказать. Надо же очнуться, ощутить лагерную шкуру! Кто заставляет потом на ней жениться? Девушка ждёт, иди!

Да больше того, только об этом не вслух: разве ты выбрал *эту?* Ты выбрал это *место,* через два стола, а там кто бы ни оказалась — иди!

Но сегодня — невозможно...

Глеб отвернулся, перегнулся на подоконник. Лбом и носом приплюснулся к стеклу, посмотрел в сторону часового. Глазам, ослеплённым от близких ламп, не было видно глубины вышки, но вдали там и сям отдельные огни расплывались в неясные звёзды, а за ними и выше — обнимало треть неба отражённое белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведёт, тает.

Симочка опять подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз её шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лученьем глаз, и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала почти привлекательной.

Может быть всё-таки... ?

Симочка упорно смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Неловко. Что-то надо же говорить. Он сказал:

— Она и сейчас, по сути, мне жизнь отдаёт. Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы сумела?

Слёзы так и стояли невысохшими на её нечувствующих щеках.

— Она с вами не разводилась? — тихо раздельно спросила Симочка.

Ишь, как почувствовала главное! В самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось. Ведь это сложней гораздо.

— Нет.

Слишком точный вопрос. Если бы не такой точный, если бы не такой требовательный, если бы края размыты, если бы дальше ничто не называть, если бы смотреть, смотреть, смотреть — может быть, приподымешься, может быть, пойдешь к выключателю... Но слишком точные вопросы взывают к логическим ответам.

— Она — красивая?

— Да. Для меня — да, — ощитился Глеб.

Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе, зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп.

— Так не будет она вас ждать.

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, если правда красива, и молода, и без ребёнка — неужели монашествовала? И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!.. Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? Из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

— Не будет она вас ждать! — как заводная повторяла Симочка.

Но чем упорней и чем точней она попадала, тем обидней.

— Она уже прождала восемь! — возразил Глеб. Анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.

— Не будет она вас ждать! — ещё повторила Симочка, шёпотом.

И кистью руки сняла высыхающие слёзы.

Нержин пожал плечами. Честно говоря,— конечно. За это время разойдутся характеры, разойдётся жизненный опыт. Он сам всё время внушал жене: разводиться. Но зачем так упорно, с таким правом давила в эту точку Симочка?

— Что ж, пусть — не дождётся. Пусть только не она меня упрекнёт.— Тут открывалась возможность порассуждать.— Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что́ я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но поверь, что этого всего я набрался в *вольном* мире — поверхностном, благополучном. Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опускался т у д а, тем... странно... Не будет меня ждать?— пусть не ждёт. Лишь бы меня не грызло...

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы ещё долго об этом — особенно потому, что нечего было другого.

А Симочка почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, всё о себе. Но как быть ей? Она с ужасом представляла, как придёт домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нём. Какой унизительный стыд!— как она приготовлялась к этому вечеру! Как натиралась, душилась!..

Но если один час стеснённого тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь — что можно было поделать?

Разговор, конечно, кончился. Всё сказано было без подготовки, без смягчения. Надо было уйти в будку и там ещё поплакать и привести себя в порядок.

Но у неё не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась ещё какая-то паутинка!

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

Закурил!— вот находка. И опять глядел в окно на разрозненные желтоватые огни.

Сидели молча.

Уже не было её так жалко. Что для неё это?— вся жизнь? Эпизод, поверхностное. Пройдёт.

Найдёт...

Жена — не то.

Они сидели и молчали, и молчали — и это уже становилось в тягость. Глеб много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если всё сказано, всё исчерпано — зачем же сидеть и молчать? Бессмысленная женская вязкость.

Не шевеля головой, чтоб Симочка не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные электрические часы. Было ещё двадцать минут до поверки, двадцать минут вечерней прогулки! Но оскорбительно было бы встать и уйти. Приходилось досиживать.

Кто сегодня заступит вечером? Кажется, Шустерман. А завтра утром — младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнёзд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И окончательно не понимала теперь.

Однако деятельный рассудок Нержина требовал какого-то занятия, движения вперёд. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочел:

20.30 — Рс. п и рм (Обх)

Это значило: „Русские песни и романсы в исполнении Обуховой“.

Такая редкость! И в тихий час перерыва. Концерт уже идёт. Но удобно ли включить?

На подоконнике, лишь руку протянуть, стоял приёмничек с фиксированной настройкой на три московских программы, подарок Валентули. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил на самую малую громкость.

И только-только разгорелись лампы, как проступил аккомпанемент струнный и вслед за ним на всю тихую комнату — низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой.

Симочка вздрогнула. Посмотрела на приёмник. Потом на Глеба.

Обухова пела очень близкое к ним, даже слишком больно близкое:

Нет, не тебя так пылко я люблю...

Надо же, как неудачно! Глеб шарил сбок себя, чтоб незаметно выключить.

Симочка опустилась на усилитель, руки ободком, и снова заплакала, заплакала.

Что даже горьких слов своих у него не хватило на их короткие общие минуты.

— Прости меня!— забрало Глеба.— Прости меня! Прости меня!!

Он так и не нащупал выключить. Тёплым толчком его кинуло — он обошёл столы и, уже пренебрегая часовым, взял её за голову, поцеловал волосы у лба.

Симочка плакала без всхлипываний, без вздрагиваний, обильно, освобождённо.

90

С мыслями расстроенными, поражённый ещё известием об аресте Руськи (*параша* об этом возникла два часа назад, после взлома его стола Шикиным, подтвердилась же на вечерней поверке отсутствием Руськи, как бы не замечаемым дежурными), Нержин едва не забыл об условленной встрече с Герасимовичем.

Режим неуклонимо привёл его через пятнадцать минут снова к тем же двум столам, к тем развёрнутым журналам и опрокинутому усилителю, ещё закапанному симочкиными слезами. И теперь казнены были Глеб и Симочка два часа сидеть друг против друга (и завтра, и послезавтра, и каждый день, и целые дни) и прятать глаза в бумаги, избегая встретиться.

Но на больших электрических часах перепрыгнула минутная стрелка, подходя уже к четверти десятого — и Нержин вспомнил. Не очень было сейчас настроение толковать о разумном обществе — а может и хорошо как раз. Он запер левую стойку стола, где хранились его главные записи, и, ничего не свёртывая и не гася настольной лампы, с папиросой в зубах вышел в коридор. Неторопливой развалкой прошёл до остеклённой двери, ведущей на заднюю лестницу, толкнул её. Как ожидалось, она была незаперта.

Нержин лениво оглянулся. По всей длине коридора не было ни человека. Тогда резким движением он перешагнул порог, с деревянного пола на цементный, тем уйдя со стрелы коридора и, придерживая, прикрыл за собою дверь без шума. И стал подниматься по лестнице

в густеющую темноту, чуть попыхивая и посвечивая себе папиросой.

Окно Железной Маски не светилось. Сквозь одно из наружных на верхнюю площадку втекала полоса слабого мреющего света.

Дважды зацепясь о хлам, сложенный на лестнице, Нержин на верхних ступеньках приглушенно окликнул:

— Тут есть кто?

— Кто это?— отозвался из темноты голос тоже приглушенный, то ли Герасимовича, то ли нет.

— Да это — я,— растянул Нержин, чтобы можно было угадать его, и посильнее пыхнул папироской, освещая себя.

Герасимович зажёг острый лучик маленького карманного фонарика, указал им на тот же самый чурбак, на котором Нержин вчера днём отсиживался после свидания, и погасил. Сам он примостился на таком же втором.

На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника.

— Вот видите, какие мы ещё телята в конспирации, даже просидев так долго в тюрьме,— сказал Герасимович.— Мы не предусмотрели простого: входящий ничем не компрометирован, а тот, кто ждал в темноте, не может окликать. Надо было придумать условную фразу при подъёме на лестницу.

— Да-а,— усаживался Нержин.— Каждый из нас должен быть и жнец, и швец, и в дуду игрец. Успевать работать для хлеба, и строить душу, и ещё уметь бороться с сытым аппаратом ГБ — а сколько их? миллиона два? Надо прожить сколько жизней в одной!— мудрено ли, что мы не справляемся?.. Как вы думаете, а Мамурин не может лежать на кровати в темноте? А то мы с равным успехом можем беседовать в кабинете Шикина.

— Перед тем, как идти сюда, я удостоверился: он в Семёрке. Если вернётся — мы его обнаружим первые. Итак, перехожу к сути.

Он это говорил делово, но была в его голосе усталость и отвлечённость.

— Собственно, я собирался просить вас отложить наш разговор... Но дело в том, что я на днях отсюда уеду.

— Так точно знаете?

— Да.

— Вообще, я тоже уеду, ну не так быстро. Не угодил...

— Так если бы знать, что мы с вами окажемся на одной пересылке — поговорили бы там, уж там-то время будет. Но тюремная история учит нас ни одного разговора не откладывать.

— Да. Я тоже так вывел.

— Итак, вы сомневаетесь в том, что можно разумно построить общество?

— Очень сомневаюсь. До полного неверия.

— А между тем, это совсем несложно. Только строить его — дело элиты, а не ослиного скопа. Интеллектуальной, технической элиты. И общество надо строить не „демократическое", не „социалистическое", это всё признаки не из того ряда. Общество надо строить интеллектуальное. Оно обязательно и будет разумным.

— Ну во-от,— разочарованно потянул Нержин.— Вот вы и накидали. Тремя фразами накидали — за три вечера не разобраться. Во-первых, интеллектуальное — чем отличается от рационального? А его мы уже знаем, нам французские рационалисты уже одну великую революцию сделали, избавьте.

— То были — болтуны, а не рационалисты. Интеллектуалы — ещё своей революции не делали.

— И не сделают. Они — головастики... Интеллектуальное общество — это у вас какое? Это, очевидно, внеэтическое и внерелигиозное?

— Не обязательно. Это можно предусмотреть.

— Предусмотреть! Но вот вы же не предусматриваете. Интеллектуальное общество — как можно себе представить? Инженеры без священников. Всё очень хорошо функционирует, разумнейшее хозяйство, каждый у правильного дела — и быстрое накопление благ. Но этого мало, поймите! Цели общества не должны быть материальны!

— Это — уже поздняя поправка. А пока что для большинства стран мира...

— О *пока что* я и разговаривать не хочу! А *потом* поздно будет! Вы же мне говорите о разумном устройстве!.. Дальше. „Не социалистическое"— это мне наплевать, форма собственности имеет значение десятое, и неизвестно, какая лучше. Но вот „не демократическое"— это меня пугает. Это — что такое? Почему?

Из густой тьмы Герасимович отвечал точными нужными словами, не вставляя сорных, как пишутся хорошие книги, как бывает, когда обдумано прежде, чем сказано.

— Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества. Только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас. И — честно предупредить заранее, не обманывать. Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия?— угождение грубому большинству. Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уровню, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча остолопов своим голосованием указывают путь светлой голове.

— Хм-м,— недоуменно мычал Нержин.— Это для меня ново... Это я — не понимаю... не знаю... Думать надо... Я привык — демократия... А что же вместо демократии?

— *Справедливое неравенство*! Неравенство, основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите — авторитарное государство, хотите — власть духовной элиты. Власть самоотверженных, совершенно бескорыстных и светоносных людей.

— Батюшки! Да это в идеале бы — пожалуйста. Но как эта элита отберётся? И, главное, как остальных убедить, что это — та самая элита? Ведь ум на лбу не написан, честность огнём не светится... Это нам и про социализм обещали, что только в ангельских одеяниях будут руководить, а — какие хари вылезли?.. Тут много вопросов... А — с партиями как? Вернее: как бы совсем б е з партий — и старого типа и, упаси Господь, Нового Типа? Человечество ждёт пророка, кто б научил, как вообще без партий жить! Всякая партийность — тоже ведь строжка под большинство, под дисциплину, говори, что́ не думаешь. Всякая партия корёжит и личность и справедливость. Лидер оппозиции критикует правительство не потому, что оно действительно ошиблось, а потому что — зачем тогда оппозиция?

— Ну вот, вы сами идёте от демократии к моей системе.

— Ещё не иду! Это — немножко... Насчёт авторитарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? Этический! Не власть на штыках, а чтоб — любили и уважали. Чтоб сказал: соотечественники, не

надо, это дурно! — и все бы сразу прониклись: верно ведь, плохо! отвергнем! не будем! Где вы такое возьмёте?.. А то говорится „авторитарность", а вылупляется — тоталитарность. По мне бы, так что-нибудь швейцарское, помните у Герцена? Тем сильнее власть, чем ниже: самая большая — сельский сход, самый бесправный человек в государстве — президент... Ну, да это смеюсь... Вообще не рано ли мы с вами занялись? Разумное устройство! Разумней бы толковать — как из безразумного выбраться? Мы и этого не умеем, хоть и ближе.

— Это и есть главный предмет нашей беседы,— раздался спокойный голос из темноты. И так просто, будто говорилось о замене перегоревшей радиолампы в схеме: — Я думаю, что нам, русским техническим интеллигентам, пришло время сменить в России образ правления.

Нержин вздрогнул. Впрочем, не от недоверия: он ещё по наружности чувствовал к Герасимовичу родственность, хотя разговориться им не приходилось до сих пор.

Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего Нержин ощутил перебеги ознобца вдоль хребта.

— Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозможна. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной — да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?

— Только не „увы"! — откликнулся Нержин.— Ну её к чёрту, революцию: элиту же вашу первую и перережут. Всё образованное и прекрасное выбьют, всё доброе разорят.

— Хорошо, не „увы". Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В „Интернационале" не так глупо сказано: „Никто не даст нам избавленья! добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!" Надо понять, что чем состоятельней и привольней живётся на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не открывали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлёбывать.

— Дождутся и они.

— Конечно, дождутся. В благополучии есть губящая сила. Чтобы продлить его на год, на день — человек жертвует не только всем чужим, но всем святым, но даже простым благоразумием. Так они вскормили Гитлера, так они вскормили Сталина, отдавали им по пол-Европы, теперь — Китай. Охотно отдадут Турцию, если этим хоть на неделю отсрочат всеобщую мобилизацию у себя. Они — конечно погибнут. Но мы — раньше.

— Раньше.

— В том беда, что надежда на американцев освобождает нашу совесть и расслабляет нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозревает, что-то в нём назревает... Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки — невиданная даже по русским масштабам. Это — страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадёжно раздробленной, так вдоль и поперёк изгаженной, что только ради алкогольного забвения ещё стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили — тотчас бы у нас вспыхнула революция. Но беря сорок четыре рубля за литр, обходящийся десять копеек, коммунистический Шейлок не соблазнится сухим законом.

Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть видимо его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом, наверно, от потолка. Совсем не зная этого человека, решился Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шёпотом на ухо не осмеливались в этой стране.

— Испортить народ — довольно было тридцати лет. Исправить его — удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остаётся один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию! Они сбили организацию — и перевернули Россию!

— О, не дай Бог!

— Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметать предателей — вот как мы сейчас друг другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трёх до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс — кому-нибудь из технических интеллигентов...

— Которые атомную бомбу делают?

— ...установить связь с военными верхами...

— То есть, со шкурами барабанными!

— ...чтоб обеспечить их благожелательный нейтралитет. Да и убрать-то надо только: Сталина, Молотова, Берию, ещё нескольких человек. И тут же по радио объявить, что вся высшая, средняя и низшая прослойка остаётся на местах.

— Остаётся?! И это — ваша элита?..

— Пока! Пока. В этом особенность тоталитарных стран: трудно в них переворот совершить, но управлять после переворота ничего не стоит. Макиавелли говорил, что, согнав султана, можно завтра во всех мечетях славить Христа.

— Ой, не прошибитесь! Ещё неизвестно, кто кого ведёт: султан ли — их, или они — его, только сами не сознают. И потом: этот нейтралитет генерал-кабанов, которые целые дивизии толпами гнали на минные поля, чтоб только самих себя сберечь от штрафняка? Да они в клочья разорвут всякого за свой свинарник!.. И потом же — Сталин от вас уйдёт подземным ходом!.. И потом ваших инициативных пять тысяч, если не возьмут сексотами, так — пулемётами, из секретов... И потом,— волновался Нержин,— пяти тысяч таких, как вы — в России нет! И потом — только в тюрьме, а не на семейной *воле*, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам!— а из тюрьмы-то как раз ничего и не сделаешь!.. Вы хотели, чтоб я искал недочётов в вашем проекте? Да он из одних недочётов и состоит!! Это — урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность — тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь! Но даже не в этом! даже не в этом!— он уже слишком громко говорил для чёрной тихой лестницы.— Вы имели несчастье искать советчика во мне!— а я вообще не верю, что на Земле можно устроить что-нибудь

доброе и прочное. Как же я возьмусь советовать, если я сам не выдеру ног из сомнений?

С ледяною ровностью Герасимович напомнил:

— Перед самым тем, как был изобретен спектральный анализ, Огюст Конт утверждал, что человечество никогда не узнает химического состава звёзд. И тут же — узнали! Когда вы на прогулке шагаете, развевая фронтовой шинелью — вы кажетесь другим.

Нержин запнулся. Он вспомнил вчерашнее спиридоново „волкодав прав, а людоед нет" и как Спиридон просил у самолёта атомной бомбы на себя. Эта простота могла захватно овладеть сердцем, но Нержин отбивался, сколько мог:

— Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьёзен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той франсовской старухи в Сиракузах?— она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил её, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего? Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у *вас* получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на... двадцать семь веков! На все эти виражи бессмысленной дороги — от того холма, где волчица кормила близнецов, от той долины олив, где чудесный мечтатель проезжал на ослике — и до наших захватывающих высот, до наших угрюмых ущелий, где только гусеницы самоходных пушек скрежещут, до наших перевалов обледенелых, где через лагерные бушлаты просквaживает семидесятиградусный ветер Оймякона!— я не вижу, зачем мы карабкались? зачем мы сталкивали друг друга в пропасти? Сотни лет поэты и пророки напевали нам о сияющих вершинах Будущего!— фанатики! они забыли, что на вершинах ревут ураганы, скудна растительность, нет воды, что с вершин так легко сломать себе голову? Вот здесь, посветите, есть такой Замок святого Грааля...

— Я видел.

— Там ещё будто всадник доскакал и узрел — ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит! И меня тоже отпустите в скромную маленькую долинку — с травой, с водой.

— На-зад?— раздельно, без выражения отчеканил Герасимович.

— Да если б я верил, что у человеческой истории существует перед и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда. Для меня нет слова, более опустошённого от смысла, чем „прогресс“. Илларион Палыч, какой прогресс? От чего? И к чему? За двадцать семь столетий стали люди лучше? добрей? или хотя бы счастливей? Нет, хуже, злей и несчастней! И всё это достигнуто только прекрасными идеями!

— Нет прогресса? нет прогресса?— тоже переступая осторожность, заспорил Герасимович омоложенным голосом.— Этого нельзя простить человеку, соприкасавшемуся с физикой. Вы не видите разницы между скоростями механическими и электромагнитными?

— Зачем мне авиация? Нет здоровей, как пешком и на лошадках! Зачем мне ваше радио? Чтоб засмыкать великих пианистов? Или чтоб скорей передать в Сибирь приказ о моём аресте? Нехай себе везут на почтовых.

— Как не понять, что мы — накануне почти бесплатной энергии, значит — избытка материальных благ. Мы растопим Арктику, согреем Сибирь, озеленим пустыни. Мы через двадцать-тридцать лет сможем ходить по продуктам, они станут бесплатны, как воздух. Это — прогресс?

— Избыток — это не прогресс! Прогрессом я признал бы не материальный избыток, а всеобщую готовность делиться недостающим! Но — ничего вы не успеете! Не согреете вы Сибири! Не озелените пустынь! Всё, простите, к ...ям размечут атомными бомбами! Всё к ...ям перепашут реактивной авиацией!

— Но беспристрастно — окиньте эти виражи! Мы не только делали, что ошибались — мы и всползали наверх. Мы искровавили наши нежные мордочки об обломки скал — но всё-таки мы уже на перевале...

— На Оймяконе!..

— Всё-таки на кострах мы уже друг друга не жжём...

— Зачем возиться с дровами, есть душегубки!

— Всё-таки веча, где аргументировали палками, заменились парламентами, где побеждают доводы! Всё-таки у первобытных народов отвоёван habeas corpus act! И никто не велит вам в первую брачную ночь отсылать жену сюзерену. Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что нравы всё-таки смягчаются, что разум всё-таки одолевает безумие...

— Не вижу!

— Что всё-таки созревает понятие человеческая личность!

По всему зданию разнёсся продолжительный электрический звонок. Он значил: без четверти одиннадцать, сдавать всё секретное в сейфы и опечатывать лаборатории.

Оба поднялись головами в слабый фонарный свет от зоны.

Пенсне Герасимовича переливало как два алмаза.

— Так что же? Вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко?

— Жалко,— уже ненужным шёпотом, упавшим шёпотом согласился Нержин.— Планету — жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить.

— Лучше — не допустить, чем умереть!— с достоинством возразил Герасимович.— Но в эти крайние годы всеобщей гибели или всеобщего исправления ошибок — какой же другой выход предлагаете вы? фронтовой офицер? старый арестант!

— Не знаю... не знаю...— видно было в четвертьсвете, как мучился Нержин.— Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у *наших* бомба появится — беда. Теперь вот разве только...

— Что?!— припирал Герасимович.

— Может быть... новый век... с его сквозной информацией...

— Вам же радио не нужно!

— Да его глушат... Я говорю, может быть, в новый век откроется такой способ: *слово разрушит бетон*?

— Чересчур противоречит сопромату.

— Так и диамату! А всё-таки?.. Ведь помните: в Начале было Слово. Значит, Слово — исконней бетона? Значит, Слово — не пустяк? А военный переворот... невозможно...

— Но как вы это себе конкретно представляете?

— Не знаю. Повторяю: не знаю. Здесь — тайна. Как грибы по некой тайне не с первого и не со второго, а с какого-то дождя — вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие уроды могут вообще расти — а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их — разрушит бетон.

— Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами — вырванных, срезанных, усечённых...

Вопреки предчувствиям и страхам понедельник проходил благополучно. Тревога не покинула Иннокентия, но и равновесное состояние, завоёванное им после полудня, тоже сохранялось в нём. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти выходила из ванной.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон как собака на ежа.

— Дотти, возьми трубку! Меня нет, и не знаешь, когда буду. Ну их к чёрту, вечер испортят.

Дотти ещё похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась — она всегда хорошела, а оттого больше нравилась — и ещё хорошела.

Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку.

— Да... Его нет дома... Кто, кто?..— и вдруг преобразилась приветливо и повела плечами, был у неё такой жест угоды.— Здравствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю...— Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала:— Шеф! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам... Жена заметила его колебание:

— Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть! Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!

Какой бы ни сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересек ковёр и взял трубку.

Шеф был благодушен. Он сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолётом с пересадкой в Париже, завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчасика для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью — и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи.

Невозможно было поверить, что вот так по канату при косом ветре можно идти, идти — и не сваливаться.

— Представь, Дотик, в среду лечу! А сейчас...

Но Дотик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала всё и сама. Только она разогнулась совсем не радостная: отдельный отъезд Иннокентия, ещё объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной.

— Как ты думаешь,— она поднадула губы,— „кое-какие детали", это, может быть, всё-таки и я?

— Да... м-м-может быть...

— А что ты там вообще говорил обо мне?

Да что-то говорил. Что-то говорил, чего не мог бы ей сейчас повторить, но и переигрывать уже было поздно.

Но уверенность, вчера приобретенная, позволяла Дотти говорить со свободою:

— Ини, мы всё открывали вместе! Всё новое мы видели вместе! А к Жёлтому Дьяволу ты хочешь ехать без меня? Нет, я решительно не согласна, ты должен думать об обоих!

И это — ещё лучшее изо всего, что она произнесёт потом. Она ещё будет потом при иностранцах повторять глупейшие казённые суждения, от которых сгорят уши Иннокентия. Она будет поносить Америку — и как можно больше в ней покупать. Да нет, забыл, будет иначе: ведь он там откроется, и что́ вообще уместится в её голове?

— Всё и устроится, Дотти, только не сразу. Пока я поеду представлюсь, оформлюсь, познакомлюсь...

— А я хочу сразу! Мне именно сейчас хочется! Как же я останусь?

Она не знала, на что просилась... Она не знала, что такое крученый круглый канат под скользкими подошвами. И теперь ещё надо оттолкнуться и сколько-то пролететь, а предохранительной сетки, может быть, нет. И второе тело — полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом.

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи:

— Ну, попробую. Раньше разговор был иначе, теперь как удастся. Но во всяком случае ты не беспокойся, я же очень скоро тебя...

Поцеловал её в чужую щеку. Дотти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало.

— А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадём, ио цельиость „Акулины“ от этого... А иа второй... Да я тебе ещё из министерства звякну...

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофёр. Это не был Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофёр был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

— Что-то я вас ие помню,— сказал Иннокентий, застёгивая на ходу пальто.

— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал.— У шофёра была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машиие.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, ио шофёр через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впритирку к иему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв палец.

— Механик иаш, из гаража,— пояснил симпатичиый шофёр и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца иикак не поддавалась, замок заел.

Шофёр выругался в граиицах городского приличия и попросил:

— Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник ои мой, иеудобно.

— Да пожалуйста,— охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянеиии, в азарте, мыслеиио захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет иа самолёт во Внукове, ио не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догиать задерживающая телеграмма.

Механик, закусив сбоку рта длиииую дымящую папиросу, пригиулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил:

— Вы... не возражаете?— и плюхиулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рваиул дальше.

Иииокеитий иа миг скривился от презреиия („хам!“), ио ушёл опять в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половииу машины.

— Вы бы стекло открыли!— поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденьи, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию:

— Товарищ начальник! Вы не прочтёте мне, а? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажёг карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:

„Санкционирую. Зам. Генерального Прокурора СССР...“

Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что́ механик?— неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

„Ордер на арест...

читал он, всё ещё не вникая в читаемое,

...Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го...“

— и только тут как одной большой иглой прокололо всё его тело по длине и разлился вар внезапный по телу — Иннокентий раскрыл рот — но ещё не издал ни звука, и ещё не упала на колени его рука с малиновым листком, как „механик“ впился в его плечо и угрожающе загудел:

— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!

Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы.

А листок отобрал.

И хотя Иннокентий прочёл, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни,— в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

— Пустите,— вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил „механика“ подъехать,— представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство и арест отменят.

Он стал судорожно дёргать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заело и её.

— Шофёр! Вы ответите! Что за провокация?! — гневно вскрикнул Иннокентий.

— Служу Советскому Союзу, советник! — с озорью отчеканил шофёр через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся здесь Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скоплялись и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди — и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещённый из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был — как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды, полулёжа, с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан.

Автомобиль прошёл вдоль фасада всемирно-знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубянскую улицу.

— Да пустите же! — всё стряхивал с себя Иннокентий пальцы „механика“, впившиеся в его плечо у шеи.

Чёрные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Чёрной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука „механика“ ослабла в подворотне. Он вовсе снял её с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал:

— Выходим!

И уже ясно стало, что был совершенно трезв.

Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофёр.

— Выходите! Руки назад! — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни, выпрямился и — хотя непонятно было, почему он должен подчиняться — подчинился: взял руки назад.

Арест произошёл грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждёшь. Даже наступило успокоение: уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещённый одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был — дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

— Не оглядываться! — прикрикнул „шофёр“. — Марш!

Так в затылок друг другу втроём, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик — нижний, крытый, тёмный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приёмную известного доктора.

За дверью следовал маленький очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой.

„Шофёр“ стал странно щёлкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегорожен остеклённой дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешёткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

„Приёмная арестованных“.

Но очереди — не было.

Позвонили — старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперёк их. „Шофёр“ взял у „механика“ малиновый бланк и показал надзирателю. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт — и они вдвоём ушли внутрь.

Иннокентий и „механик“ стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

„Приёмная арестованных"— напоминала надпись, и смысл её был такой же, как: „Мертвецкая". Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть, Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости?— но он забыл даже, что руки держал сложенными назади, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нём, он загипнотизированно смотрел на надпись: „Приёмная арестованных".

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошёл вперёд первый, выделывая языком то же призывное собачье щёлканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещён и так же по-больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

— Зайдите.

Иннокентий вошёл. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как „шофёр" откуда-то сбоку, а „механик" сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

— Да что за бандитизм?— слабо закричал Иннокентий.— Кто дал вам право?— Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его — энергии, а голос — уверенности.

Они сняли с него ручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках ещё узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звёздочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. „Механик" протянул ему носовой платок:

— Возьмите.

— После ваших грязных рук?— визгливо вскрикнул и передёрнулся Иннокентий.

Платок упал на пол.

— На ценности получите квитанцию,— сказал „шофёр", и оба ушли поспешно.

Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

— Платок — возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

— Да они что? погоны с меня сорвали?— только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

— Руки назад!— равнодушно сказал тогда сержант.— Пройдите!

И защёлкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались ещё в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг ко другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истёртая женщина в военной юбке и гимнастёрке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идёт ещё раз. Черты её были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером „8“, с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

— Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить!— день? или месяц? или годы? Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в каморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше её — стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключённой в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он ещё обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомнит

о своём звонке в посольство. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие её освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут — и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представлялась ему нагромождением ошибок, грудой чёрных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остеклённый глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз. Дверь была пальца четыре в толщину — и сквозь всю толщу её от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял тёплое зимнее пальто, грустно покосился на „мясо" от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочёл ордера до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? Да, с санкции прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман? Но зачем такой странный приём, этот спектакль с „шофёром" и „механиком"?

В одном кармане он нащупал что-то твёрдое маленькое. Вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться! Халтурщики! И здесь, на Лубянке,— халтурщики!— обыскивать и то не умеют! Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение!— не прочесть, в чём его обвиняют! Может, арест совсем не связан с этим телефон-

ным разговором? Может быть, это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться?

Или там вообще не было, в чём его обвиняют? Пожалуй и не было. Арестовать — и всё.

Времени ещё прошло немного — но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной коридору. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли: какая машина могла быть здесь? Здесь — тюрьма, не фабрика — зачем же машина? Уму сороковых годов, наслышанному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это — машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да,— тем временем глубоко жалила его мысль,— какая ошибка!— даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Как он мог не протестовать! Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!

Он был прострелен этой роковой ошибкой! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во всё горло, что невиновен, что пусть откроют,— но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверное, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты всё равно уже всё запутало.

Ах, как он мог даться так просто в руки!— из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат — безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься! О, отсюда не вырвешься!..

А, может быть, шеф его всё-таки ждёт? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослеплённые светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном чёрном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по все-

му — отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчётливостью представилось ему, что эта отдушина — вовсе не отдушина, что через неё медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка, с дверью, плотно-пригнанной к порогу!

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он ещё или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли: он теряет сознание! Вот почему он уже давно задыхается! Вот почему так бьёт в голове!

Втекает газ! бесцветный! без запаха!!

Ужас! извечный животный ужас!— тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара — ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчёты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

— Откройте! Откройте! Я задыхаюсь! Воздуха!!

Вот зачем ещё глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло!

Исступлённый немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище!— вырванный глаз, глаз без лица, глаз, всё выражение стянувший в себе одном!— и когда он смотрит на твою смерть!..

Не было выхода!..

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его...

92

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

— Вы почему стучите?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления ещё нет.

— Мне дурно! — уже менее уверенно сказал он. — Дайте воды!

— Так вот запомните! — строго внушил надзиратель. — Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

— Но если мне плохо? если надо позвать?

— И не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, — с тем же равномерным хмурым бесстрастием разъяснял надзиратель, — ждите, когда откроется глазок — и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыханием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом, и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

— Слушайте, — принял Иннокентий кружку. — Мне плохо, мне лечь нужно!

— В боксе не положено.

— Где? Где не положено? — (Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном!)

Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял её.

— Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? — опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал — в *боксе*? „Box" — значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелёненькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирали для Лубянки. Но как он подходил! Кошка была советская власть, книжка — сталинская конституция, а воробушек — мыслящая личность.

Иннокентий даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну происшедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость — радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнётся в первые же полчаса.

(Хуже было Щевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка.)

Потеснив на тумбочке пальто, Иннокентий поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.

В своём дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

— Послушайте, лейтенант, в чём дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочёл.

— Фамилия?— невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

— Володин,— уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

— Имя, отчество?

— Иннокентий Артемьевич.

— Год рождения?— лейтенант сверялся всё время с бумагой.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходить в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах — встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжёлым лицом.

— Мне нужно... зто...— выразительно сказал он.

— Руки назад! Пройдите!— повелительно бросила женщина, и, повинуясь кивку её головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь:

— Сюда!

Иннокентий вошёл. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадка пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнёт от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущённый, Иннокентий выпрямился. Он ещё не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

— Руки назад. Пройдите! — невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но *времени* больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Ещё какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастёрки спросил:

— Фамилия?

— Я уже отвечал! — возмутился Иннокентий.

— Фамилия? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

— Ну, Володин.

— Возьмите вещи. Пройдите, — бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошёл. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

— Слушайте, у меня вещи отняли! — пожаловался Иннокентий.

— Разденьтесь! — ответил надзиратель в сером халате.

— Зачем? — поразился Иннокентий.

Надзиратель посмотрел в его глаза простым твёрдым взглядом.

— Вы — русский? — строго спросил он.

— Да.— Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашёлся сказать ничего другого.

— Разденьтесь!

— А что?.. не русским — не надо? — уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий всё-таки уважал свою шитую золотом одежду.

— Бросьте! — сказал серый халат, показывая на пол.

Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышиный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:

— Догола́!

— То есть, ка́к догола?

— Догола!

— Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!

— Вас разденут силой,— предупредил надзиратель.

Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся ещё. Поёживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шёлковое бельё и сам послушно бросил в ту же кучу.

— Носки снимите!

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как всё его податливое тело.

— Откройте рот. Шире. Скажите „а". Ещё раз, длиннее: „а-а-а!" Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что под мышками также

нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Ещё. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левнафаном. Он был внутренне напряжён, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда,— зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем — и не стоило даже упираться по такому пустяку — но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливала волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось немыслимым коснуться обнажённой частью тела ещё этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведанное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя ещё теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груды его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бро-

сил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и её, так что Иннокентий мог одеться, всё более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать подошвы, ища внутри чего-то твёрдого. Взрезав ножом стельку, он, действительно, извлёк оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил на стол. Затем достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое бельё, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело чёрствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира всё золотое шитьё, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Ещё больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (зашитая записка? адреса? ампула с ядом?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть более часа, продолжался обыск. Наконец, обыскивающий стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он ещё раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешается иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полоски, два обломка карандаша, золотое шитьё, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допонял и оценил разрушительную работу. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высовывающаяся в подмышечных проймах пальто вата — но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из

всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

— Зачем вы срезали пуговицы?— воскликнул он.

— Не положены,— буркнул надзиратель.

— То есть, как? А в чём же я буду ходить?

— Верёвочками завяжете,— хмуро ответил тот, уже в двери.

— Что за чушь? Какие верёвочки? Откуда я их возьму?..

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и ещё кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошёл новый надзиратель в халате белом, хоть и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

— Разденьтесь догола!

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:

— Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?

Очевидно — не могли, потому что нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия способность молчать, когда нормальные люди отвечают.

Входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

— Сядьте!— показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голый арестант сел покорно, не задумываясь — зачем. (Привычка вольного человека — обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нём, так как другие успешно думали за него.) Надзиратель жёстко обхватил его голову пальцами за заты-

лок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

— Что вы делаете?— вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев.— Кто вам дал право? Я ещё не арестован!— (Он хотел сказать — обвинение ещё не доказано.)

Но парикмахер, всё так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходивший по трапам трансконтинентальных самолётов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц,— был сейчас голый квёлый костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клок и нежно перетёр его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он ещё помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность. Он помнил своё решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора,— но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поёжился, парикмахер цыкнул.

— Одеваться можно?— спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Всё же он надел бельё, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошёл ещё новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

— Фамилия?
— Володин,— уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.
— Имя-отчество?
— Иннокентий Артемьевич.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот девятнадцатый.
— Место рождения?
— Ленинград.
— Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол — но это не вызвало в нём брезгливости, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и всё время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушёл и этот.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У неё было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:
— Скажите, у вас — вшей нет?
— Я — дипломат,— обиделся Иннокентий, твёрдо глядя в её чёрные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.
— Ну, так что из этого? Какие у вас жалобы?
— За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора!— оживясь, зачастил Иннокентий.
— Вас не об этом спрашивают,— устало нахмурилась женщина.— Вензаболевания отрицаете?
— Что?
— Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой? Туберкулёзом? Других жалоб нет?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошёл самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

— Почему не одеваетесь?— сурово спросил надзиратель.— Оденьтесь быстро.

Не так это было легко! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам,— как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать „верёвочки“: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем ещё это. Лубянские инструкции предполагали, что таким наконечником арестант может покончить с собой.)

Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвёл ещё в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

— Снимите ботинки! — встретил он Иннокентия.

Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишённые резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

— Можно обуться,— сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

— Руки назад!

Руки назад!— хотя до бокса № 8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своём боксе.

За стеной всё так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых

тюремщиков. Процедуры, одна другой нелепее, казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его; установление личности арестованного; приём арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной администрацией; основной приёмный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицинский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубянских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил своё пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лёг на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены ещё не затекли — и он ощущал наслаждение.

Однако он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.

— Встаньте!— прошипела женщина.

Иннокентий едва пошевельнул веками.

— Встаньте! Встаньте!!— раздавались над ним заклинания.

— Но если я хочу спать?

— Встаньте!!!— властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

— Так отведите меня, где можно лечь спать,— вяло сказал он.

— Не положено!— отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и ещё, и ещё раз.

И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

— Фамилия?— спросил он.

— Володин.

— С вещами!

Иннокентий сгрёб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошёл за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешёл по мокрым решёткам, по которым было наслежено и босиком и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и молотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостеклёнными прорезами была душевая. Над четырьмя решётками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававшие прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека!— но Иннокентий не ощутил никакой радости (если б он знал, что в мире зэков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил своё шестнадцатикратное преимущество). Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует) он гадливо выбросил ещё в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его,— и с ощуще-

нием, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнажённо скульптурным, подобно родэновскому „Мыслителю", и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное бельё с чёрными штампами „Внутренняя тюрьма" на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были тесёмки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторна, рукава спускались на пальцы. Обменить бельё отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел её.

В полученном нескладном белье Иннокентий ещё долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в „прожарке". Слово зто было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна была испещрена прожарками,— они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательствам сегодняшней ночи была вполне под стать и прожарка одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать своё положение и что ему делать, но мысли путались и мельчились: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но исполегающая слабость владела Иннокентием. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако голыми рёбрами на влажные угловатые рейки скамьи (и рейки были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошёл

к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И. А. на хранение: часы жёлтого металла, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из жёлтого металла и таким же пером; заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня — одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и ещё горячие.

— Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто?— возмутился Иннокентий.

— Шуба мех имеет. Понимать надо!— наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна и чужа. Во всём чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс № 8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды всё с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла ещё одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И. А. сорочка нижняя шёлковая одна, кальсоны шёлковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Всё так же погуживала таинственная машина.

Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

— Нельзя!— сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

— Что нельзя?

— Голову класть нельзя!

В путающихся мыслях Иннокентий ждал ещё.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней Тюрьмой МГБ СССР принято от Володина И. А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли — лицо опять новое — мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили всё снова: Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Место рождения?— после чего пришедший приказал:

— Слегка!

— Что слегка?— оторопел Иннокентий.

— Ну, слегка, без вещей! Руки назад!— в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щёлкая языком всё для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провёл Иннокентия через главную выходную дверь ещё каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задёрнутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Отрицать! Всё начисто отрицать! Изо всех сил отрицать!

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочерёдно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий чёрный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали чёрными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять чёрных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Ещё так же измазали и отпечатали пальцы левой руки.

Выше отпечатков на бланке было написано:

Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,

а ещё выше,— жирными чёрными типографскими знаками:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щёточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась

с неё. Иннокентий сосредоточенно тёр намыленной щёткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

93

Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи. Он всю напролёт её не спал, и так много самых разных мыслей протолпилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголого сидения в бане и во многих боксах, смененных за ночь.

Его поразила верность эпитафии: „Хранить вечно".

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он,— но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал — она никого не возвращала к жизни. Впереди был или расстрел или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского монастыря, о котором ходят легенды. Это будет не шлиссельбургский приют для престарелых — запретят днём сидеть, запретят годами говорить — и никто никогда не узнает о нём, и сам он не будет знать ни о чём в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на Луне. А в последний день, когда сталинскую банду заарканят для второго Нюрнберга — Иннокентия и его безгласных соседей по монастырскому коридору перестреляют в одиночках, как уже расстреливали, отступая, коммунисты — в 41-м, нацисты — в 45-м.

Но разве он боится смерти?

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас наоборот — хотелось додумать некую важную, ещё не уловленную им мысль — и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрестанно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга,— и отчётливо само проступило, что он думал и читал днём:

„Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдёт срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений...“

Ах, разве о наслаждениях речь! Вот у него были деньги, костюмы, почёт, женщины, вино, путешествия — но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость! Дожить до конца этой шайки и послушать её жалкий лепет на суде!

Да, у него было столько благ!— но никогда не было самого бесценного блага: свободы говорить, что́ думаешь, свободы явного общения с равными по уму людьми. Неизвестных ни в лицо, ни по имени — сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижимые, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось всё, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

„Не должно бояться телесных страданий. Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное — непродолжительно.“

Вот, например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание — продолжительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или — десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шёл второй час ночи. Сейчас, может быть, уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьёзные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они ещё будут идти, потом остановятся — и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина или конфискации себя в числе всего имущества. Так вот интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждёт его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым

человекам не переворошить за ночь. А что найдут, дураки?..

Дотти не посадят — последний год врозь спасёт её. Возьмёт развод, выйдет замуж.

А может и посадят. У нас всё возможно.

Тестя остановят по службе — пятно! То-то будет блеваться, отмежёвываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из памяти.

Глухая громада задавит его — и никто на Земле никогда не узнает, как щуплый белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию!

А хотелось бы дожить и узнать: чем всё это кончится?

Побеждает в истории всегда одна сторона, но никогда — идеи одной стороны. Идеи сливаются, у них своя жизнь. Победитель всегда мало, или много, или даже всё занимает у побеждённого.

Всё сольётся... „Пройдёт вражда племён." Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет:

— С вещами!

— А?..

— С вещами!

— С какими вещами?

— Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев? для каких тягот?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

— Фамилия?

— Володин.

— Имя-отчество?

— Сколько раз можно?

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения?

— Девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— С вещами. Пройдите!

И пошёл вперёд, условно щёлкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились ещё на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать? — вступила мысль. Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции? Нет, не расстрел ещё!

(Иннокентий ещё верил в мудрую согласованность всех щупалец МГБ друг с другом.)

Всё так же щёлкая языком, лихой старшина завёл его в здание и через тёмный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших розовую, голубую и белую квитанции, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нём с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Всё равно ведь —„хранить вечно!"...

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа — но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта — Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же — в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещённый, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истёртый цементный пол, к тому же и прохладно, это усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок.

Снаружи сдержанно доносилось многое шарканье сапог по полу. Видимо надзиратели непрерывно приходили и уходили. Внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещён в тесном ослепительном жарком боксе № 8 — и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприютном безномерном боксе — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно!— хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов,— но и его не было.

Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снуёт в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что всё огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвлённый многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже не великим поступком, который будет вписан во все истории XX века, а необдуманным и главное бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный голос американского атташе, его нечистое произношение: „А кто такой *ви?*“ Дурак, дурак! Он, наверно, и послу не доложил. И всё — впустую. О, каких дураков выращивает сытость!

Теперь было где походить по боксу, но у истомлённого, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошёлся раза два, сел на лавку и плетьми опустил руки мимо ног.

Сколько великих безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая страна! Всё горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя!..

Счастливая какая-нибудь Австралия! — забралась к чёрту на кулижки и живёт себе без бомбёжек, без пятилеток, без дисциплины.

И зачем он погнался за атомными ворами? — уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом!..

Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк!..

И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки — у него перехватило дух от недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтоб дать выход досаде!..

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его „установочные данные“, на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти „с вещами“. Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защёлкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было — запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нём свершился такой передвиг, что шёл он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились — как вдруг из какого-то ещё коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряжённо щёлкающий, как и тот, что шёл перед Иннокентием. Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зелёной фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собою дверцу. Внутри было только-только где стать, и шёл рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая

к непонятным передрягам и втягиваясь в лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть делал то самое, что и требовалось тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щёлкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..

Того, другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил: как были стёрты ступени!— ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краёв к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.

На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла ещё новая участь — быть поставленным лицом к стене. Всё же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

— Фамилия?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре,— и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомясое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

— Не оборачиваться!—
и продолжал всё те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь.

— Пройдите!— резко сказал мягкомясый краснообваренный лейтенант.

Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся натрое — вперёд, вправо и влево, сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнёздами и ещё новых надзирателей,— как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине:

— Лицом к стене! Не двигаться!

Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своём затылке несколько пар враждебных глаз.

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шёпотом, ясным в глубокой тишине:

— В третий бокс!

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошёл по полстяной дорожке правого коридора.

— Руки назад. Пройдите! — очень тихо обронил он.

По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров:

„47“ „48“ „49“,

а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры,— но надзиратель быстро увлекал вперёд, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего ещё можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы?

Несчастным образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть ещё что отнять. Даже пожизненно-заключённого, лишённого движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствитель-

ны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспеяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нём человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были:

„1“ „2“ „3“.

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь,— широким радушным взмахом отпахнул её перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был приземистый парень с чёрными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза — но из десятков лубянских равнодушных лиц, виденных в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, повидав несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьёй, вделанной в стену, а у самой двери стоял невделанный деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только чёрная решёточка отдушины высоко вверху. Ещё бокс был очень высок — метра три с половиной, все эти метры были — белёные стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука — из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как зверёныш, не напутствуемый матерью, под нашёптывание собственной природы узнаёт все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился постелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвёрнутые рукава комом — так,

что образовалась подушка. И тотчас лёг. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошёл насквозь все стадии усталости, и дважды уже прерывал сознание одномиговой дремотой — и вот наступила возможность сна — а сна не было! Непрерывно обновляемое в нём возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, рёбрам гладко, ноги вытянуты сполна и надзиратель почему-то не будит!

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки — он ощутимо, с невыносимою силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замеченное, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища положения, когда бы свет не давил,— Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание,— и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

— Я вас прошу, выключите лампу!— умоляюще сказал Иннокентий.

— Нельзя,— невозмутимо ответил косенький.

— Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

— Разговаривайте тише!— возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма.— Горит, какая положено.

И всё-таки было что-то живое в этом мёртвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

— Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Неслышно было, как по дерюжной дорожке он отошёл от бокса, как вернулся — чуть звякнул вставляемый ключ,— и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички.

Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на неуходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

— Ты кем был?

Как необычно это звучало!— человеческое обращение, первое за ночь! Потрясённый живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком „был", вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шёпотом сообщил:

— Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

— А я был — матрос Балтийского флота!— помедлил.— За что ж тебя?

— Сам не знаю,— насторожился Иннокентий.— Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

— Так все сначала говорят,— подтвердил он. И неприлично добавил:— А сходить по... не хочешь?

— Нет ещё,— отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, вне расписания не доступных арестанту.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой — но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза — но где же был его носовой платок?.. Остался не поднятым с пола... Какой он был глупый щенок вчера вечером!

Мелкие вещи — носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта! Всегда насту-

пит момент, когда кто-то из них станет незаменим — и выручит!

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный ватный матрас. О, чудо! Лубянка не только не мешала спать — она заботилась о сне арестанта!.. В перегнутый матрас была вложена маленькая перяная подушка, наволочка, простыня — обе со штампом: „Внутренняя тюрьма“, и даже серое одеяльце.

Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрас несколько свешивался со скамьи из-за узости её), разделся, лёг, накрыл глаза рукавом кителя — ничто больше не мешало! — и уже начал отходить в сон, именно в тот сладкий сон, который назвали объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

— Выньте руки из-под одеяла!

— Как вынуть?! — чуть не плача воскликнул Иннокентий. — Зачем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть!

— Выньте руки! — хладнокровно повторил надзиратель. — Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчёт! Естественная укоренившаяся незамечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к ещё одному издевательству. Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая муть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донёсся до него. Начав издалека и всё приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот — рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

— Подъём! — непреклонно объявил матрос Балтийского флота.

— Как? Почему? — взревел Иннокентий. — Я всю ночь не спал!

— Шесть часов. Подъём, как закон! — повторил матрос и пошёл объявлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревянел.

Но тотчас же — разве минутки две он успел поспать — косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил:

— Подъём! Подъём! Матрас — закатать в трубку!

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

— Но я не спал, поймите!

— Ничего не знаю.

— Ну, вот закачу матрас, встану — а что я буду делать?

— Ничего. Сидеть.

— Но — почему?

— Потому что шесть часов утра, вам говорят.

— Так я сидя усну!

— Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

— Умыться хотите?

— Ну, пожалуй,— раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

— Руки назад! Пройдите!

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъём?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отравную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил:

— Завтрака не будет.

— Как не будет? А что же будет?

— В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

— Что такое пайка?

— Хлеб значит.

— А когда же завтрак?

— Не положено. Обед сразу.

— И я всё время буду сидеть?

— Ну, хватит болтать!

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

— Ну, что ещё?— распахнулся матрос Балтийского флота.

— У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли — кому отдать пришить?

— Сколько пуговиц?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала — костяные, пластмассовые, деревянные.

— Куда ж они годятся? У меня разве такие срезали?

— Берите! И этих нет!— прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрёл, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый требующий внимания труд не только скрал время, а ещё и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись, не было больше ни страха, ни угнетённости. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов — тюрьма Большая Лубянка — не страшна, что и здесь люди живут (как хотелось бы с ними встретиться!). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок чёрного сырого хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленого сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенной горячей жидкости и пообещали добавки.

Всё это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось нисколько), поднятием руки попросил ещё.

И вторую кружку, уже без сахара, но обострённо ощущая плохонький чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьёй и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрас, он стал ходить в ожидании боя — три крохотных шага вперёд, три крохотных шага назад.

Ему вообразилось столкновение, сшибка американской статуи Свободы и нашей мухинской, вертящейся, столько раз повторенной в фильмах. И туда, на расплющивание, в самое страшное место, сунулся он позавчера.

И — не мог иначе. Безучастным остаться он не мог.

Выпало это ему...

Как это говорил дядя Авенир? как это Герцен говорил: „Где границы патриотизма? Почему любовь к родине...?"

Дядю Авенира ему сейчас было всего важней и теплей вспоминать. Сколько мужчин и женщин он почасту встречал многими годами, дружил, делил удовольствия — а тверской дядюшка из смешного домика, два дня виденный,— был ему тут, на Лубянке, самый нужный. Изо всей жизни — главный человек.

Чуть похаживая в тупичке на семь ступней, Иннокентий старался больше вспомнить, что́ говорил ему тогда дядя. Вспоминалось. Но лезло почему-то:

„Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла".

Это — не дядя. Это — глупое что-то. Ах, это Эпикур, вчера понять не мог. А сейчас ясно: значит, то, что мне нравится — то добро, а что не нравится мне — то зло. Например, Сталину приятно убивать — значит, для него это добро? А нам сесть в тюрьму за справедливость не приносит же удовольствия, значит — это зло?

И как мудро кажется, когда этих философов читаешь на воле! Но сейчас добро и зло для Иннокентия

вещно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознёсся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребёнка, если не компасом дикаря.

Загремела дверь.

— Фамилия?— круто бросил ещё новый надзиратель восточного типа.

— Володин.

— На допрос! Руки назад!

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьёт воду, вышел из бокса.

Почему любовь к родине надо распростра... ?

94

А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец — и прогулочные торёные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскальзаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спешили вставать, а тёрли грудь, зевали, начинали „с утра пораньше" невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны — любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог — не было, однако, сна, который бы ясно предсказывал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его ещё шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей, лёг поздно, ощутил теперь холодную тягу

из окна,— но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулём, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате,— стараясь дотянуть часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жёсткий параллелепипед, сидел читал газету — но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный).

Каша на завтрак была пшённая, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши. Невозможно было со стороны предположить в нём теоретика дворцового переворота.

Из другого угла полупустой столовой Нержин глядел на него и размышлял, верно ли отвечал ему вчера. Сомнение есть добросовестность познания, но до какого же рубежа отступать в сомнении? Действительно, если нигде в мире не останется свободного слова, „Таймс“ будет послушно перепечатывать „Правду“, негры с Замбези — подписываться на заём, луарские колхозники — гнуться за трудодни, партийные хряки — отдыхать за десятью заборами в калифорнийских садах — для чего тогда останется жить?

До каких же пор уклоняться за „не знаю“?

Вяло отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лёг и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая тёмная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что *паять* ему срока уже некуда — но не переквалифицировали б ему, гады, двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились новые тюрьмы из камер-одиночек и всё больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чём он виноват: если

он белобрысый, можно обвииить, что он чернявый — а дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб ие зиал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, осмелиться ли успокоить её? И как?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, он не терпел смеха над социализмом. Сияв шапку, ио оставаясь в телогрейке и ие спуская ног на пол для одеваиия, так как это ие имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака всё равно были упущены),— Рубин попросил налить ему стакан чая — и, сидя в постели, со всклоченной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость,— сам же, не продравши глаз, ушёл в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самом мрачном.

По шарашке уже шёл утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

— Внимание! Заключённым объявляется, что после ужиia никто не будет допускаться на кухню за кипятком,— и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

— Это *чьё* распоряжение?— бешено взвопил Прянчиков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

— Начальника тюрьмы,— веско ответил Шустерман.

— Когда оно сделано??

— Вчера.

Прянчиков потряс над головой кулаками на тоиких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю.

— Это не может быть!!— протестовал он.— В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по иочам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

— А ты не работай до двенадцати, му...к,— пробасил Двоетёсов.

— Мы не можем держать ночного повара,— рассудительно объяснил Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил:

— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Сёмушкин!.. Готовьте казённые вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили всё в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживлённые голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвёртые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, и всё это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развёл руками перед общей картиной.

Оживлённый вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть лёгким или тяжёлым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далёким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского,— поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живёт на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и всё это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надёжно пришиты, и ещё у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.

А если он *фраер* — он держит ещё зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит телячьими красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплён конвоир. И вот конвой — если этап будет пассажирскими вагон-заками — ожесточённо топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решётку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеймённому ещё Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берёт руки за спину и в колонне по четыре („шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения!“), окружённый псами и конвойными, идёт к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях,— но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лей-

тенант не заподозрил вас в чём плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформ, он идёт по мирному расписанию и везёт в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут? Этого не объявляют. Что ждёт зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удаётся испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цынга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится *дать лапу*, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптёра? И разрешат ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..

Может быть, он и не доедет до места назначения? В телячьем вагоне умрёт от дизентерии? оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьёт его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков?

Красные эшелоны идут до СовГавани месяц...

Помяни, Господи, тех, кто не доехал!

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы — все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

95

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа,— в нём вспыхнуло и обострилось настроение *оттянуть* на прощанье майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на

третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, тёмный. Что-то дрогнуло в нём со вчерашнего дня. Одной ногой он провёл над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке! Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадёт в режимную бригаду — и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошёл Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твёрдой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего.

У Нержина был природный дар не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке зэков называется *культурно оттягивать*. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим.

— Гражданин майор!— заговорил он с порога.— Я пришёл получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

— Книгу?— поразился Шикин (потому что так быстро не нашёлся ничего умней).— Какую книгу?

— В равной мере,— сыпал Нержин,— я полагаю,

что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина.

— Е-се-ни-на?! — будто только сейчас вспоминая и потрясённый этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ёжик его головы выражал негодование и отвращение.— Да как у вас язык поворачивается — спрашивать Е-се-ни-на?

— А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.

— Этого мало!

— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

— Откуда вы взяли такой период?

Нержин отвечал так уплотнённо, будто заранее выучил все ответы наизусть:

— Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран „Толковый словарь“ Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьёзнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо „враги народа ещё тогда не орудовали“. И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

— Пусть так. Но вы,— внушительно спросил он,— вы — читали эту книгу? Вы — всю её читали? Вы можете письменно это подтвердить?

— Отбирать от меня подписку по статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и, обратно, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развёл руками.

— Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал её словами:

— Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подёргиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда ои сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку,— вставая же, он стаиовился меньше, очень короткими выдавались и ноги его и руки. Темнолицый, ои приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатиый томик Есенина, осыпаииый кленовыми листьями по суперобложке.

Несколько мест у иего было заложено. По-прежнему ие предлагая Нержину сесть, он удобио расположился в своём кресле и стал не торопясь просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойио сел, опёрся руками о колени и неотступно-тяжёлым взглядом следил за Шикиным.

— Ну вот, пожалуйста,— вздохнул майор и прочёл бесчувственно, меся как тесто стихотворную ткань:

Неживые чужие ладони!
Этим песням при вас не жить.
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Это — о каком хозяиие? Это — чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

— Есенин был классово-ограничен и многого *недо*понимал,— поджатыми губами выразил он соболезиование.— Как Пушкии, как Гоголь...

Что-то послышалось в голосе Нержииа, от чего Шикин опасливо иа иего взглянул. Ведь просто возьмёт и кинется на майора, ему сейчас нечего терять. На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь.

— А это как поиять?— прочёл Шикии, вериувшись в кресло:

Розу белую с чёрной жабой
Я хотел иа земле повеичать...

И дальше тут... На что это иамекается?

Вытянутое горло арестаита вздрогиуло.

— Очеиь просто,— ответил он.— Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!

Чёрной жабой сидел перед иим короткорукий большеголовый чернолицый кум.

— Однако, гражданин майор,— Нержин говорил быстрыми, налезающими друг на друга словами,— я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждёт конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлёте запрос в Главлит. Посылали вы?

Шикин передёрнул плечами и захлопнул жёлтую книжечку.

— Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну. И всё равно вам её не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

„Так и всё утерянное к тебе вернётся!"

Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ:

— Гражданин майор! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадёжно отобранные у меня польские злотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки — всё-таки через Верховный Совет их получил! Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки? Надо мной смеялись — но я их добился! И ещё множество примеров! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам! Я умирать буду на Колыме — и оттуда вырву её у вас! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета министров. Отдайте по-хорошему!

И перед этим обречённым, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально!! Верный нюх подсказывал Шикину, что это — оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и поберечь своё имя от нареканий этого неутомимого склочника.

— Хорошо,— уступил майор.— Я вам её возвращаю. Но увезти её мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый жёлтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда всё рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовал Сиромаха:

— Что делают?! Та-ких ребят на этап посылают! За что? А Руську Доронина? Какой же гад его *заложил*, а?

Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрей, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними — Симочку, снова в некрасивом полосатом платьице и с серым козьим платком на плечах.

Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал — он вступил в закоулок между железными дверцами и шёпотом сказал:

— Серафима Витальевна! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его — сжечь? Вы не возьмёте?

Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала:

— Дайте.

Кто-то входил, Нержин метнулся дальше, прошёл к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал:

— Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним.

— Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются.

И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана выразилась боль:

— Но, поверьте, Глеб Викентьич, а я не знал, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом деле не посоветовались.

— Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне?— беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты.

— Принимайте, Серафима Витальевна,— объявил Нержин и стал носить к её столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже вложил своё сокровище — свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого.

Если даже теплы её протянутые руки — надолго ли хватит девичьей верности?

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубянских труб — сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг, падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано... Если будет цела голова — неужели он не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал.

И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришёл Прянчиков.

— Да как это можно?— разорялся он.— Мы одеревянели! Мы даже не возмущаемся! *Отправлять* на этап! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?!

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах. Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда — миг напоминания, миг —„все там будем". Этап заставляет каждого, даже не тронутого им, зэка подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛага. Даже ни в чём не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он всё забыл и ото всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчёркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически.

Как на похоронах вспоминают всё хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспо-

минали, каким любителем *качать права* он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично. (По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо — другим, всем. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело.) Зэки шарашки в то время ещё не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острей, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы „кальсонный капитан“, помощник начальника спецтюрьмы по хозчасти, и из подболточной муки на всё население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением.

Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана всё секретное, уничтожив огнём и разрывом всё личное, сложив в несколько стоп всё библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся жёлтый стул, кому — немецкий стол с падающими шторками, кому — чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы Лоренц. Умерший с весёлой улыбкой сам раздавал своё наследство, а наследники несли ему кто по две, кто по три пачки папирос (таково было шарашечное установление: на *этом* свете папирос было изобилие, на *том* папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришёл Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

— Если б ты любил Есенина,— я б тебе его сейчас подарил.

— Неужели отбил?

— Но он недостаточно близок к пролетариату.

— У тебя помазка нет,— достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с поли-

рованной пластмассовой ручкой,— а я всё равно дал обет не бриться до дня оправдания — так возьми его!

Рубин никогда не говорил —„день освобождения“, ибо таковой мог означать естественный конец срока,— всегда говорил „день оправдания“, которого он должен же был добиться!

— Спасибо, мужик, но ты так *ошарашился*, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому?.. Ты мне книги сдать не поможешь?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

— Ну, как твой подопечный?— тихо спросил Глеб.

— Говорят, ночью арестовали. Главных двух.

— А почему — двух?

— Подозреваемых. История требует жертв.

— Может быть *тот* не попался?

— Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов. Сравним.

Нержин выпрямился от собранной стопки.

— Слушай, а зачем всё-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот парень рассудил не так глупо.

— Московский пижон, мелкий субчик, поверь.

Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнём нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

— И вот, друже,— протянул он,— и трёх лет мы не пожили вместе, жили всё время в спорах, издеваясь над убеждениями друг друга,— а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так всё сошлось,— кивал он.— Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую чёрную бороду.

Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не

рассчитав, он слишком хлопнул остеклённой дверью, отчего она задребезжала, а библиотекарша оглянулась недовольно.

— Так, Глебчик! Так! — сказал Сологдин.— Свершилось. Ты уезжаешь.

Нисколько не замечая рядом „библейского фанатика“, Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашёл в себе примиряющего чувства к „докучному гидальго“ и отвёл глаза.

— Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать Глебу и не успел.

Библиотекарша ушла за полки. Сологдин малозвучно сказал:

— Всё-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный приём, чтобы не бороться.

Так же тихо ответил и Нержин:

— Но твоё вчерашнее... о стране потерянной и косопузой... это ещё удобнее. Я ничего не понимаю.

Сологдин сверкнул голубизною и зубами:

— Мы слишком мало с тобой говорили, ты отстаёшь в развитии. Но слушай, время — деньги. Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу.— (Рубин удивлённо метнул взглядом по Сологдину.) — Но придётся *вкалывать*, предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

— Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но если вкалывать — то когда же развиваться? Что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море.

— Да? Ну, смотри, ну, смотри. Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо Сологдина было озабочено, он торопился, только заставлял себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотекарша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант МГБ, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина.

И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

— Друзья! Надо помириться!

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

— Митя!— настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

— Почему ты обращаешься ко мне?— удивился он.

— Лёва!— повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

— Ты знаешь, почему лошади долго живут?— И после паузы объяснил:— Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав своё служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться,— Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шёл быстро, шею держал напряжённо выгнутой сперва вперёд, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься и с Нержиным и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошёл в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нём все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

— Вот и всё, Андреич,— остановил его Нержин.— Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза. Свободной от ящика рукой он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его.

— Ку-ку-у...

— Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы всё равно кроме Пушкина...

— И мы там будем,— сокрушённо сказал Потапов.

Нержин вздохнул.

— Где теперь встретимся? На котласской пересылке? На индигирских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

Для при-зра-ков закрыл я вежды.
Лишь отдалённые надежды
Тревожат сердце и-но-гда.

Из двери Семёрки высунулась голова упоённого Маркушева.

— Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздражённым голосом.

Соавторы „Улыбки Будды" обнялись неловко. Пачки „Беломора" посыпались на пол.

— Вы ж понимаете, — сказал Потапов, — икру мечем, всё некогда.

Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил и в институте Марфино, и во всём хозяйстве державы, тот стиль, который газеты невольно тоже признавали и называли „штурмовщиной" и „текучкой".

— Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощаньи, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписки не было.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромая.

Поспешил и Нержин — в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощрённо предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Марфине, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошёл Спиридон в своём чёрном перепоясанном бушлате. Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалеку от Нержина постель, обёрнутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

— Спиридон Данилыч! Глянь-ка! — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь!

— Отдал, змей? — По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал лучик.

— Не так мне книга, Данилыч,— распространялся Нержин,— как главное, чтобы по морде нас не били.

— Именно,— кивнул Спиридон.

— Бери, бери её! Это я на память тебе.

— Не увезть?— рассеянно спросил Спиридон.

— Подожди,— Нержин отобрал книгу, распахнул её, и стал искать страницу.— Сейчас я тебе найду, вот тут прочтёшь...

— Ну, кати, Глеб,— невесело напутствовал Спиридон.— Как в лагере жить — знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

— Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только, всмотревшись в Спиридона, Нержин увидел, что тому сильно не по себе, больше не по себе, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стесненьями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, с Герасимовичем — он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому.

— Письмо-то?! Письмо получил, Данилыч?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он достал его — конверт, сложенный вдвое, уже истёртый на перегибе.

— Вот... Да недосуг тебе...— дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт! Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохранённым от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

„Дорогой мой батюшка!

Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят — и обманывают..."

Голос Нержина упал. Он вскинулся на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова

утешения,— как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин:

— Нержин! — закричал он.— С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь? Все собраны — вы последний!

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густозаросшую неподстриженную шею.

— Давайте! Давайте! Больше ни минуты! — понукал младшина.

— Данилыч-Данилыч,— говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон прохрипел в груди и махнул рукой.

— Прощай, Глеба.

— Прощай навсегда, Спиридон Данилыч!

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушёл, сопутствуемый дежурным.

А Спиридон неотмывными, со въевшейся многолетней грязью, руками снял с кровати развёрнутую книжку, на обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушёл к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

96

По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы,— их шмонали, а по мере того, как их прошмонывали — их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писаному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имеют права везти с собой ни клочка писаного, рисованного или печатного. Поэтому большинство зэков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздарили книги.

Один заключённый, инженер Ромашов, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет) открыто вёз большую папку многолетних вырезок, записей и расчётов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал работать там по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск её, хотя майор Шикин уже отправлял её в Отдел, и там тоже поставили визу,— вся многомесячная иступлённая предусмотрительность и настойчивость Ромашова оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке неизвестно, и велел отобрать её. Её отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко всему привыкшими глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до СовГавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьёю голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти заполярных общих работ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать.

Другой заключённый, маленький лысый конструктор Сёмушкин, в воскресенье так много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет и то всё время в тюрьмах да на шарашке и теперь крайне был перепуган лагерем. Но несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки, оскорбляя чувства сиделых зэков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили),— и вдруг выхватил Лермонтова из рук кума (тот в страхе отскочил к двери), с силой, которой в нём не предполагали, оторвал зелёные тиснёные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

— Нате! Жрите! Лопайте!— и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга: по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казённое клеймёное бельё, в тре-

тью — пальто, если оно было ещё не истрёпано, они одевались теперь во всё своё, либо же в сменку. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно государственному оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, остались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в каптёрке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки обнаружены были в мешках, у того теперь полуботинки „вольного" образца с галошами отбирались), иные — в кирзовые сапоги с подковками, а счастливцы — и в валенки.

Валенки!.. Самое бесправное изо всех земных существ и меньше предупреждённое о своём будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь,— зэк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой тёплой глубокой норке зэк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережён от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлажным окаёмком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живёт притаясь, лжёт, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других — лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

Несмотря на оттепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше ишачить на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами — засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович не имел ничего своего, и каптёр дал ему „на сменку" широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукий бушлат, „бывший в употреблении", и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нём из-за его пенсне.

Пройдя шмон, Нержин был доволен. Ещё вчера днём в предвидении скорого этапа, он заготовил себе два листика, густо исписанных карандашом, непонятно для других: то опусканием гласных букв, то с использованием греческих, то перемесью русских, английских, немецких, латинских слов, да ещё сокращённых. Чтобы пронести листки через шмон, Нержин каждый из них надорвал, искомкал, измял, как мнут бумагу для её непрямого назначения, и положил в карман лагерных брюк. При обыске надзиратель видел листки, но, ложно поняв, оставил. Теперь если в Бутырках не брать их в камеру, а оставить в вещах, они могут уцелеть и дальше.

На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожжённых сегодня.

Шмон был закончен, все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешёнными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Ещё другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые ещё были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне: что было отнято у них и что удалось пронести.

И о шарашке: что за блага терялись на ней, и какая часть срока была прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключённые — любители пересчитывать время: уже потерянное и впредь обречённое к утрате.

Ещё они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придётся просить у них помощи, ибо ГУЛаг — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по двенадцать часов, неспособен прокормить сам себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу.

О том, куда же зашлют? Что ждёт на новом месте? И как устраиваться там?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку,— даже те, кто совсем в это не верили — прислушались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твёрдо зная свой горький выбор, всё ещё молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, всё время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

— Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана — и того у нас сделать не могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи? Развили тяжёлую индустрию, драть её лети, так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел.

И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушкó.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хоробров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемлённого? Именно сейчас, облачаясь в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.

— Слышать не могу!— закричал он Ромашову, и худощавое жёсткое лицо его выразило боль.— Горький не сидел на той пересылке и Куйбышев не сидел, иначе б их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!

Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идёт обед. Почему не несут нам?

Младшина неловко отоптался и сочувственно ответил:

— Вы сегодня... со снабжения сняты...

— То есть, как это сняты? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить: — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем! И силой посадить себя — не дадимся!

— Хорошо, я доложу! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико зэкам.

— Правильно!

— Тяни их!

— Зажимают, гады!

— Крохоборы! За три года службы один обед пожалели!

— Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?

Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрился. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло, кому сейчас невмоготу было есть, — даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошёл грузовик, в кузове которого просторно лежала большая ёлка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей сами превратившиеся в детей, обвесят её игрушками (не пожалеют казённого времени на их изготовление), клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осаждённым окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Ещё было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать ёлку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.

Младшина, наконец, не пошёл, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоём бидон и поварёшку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у неё часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, зэки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспосабливались есть стоя, грудью привалясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и ещё эту, и ещё эту с жировыми звёздочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; тёплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение.

„Для мяса люди замуж идут, для щей женятся“— вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена — варить на нём щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всём коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, кто-то неопределённо протянул:

— Да-а-а...

И из угла отозвались:

— Заговляйся, братцы!

Некий критикан вставил:

— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Ещё кто-то уныло воскликнул:

— Когда теперь доживём и такого покушать!

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

— Покушали?— с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше:— А второго не осталось. Уж и котёл моют. Извините.

Нержин оглянулся на зэков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

— А что на второе было?— пробасил кто-то.

— Рагу,— застенчиво улыбнулся младшина.

Вздохнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули — и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переклички по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать зэков до Бутырок и сдавать лишь там. Но — считали. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стукаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожающих не было: обеденный перерыв уже кончился, зэков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряжённая торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и зэков, мешая им оглядеться и сообразить своё положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими стройными липами, осенявшими их долгие годы в тяжёлые и радостные минуты.

А двое, кто изловчились посмотреть — Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбоку, взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам городов шныряли свинцово-серые и чёрные воронки, наводя ужас на граждан. Было время — так и требовалось. Но давно наступили годы расцвета — и воронки тоже должны были проявить эту приятную черту эпохи. В чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырёх языках:

Хлеб
Pain
Brot
Bread

или

Мясо
Viande
Fleisch
Meat

И сейчас, садясь в воронок, Нержин улучил сбиться вбок и оттуда прочесть:

Meat

Потом он в свой черёд втиснулся в узкую первую и ещё более узкую вторую дверцы, прошёлся по чьим-то

ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям и сел.

Внутри этот трёхтонный воронок был не *боксирован*, то есть, не разделен на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был „общего“ типа, то есть, предназначен для перевозки не подследственных, а осуждённых, что резко увеличивало его живую грузовместимость. В задней своей части — между двумя железными дверьми с маленькими решётками-отдушинами, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, и сносясь с шофёром и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова,— едва помещались два конвоира, и то поджав ноги. За счёт заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасной бокс для возможного бунтаря. Всё остальное пространство кузова, заключённое в металлическую низкую коробку, было — одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защёлкивать железную дверцу, упираясь в неё четырьмя сапогами,— удавалось впихивать и больше.)

Вдоль трёх стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посередине. Кому удавалось — садились, но они не были самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвёрнутые затекающие ноги достались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться — а подвинуться или изменить положение нельзя было ещё час. Надзиратели поднапёрли на дверь и, втолкнув последнего, щёлкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот ещё кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решётку.

— Братцы!— прозвучал Руськин голос.— Еду в Бутырки на следствие! Кто тут? Кого увозят?

Раздался сразу взрыв голосов — закричали все двадцать зэков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключённым переговариваться.

— Тише, вы... ! — послал кто-то в воронке матом.

Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

— Кто тебя продал, Руська?— крикнул Нержин.

— Сиромаха!

— Га-а-ад!— сразу загудели голоса.

— А сколько вас?— крикнул Руська.

— Двадцать.

— Кто да кто?..

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

— Не робей, Руська!— кричали ему.— Встретимся в лагере!

Ещё падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь — но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решётки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда перебегали по лицам зэков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

— А что должна делать элита в лагере?— протрубил Нержин прямо в ухо Герасимовичу, только он и мог расслышать.

— То же самое, но с двойным усилием!— протрубил Герасимович ответно.

Немного проехали — и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

— Руська!— крикнул один зэк.— А бьют?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

— Бьют...

— Да драть их в лоб, Шишкина-Мышкина!— закричал Нержин.— Не сдавайся, Руська!

И снова закричало несколько голосов — и всё смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех резко качнуло вправо — это означало поворот налево, на шоссе.

При повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их сплачивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробров, чуть приокивая, говорил в темноте и скученности:

— Ничего я, ребята, не жалею, что уехал. Разве это жизнь — на шарашке? По коридору идёшь — на Сиро-

маху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегрёб. И — работай? Да это ад какой-то!

Хоробров смолк, переполненный негодованием.

В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина:

— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай.

Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

Герасимович нашёл аргумент, не досказанный Хоробровым:

— Когда начнётся война, шарашечных зэков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы.

— Я ж и говорю,— откликнулся Хоробров,— лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Прислушиваясь к ходу машины, зэки смолкли.

Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Оймякон и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир с самими собой.

Ими владело бесстрашие людей, утерявших в с ё до конца,— бесстрашие, достающееся трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, весёлая оранжево-голубая машина шла уже городскими улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрёстке. На этом скрещении был задержан светофором тёмно-бордовый автомобиль корреспондента газеты „Либерасьон", ехавшего на стадион „Динамо" на хоккейный матч. Корреспондент прочёл на машине-фургоне:

Мясо

Viande

Fleisch

Meat

Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и записал тёмно-бордовой ручкой:

„На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным.“

ТЮРЕМНЫЕ И ЛАГЕРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Актировка (лаг.) — медицинское определение, что заключённый так плох (при смерти), что может быть отпущен до срока.

Бокс — очень тесная камера без окна, обычно на одного.

Бытовик — осуждённый по статье уголовного кодекса, но не собственно уголовный, не принадлежащий к уголовному миру.

Вагон-зак — ухудшенный пассажирский вагон, предназначенный для перевозки заключённых.

Вагонка (лаг.) — плотницкое устройство для спанья четырёх в два этажа.

Вертухай (тюр.) — надзиратель.

Внутрянка (тюр.) — Внутренняя тюрьма КГБ (областная или центральная).

Вольняшка — не заключённый.

Воронóк — тюремный закрытый грузовик.

Глазок (тюр.) — малое остеклённое отверстие в камерной двери, раструбом внутрь камеры, для наблюдения за заключёнными.

Граждáнка — состояние, общая жизнь вне армии.

ГУЛаг — Главное Управление Лагерей.

Девять грамм — вес винтовочной пули.

Доходить — слабеть и опухать от тяжёлой работы и плохого питания.

В законе жить, с кем (лаг.) — в лагерном браке, не таясь, при молчаливой снисходительности начальства.

Заложить (лаг.) — донести на кого-либо.

Зона (лаг.) — 1) площадь, огороженная для содержания заключённых; 2) самый забор с запретной полосой.

Катушка — полный срок, наиболее принятый в данное время или по данной статье (когда 10 лет, когда 25).

Качать права — спорить с начальством, добывая справедливость.

Кормушка (тюр.) — прорезь в камерной двери с отпадающим как столик заслоном.

Кум (блатн.) — см. **Опер.**

Курочить (блатн.) — отнимать имущество, особенно носимое.

Мостырка (блатн.) — показное, мнимое увечье.

Намордник — 1) тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна; 2) лишение гражданских прав по окончанию лагерного или ссыльного срока.

Обрез — винтовка, у которой отпилена большая часть дула — крестьянское оружие в ранне-советское время (легко хранить, стреляет на малое расстояние).

Общие — основные работы по профилю данного лагеря, где условия наиболее тяжелы.

Опер — оперуполномоченный-чекист, следящий за настроениями заключённых и отклонениями их от режима.

Параша — 1) (тюр.) камерный сосуд для нечистот; 2) (лаг.) слух.

Повторник — вторично осуждённый на лагерный срок, часто без нового дела (обычно — по политической статье).

Для понта — для показа, делая вид.

Попка (лаг.) — 1) часовой на вышке; 2) всякий, приставленный для охраны.

Придурок (лаг.) — заключённый, устроившийся так, что не работает руками.

Раскурочить — см. **Курочить.**

Резину тянуть (блатн.) — растягивать выполнение работы или совсем не делать её.

По рогам — см. **Намордник** (2).

Спецнаряд — индивидуальная переброска заключённого по его специальности из одного лагеря в другой.

От станка — советское выражение 20-х — 30-х годов: имея непосредственный рабочий стаж до последнего времени.

Темнить (лаг.) — притворяться, создавать отвлекающую видимость.

Тухта (лаг.) — чего на самом деле нет (выдуманный объём работ, несуществующее обстоятельство).

Урки (лаг.) — профессиональные уголовники.

Феня (блатн.) — язык уголовного мира.

Фраер (блатн.) — всякий, не принадлежащий к блатному миру (отсюда: кто не знает правил, делает пустое, что не нужно).

На цырлах (блатн.) — одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием.

Чернуху раскидывать (блатн.) — см. **Темнить.**

Четвертна́я (лаг.) — 25-летний срок.

Шалашовка (блатн.) — лагерница, непритязательно доступная.

Шмон (блатн.) — обыск.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Торпеда 11
2. Промах 16
3. Шарашка 18
4. Протестантское Рождество 22
5. Хьюги-Буги 27
6. Мирный быт 33
7. Женское сердце 38
8. Остановись, мгновенье! 43
9. Пятого года упряжки 48
10. Розенкрейцеры 54
11. Зачарованный замок 61
12. Семёрка 67
13. И надо было солгать 75
14. Синий свет 79
15. Девушку! Девушку! 84
16. Тройка лгунов 90
17. Насчёт кипятка 99
18. Сивка-Бурка 103

19. Юбиляр 107
20. Этюд о великой жизни 116
21. Верните нам смертную казнь! . . . 139
22. Император Земли 154
23. Язык — орудие производства . . . 160
24. Бездна зовёт назад 165
25. Церковь Никиты Мученика 172
26. Пилка дров 180
27. Немного методики 189
28. Работа младшины 195
29. Работа подполковника 203
30. Недоуменный робот 211
31. Как штопать носки 217
32. На путях к миллиону 227
33. Штрафные палочки 235
34. Звуковиды 244
35. Поцелуи запрещаются 251
36. Фоноскопия 254
37. Немой набат 259
38. Изменяй мне! 268
39. Красиво сказать — в тайгу 273
40. Свидание 280
41. Ещё одно 289
42. И у молодых 294
43. Женщина мыла лестницу 301
44. На просторе 308
45. Псы империализма 327
46. Замок святого Грааля 336
47. Разговор три нуля 347
48. Двойник 355
49. Жизнь — не роман 360
50. Старая дева 371
51. Огонь и сено 380
52. За воскресение мёртвых! 385
53. Ковчег 390
54. Досужные затеи 393
55. Князь Игорь 401
56. Кончая двадцатый 409

57. Арестантские мелочи 414
58. Лицейский стол 420
59. Улыбка Будды 432
60. Но и совесть даётся один только раз 444
61. Тверской дядюшка 457
62. Два зятя 469
63. Зубр 479
64. Первыми вступали в города 486
65. Поединок не по правилам 496
66. Хождение в народ 506
67. Спиридон 509
68. Критерий Спиридона 518
69. Под закрытым забралом 524
70. Дотти 534
71. Будем считать, что этого не было 537
72. Гражданские храмы 545
73. Кольцо обид 549
74. Рассвет понедельника 555
75. Четыре гвоздя 564
76. Любимая профессия 569
77. Решение принимается 577
78. Освобождённый секретарь 582
79. Решение объясняется 592
80. Сто сорок семь рублей 601
81. Техно-элита 612
82. Воспитание оптимизма 615
83. Премьер-стукач 621
84. Насчёт расстрелять 625
85. Князь Курбский 635
86. Не ловец человеков 641
87. У истоков науки 648
88. Диалектический материализм — передовое мировоззрение 657
89. Перепёлочка 669
90. На задней лестнице 678
91. Да оставит надежду входящий 688
92. Хранить вечно 698

93. Второе дыхание 714
94. Всегда врасплох 729
95. Прощай, шарашка! 734
96. Мясо 747
Тюремные и лагерные выражения 760

Солженицын А. И.

С 60 В круге первом: Роман.— М.: Худож. лит., 1990.— 766 с.

ISBN 5-280-01807-4

Александр Исвевич Солженицын — всемирно известный русскнй писатель, лвуреат Нобелевской премии по лнтературе 1970 года, участник Велнкой Отечественной войны. В настоящее время проживает в США, в штате Вермонт. Роман «В круге первом» — свмое раннее крупное произведение писатели. В нем рассказывается о тяжелой участи заключенных подмосковной спецтюрьмы — так нвзываемой «шарашкн», где с 1948 по 1949 год находнлся н свм автор.

Текст романа печатается по изданню: Александр Солженицын. Собр. соч. т. 1, 2. YMCA-PRESS, Вермонт — Париж, 1978.

С $\frac{4702010000\text{-}299}{028(01)\text{-}90}$ без объявл.

ББК 84Р6

Александр Исаевич Солженицын

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

Редакторы
В. Модестов, Т. Шурыгина

Художественный редактор
Т. Бардина

Технические редакторы
Л. Синицына, Л. Платонова

Корректоры
Б. Тумян, Т. Филиппова

ИБ № 6447

Сдано а набор 14.11.89. Подписано а печать 02.02.90. А-08418. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкноаекяая новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 40,32+1 акл.=40,37. Усл. кр.-отт. 40,42. Уч.-изд. л. 44,06+1 вкл.=44,1. Тираж 500000 экз. (2-й завод 100001—300000 экз.). Изд. № III-3730. Закаэ № 584. Цеяа 6 р.

Ордена Трудоаого Красного Знаменн издательство «Художестаеяаая литература», 107882, ГСП, Москаа, Б-78, Ново-Басманкая, 19.

Ордена Октябрьской Революцни, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское пронзаодственно-техническое объединение «Печатный Двор» нмени А. М. Горького пря Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкалоаский пр., 15.

